

Раздел II

ИСТОРИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ

Часть 1. Из истории развития представлений о предмете психологии

*А.В.Петровский,
М.Г.Ярошевский*

ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ — ОСОБАЯ ОТРАСЛЬ ЗНАНИЯ ¹

Термин “психология” древнегреческого происхождения. Он составлен из двух слов: “псюхе” — душа и “логос” — знание или изучение. Предложен же был этот термин не в Древней Греции, внесшей бесценный вклад в наше понимание психической жизни, а в Европе в XVI веке. Мнения историков о том, кто изобрел слово “психология”, расходятся. Одни считают его автором соратника Лютера Филиппа Меланхтона, другие — философа Гоклениуса, который применил слово “психология” в 1590 году для того, чтобы можно было обозначить им книги ряда авторов. Это слово получило всеобщее признание после работ не-

мецкого философа Христиана Вольфа, книги которого назывались “Рациональная психология” (1732) и “Эмпирическая психология” (1734). Учитель же Вольфа — Лейбниц пользовался еще термином “пневматология”. До XIX века это слово не употреблялось ни в английской, ни во французской литературе.

Об использовании слова “психолог” (с ударением на последнем слоге) в русском языке говорит реплика Мефистофеля в пушкинской “Сцене из Фауста”: “Я психолог... о вот наука!..” Но в те времена психологии как отдельной науки не было. Психолог означал знатока человеческих страстей и характеров.

В XVI веке под “душой” и “логосом” понималось нечто иное, чем в период античности. Если бы, например, спросили у Аристотеля (у которого мы впервые находим не только разработанную систему психологических понятий, но и первый очерк истории психологии), к чему относится знание о душе, то его ответ существенно отличался бы от позднейших, ибо такое знание, с его точки зрения, имеет объектом любые биологические явления, включая жизнь растений, а также те процессы в человеческом теле, которые мы сейчас считаем сугубо соматическими (вегетативными, “растительными”).

¹Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии: В 2 т. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. Т.1. С. 42—47, 50—52.

Еще удивительнее был бы ответ предшественников Аристотеля. Они понимали под душой движущее начало всех вещей, а не только организмов. Так, например, по мнению древнегреческого мудреца Фалеса, магнит притягивает другие тела потому, что обладает душой. Это учение о всеобщей одушевленности материи — гилозоизм — может показаться примитивным с точки зрения последующих успехов в познании природы, однако оно было крупным шагом вперед на пути от анимистического (мифологического) мышления к научному.

Гилозоизм видел в природе единое материальное целое, наделенное жизнью, понятой как способность ощущать, запоминать и действовать. Принцип монизма, выраженный в этом воззрении, делал его привлекательным для передовых мыслителей значительно более поздних эпох (Теллезио, Дидро, Геккеля и других).

Анимизм же (от лат. “анима” — душа) каждую конкретную вещь наделял сверхъестественным двойником — душой. Перед взором анимистически мыслившего человека мир выступал как скопление произвольно действующих душ. Элементы анимизма представлены, как отмечал Г.В. Плеханов, в любой религии. Анимистические донаучные взгляды на душу веками влияли на понимание человеческих мыслей, чувств, поступков. Эти рудименты дают о себе знать и в значительно более поздние времена в представлениях об обитающем в мозгу “внутреннем человеке” (скрывающемся под термином “душа”, “сознание”, “Я”), который воспринимает впечатления, размышляет, принимает решения и приводит в действие мышцы.

Господствовавшая в средние века религиозная идеология придала понятию о душе определенное мировоззренческое содержание (душа рассматривалась как бесплотная, нетленная сущность, переживающая брешное тело, служащая средством общения со сверхъестественными силами, испытывающая воздаяние за земные поступки и т.д.).

Именно это отнюдь не “языческое” содержание имплицитно было заложено в древнегреческом по своей этимологии слове “психология”, когда оно впервые стало прилагаться к совокупности сведений о душевных явлениях. Нет ничего более ошибочного, как делать на этом основа-

нии вывод, будто человечество не знало тогда иных взглядов на психику и сознание, кроме религиозно-идеалистических. Царившая в университетах схоластическая философия (ее и представляли те, кто создал термин “психология”) действительно подчинялась диктату церкви. Однако даже в пределах этой философии возникали, отражая запросы новой социальной практики, передовые идеи.

В борьбе с церковно-богословской концепцией души утверждалось самосознание равнявшейся из феодальных пут личности. Отношением к этой концепции определялся общий характер любого учения.

В эпоху Возрождения, когда студенты какого-нибудь университета хотели с первой лекции оценить профессора, они кричали ему: “Говорите нам о душе!”. Наиболее важное в те времена могли рассказать о душе не профессора, кругозор которых был ограничен сочинениями античных авторов и комментариями к ним, а люди, представления которых не излагались ни в лекциях, ни в книгах, объединенных Гоклениусом под общим названием “Психология”. Это были врачи типа Вивеса или Фракасторо, художники и инженеры типа Леонардо да Винчи, а позднее — Декарт, Спиноза, Гоббс и многие другие мыслители и натуралисты, не преподававшие в университетах и не претендовавшие на то, чтобы разрабатывать психологию. Длительное время по своему официальному статусу психология считалась философской (и богословской) дисциплиной. Иногда она фигурировала под другими именами. Ее называли ментальной философией (от лат. mental — психический), душесловием, пневматологией. Но было бы ошибочно представлять ее прошлое по книгам с этими заглавиями и искать ее корни в одной только философии. Концентрация психологических знаний происходила на многих участках интеллектуальной работы человечества. Поэтому история психологии (до момента, когда она около ста лет назад начала вести свою историческую летопись в качестве самостоятельной экспериментальной науки) не совпадает с эволюцией философских учений о душе (так называемая метафизическая психология) или о душевных явлениях (так называемая эмпирическая психология).

Означает ли это, что в интересах научного прогресса, радикально изменившего объяснение явлений, некогда названных словом “душа”, следует отказаться от термина “психология”, хранящего память об этом древнем слове-понятии?

Ответ на данный вопрос дал Л.С. Выготский: “Мы понимаем исторически, — писал он, — что психология как наука должна была начаться с идеи души. Мы также мало видим в этом просто невежество и ошибку, как не считаем рабство результатом плохого характера. Мы знаем, что наука как путь к истине непременно включает в себя в качестве необходимых моментов заблуждения, ошибки, предрассудки. Существенно для науки не то, что они есть, а то, что, будучи ошибками, они все же ведут к правде, что они преодолеваются. Поэтому мы принимаем имя нашей науки со всеми отложившимися в нем следами вековых заблуждений как живое указание на их преодоление, как боевые рубцы от ран, как живое свидетельство истины, возникающей в невероятно сложной борьбе с ложью”¹.

Психологию на ее многовековом историческом пути считали наукой о душе, сознании, психике, поведении. С каждым из этих глобальных терминов сочеталось различное предметное содержание, не говоря уже о конфронтации противоположных взглядов на него. Однако при всех расхождениях, сколь острыми бы они ни были, сохранялись общие точки, где пересекались различные линии мысли. Именно в этих точках “вспыхивали” искры знания как сигналы для следующего шага в поисках истины. Не будь этих общих точек, люди науки говорили бы каждый на своем языке, непонятном для других исследователей этого предметного поля, будь то их современники, либо те, кто пришел после них.

Эти точки, ориентируясь на которые мы способны вернуть к жизни мысль былых искателей истины, назовем категориями и принципами психологического познания <...>.

Информацию о прошлом психологии хранят не только сменявшие друг друга

философские системы, но и история естественных наук (в особенности биологии), медицины, педагогики, социологии.

Объективная природа психики такова, что, находясь в извечной зависимости от своих биологических оснований, она приобретает на уровне человека социальную сущность.

Поэтому ее причинное объяснение необходимо предполагает выявление ее обусловленности природными и общественно-историческими факторами. Исследуются же эти факторы не самой психологией, а соответствующими “сестринскими” науками, от успехов которых она неизменно зависит. Но и они, в свою очередь, зависят от нее, поскольку изучаемые ею явления и закономерности вопреки эпифеноменализму² играют важную роль в биологической и социальной жизни. Невозможно адекватно отобразить становление психологических проблем, гипотез, концепций, абстрагируясь от развития знаний о природе и обществе, а также игнорируя обширные области практики, связанные с воздействием на человека.

История науки — это особая область знания. Ее предмет существенно иной, чем предмет той науки, развитие которой она изучает. Следует иметь в виду, что об истории науки можно говорить в двух смыслах. История — это реально совершающийся во времени и пространстве процесс. Он идет своим чередом независимо от того, каких взглядов придерживаются на него те или иные индивиды.

Это же относится и к развитию науки. Как непрменный компонент культуры она возникает и изменяется безотносительно к тому, какие мнения по поводу этого развития высказывают различные исследователи в различные эпохи и в различных странах.

Применительно к психологии веками рождались и сменяли друг друга представления о душе, сознании, поведении. Воссоздать правдивую картину этой смены, выявить, от чего она зависела, и призвана история психологии.

Психология как наука изучает факты, механизмы и закономерности психической

¹ *Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. М.: Педагогика, 1982—1984. Т. 1. С. 429.*

² Эпифеноменализм — учение о том, что психические акты не имеют самостоятельной ценности и не являются причинными факторами поведения.

жизни. История же психологии описывает и объясняет, как эти факты и законы открывались (порой в мучительных поисках истины) человеческому уму. Итак, если предметом психологии является одна реальность, а именно реальность ощущений и восприятий, памяти и воли, эмоций и характера, то предметом истории психологии служит другая реальность, а именно — деятельность людей, занятых познанием психического мира.

Поскольку же знание является продуктом умственной работы, то обычно история психологии выступает как история научно-психологической мысли. <...>

Имеется определенная последовательность в смене “формаций” научного мышления. Каждая “формация” определяет типичную для данной эпохи картину психической жизни. Закономерности этой смены (преобразования одних понятий, категорий, интеллектуальных структур в другие) изучаются историей науки, и только ею одной. Такова ее первая уникальная задача.

Вторая задача, которую она призвана решать, заключается в том, чтобы раскрыть взаимосвязь психологии с другими науками. Подчеркивая единство науки, великий физик Макс Планк писал, что наука представляет собой внутренне единое целое. Ее разделение на отдельные отрасли обусловлено не столько природой вещей, сколько ограниченностью способности человеческого познания. В действительности существует непрерывная цепь от физики и химии через биологию и антропологию к социальным наукам, цепь, которая ни в одном месте не может быть разорвана, разве лишь по произволу.

Уже была отмечена зависимость успехов психологии от успешного развития механики, биологии, социологии, кибернетики. В свою очередь, ее достижения восприняли многие отрасли знания.

Еще одной проблемой, никем, кроме истории науки, не разрабатываемой, является выяснение зависимости процессов порождения и восприятия знаний (в нашем случае — знаний о психике) от социокультурного контекста, от идеологических влияний. Не выяснены, например, причины, по

которым от учения Демокрита сохранились лишь фрагменты (да и то известные из вторых рук), тогда как от Платона дошло чуть ли не полное собрание сочинений. Но не исключается, что в самом этом факте отразилось своеобразие борьбы различных людей вокруг вопросов, хотя и теоретических, но захватывающих их коренные земные интересы.

Существует легенда, будто Платон пытался уничтожить сочинения Демокрита¹, скупая их с этой целью. (А в те времена уничтожить произведения какого-нибудь автора было нетрудно).

Во всяком случае, Платон, заимствуя у Демокрита сведения, касающиеся природы, ни в одной из своих работ его, как указывает А.Ф. Лосев, не упоминает.

Если от прославленных авторов одной и той же эпохи в одном случае доходят, по существу, все труды, в другом, по существу, ничего не остается, то есть основания объяснять это не случайностью, а умышленными акциями против одного из них. Столкновение умов может превратиться в установку на истребление сочинений какого-либо автора или даже его самого. Вненаучные средства, как известно, пускались в ход не только в древние времена. Свободную мысль, естественнонаучное исследование природы человека пытались приостановить кострами инквизиции, застенками, полицейскими мерами.

Разве не свидетельствует, например, об этом предписание Главного комитета по делам печати царской России “арестовать и подвергнуть судебному преследованию” книгу И.М. Сеченова “Рефлексы головного мозга” как ведущую к “развращению нравов”?²

Борьбу непримиримых воззрений отражают и многие современные дискуссии.

Научные проблемы, идеи, теории зарождаются и трансформируются под влиянием потребностей общества, социальной практики. Так, новая наука, которая строилась на опыте, эксперименте, математике и объясняла мир из его собственных законов, а не исходя из божьей воли, возникла, когда рушились феодальные порядки, ставшие препятствием для развития производительных сил общества.

¹ Демокрит являлся автором множества работ, охватывающих различные области знания.

² Научное наследство. М., 1956. Т. 3 С.64.

В наши дни научно-технический прогресс, сопряженный с революционными изменениями, которые произвела компьютеризация в материальном и духовном производстве, изменил, как было сказано, и стиль психологического мышления.

Из этого явствует и третья, решаемая только историей психологии, задача: изучить взаимоотношения между общественными запросами и научным творчеством как процессом, имеющим свою специфику.

Исторический анализ этой специфики позволяет проникнуть в лабораторию исследовательского труда отдельной личности.

Здесь перед нами четвертая задача истории науки. За творческой личностью стоит целый мир мыслей, неповторимых пе-

реживаний, нескончаемых споров ученого с другими людьми и с самим собой, интеллектуальных радостей и поражений, незавершенных исканий и сбывшихся надежд. Приобщиться к этому миру — значит осознать гуманистическое, личностное начало науки.

Решая эти четыре задачи, история науки и определяет свой собственный предмет. Грубо говоря, этот предмет дан в системе трех координат: историологической (развитие знаний о психическом, опосредованное сменой стилей мышления), социальной (прежде всего отношения между наукой и обществом, а также между самими “обитателями” мира науки) и личностной (неповторимость творческих исканий отдельного ученого).

*А.В.Петровский,
М.Г.Ярошевский*

[ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА О ДУШЕ]¹

Некогда студенты шутили, советуя на экзамене по любому предмету на вопрос о том, кто его впервые изучал, смело отвечать: “Аристотель”. Этот древнегреческий философ и естествоиспытатель, живший в IV веке до н.э., заложил первые камни в основание многих дисциплин. Его по праву следует считать также отцом психологии как науки. Им был написан первый курс общей психологии “О душе”. Кстати, касаясь предмета психологии, мы следуем в своем подходе к нему за Аристотелем. Сперва он изложил историю вопроса, мнения своих предшественников, объяснил отношение к ним, а затем, используя их достижения и просчеты, предложил свои решения.

Как бы высоко ни поднялась мысль Аристотеля, обессмертив его имя, за ним стояли поколения древнегреческих мудрецов. Притом не только философов-теоретиков, но и испытателей природы, натуралистов, медиков. Их труды — это предгорья возвышающейся в веках вершины: учения Аристотеля о душе. Этому учению предшествовали революционные события в истории представлений об окружающем мире.

АНИМИЗМ

Переворот заключался в преодолении древнего анимизма (от лат. “анима” —

душа, дух) — веры в скрытый за видимыми вещами сонм духов (душ) как особых “агентов” или “призраков”, которые покидают человеческое тело с последним дыханием, а по некоторым учениям (например, знаменитого философа и математика Пифагора), являясь бессмертными, вечно странствуют по телам животных и растений. Древние греки называли душу словом “псюхе”. Оно и дало позднее имя нашей науке.

В имени сохранились следы изначального понимания связи жизни с ее физической и органической основой (сравните русские слова: “душа”, “дух”, и “дышать”, “воздух”). Интересно, что уже в ту древнейшую эпоху, говоря о душе (“псюхе”), люди как бы соединяли в единый комплекс присущее внешней природе (воздух), организму (дыхание) и психике (в ее последующем понимании). Конечно, в своей житейской практике они все это прекрасно различали. Когда знакомишься со знанием человеческой психологии по их мифам, не можешь не восхищаться тонкостью понимания ими стиля поведения своих богов, наделенных коварством, мудростью, мстительностью, завистью и иными качествами, которые придавал небожителям творец мифов — народ, познавший эту психологию в земной практике своего общения с ближними.

Мифологическая картина мира, где тела заселяются душами (их “двойниками” или призраками), а жизнь зависит от произвола богов, веками царил в общественном сознании.

ГИЛОЗОИЗМ

Революцией в умах стал переход от анимизма к гилозоизму (от греч. слов, означающих: “материя” и “жизнь”). Весь мир — универсум, космос — мыслился отныне изначально живым. Границы между живым, неживым и психическим не проводилось. Все они рассматривались как порождение единой первичной материи (праматерии), и тем не менее это философское учение стало великим шагом на пути познания природы психического. Оно покончило с анимизмом (хотя он и после этого на протяжении столетий, вплоть до наших

¹ Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии: В 2 т. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. Т. 1. С. 53—77, 81, 86—93.

дней, находил множество приверженцев, считающих душу внешней для тела сущностью). Гилозоизм впервые поставил душу (психику) под общие законы естества.

Утверждался непреложный и для современной науки постулат об изначальной вовлеченности психических явлений в круговорот природы.

Гераклит и идея развития как закон (Логос)

Гилозоисту Гераклиту космос явился в образе “вечно живого огня”, а душа (“психея”) — в образе его искорки. Все сущее подвержено вечному изменению: “Наши тела и души текут, как ручьи”. Другой афоризм Гераклита гласил: “Познай самого себя”. Но в устах философа это вовсе не означало, что познать себя — значит уйти в глубь собственных мыслей и переживаний, отвлекшись от всего внешнего. “По каким бы дорогам ни шел, не найдешь границ души, так глубок ее Логос”, — учил Гераклит.

Этот термин “логос”, введенный Гераклитом, но применяемый поныне, приобрел великое множество смыслов. Но для него самого он означал закон, по которому “все течет”, и явления переходят друг в друга. Малый мир (микрокосм) отдельной души идентичен макрокосму всего миропорядка. Поэтому постигать себя (свою психею) — значит углубляться в закон (Логос), который придает вселенскому ходу вещей сотканную из противоречий и катаклизмов динамическую гармонию.

После Гераклита (его называли “темным” из-за трудности понимания и “плачущим”, так как будущее человечества он считал еще страшнее настоящего) в запас средств, позволяющих читать “книгу природы” со смыслом, вошла идея закономерного развития всего сущего, в том числе “текущих, как ручьи” тел и душ.

Демокрит и идея причинности

Учение Гераклита о том, что от Закона (а не от произвола богов — властителей неба и земли) зависит ход вещей, перешло к Демокриту. Сами боги — в его изображении — не что иное, как сферические скопления огненных атомов. Че-

ловек также создан из различного сорта атомов, самые подвижные из них — атомы огня. Они образуют душу.

Единым и для души, и для космоса он признал не сам по себе закон, а закон, согласно которому нет беспричинных явлений, но все они — неотвратимый результат соударения атомов. Случайными кажутся события, причину которых мы не знаем.

Демокрит говорил, что хотя бы одно причинное объяснение готов был бы предпочесть царской власти над персами. (Персия была тогда сказочно богатой страной.) Впоследствии принцип причинности назвали детерминизмом. И мы увидим, как именно благодаря ему добывалось по крупице научное знание о психике.

Гиппократ и учение о темпераментах

Демокрит дружил со знаменитым медиком Гиппократом. Для медика важно было знать устройство живого организма, причины, от которых зависят здоровье и болезнь. Определяющей причиной Гиппократ считал пропорцию, в которой смешаны в организме различные “соки” (кровь, желчь, слизь). Пропорция в смеси была названа темпераментом. И с именем Гиппократа связывают дошедшие до наших дней названия четырех темпераментов: сангвинический (преобладает кровь), холерический (желтая желчь), меланхолический (черная желчь), флегматический (слизь). Для будущей психологии этот объяснительный принцип при всей его наивности имел очень важное значение. Недаром названия темпераментов сохранились поныне. Во-первых, на передний план ставилась гипотеза, согласно которой бесчисленные различия между людьми умещались в несколько общих картин поведения. Тем самым Гиппократ положил начало научной типологии, без которой не возникли бы современные учения об индивидуальных различиях между людьми. Во-вторых, источник и причину различий Гиппократ искал внутри организма. Душевные качества ставились в зависимость от телесных.

О роли нервной системы в ту эпоху еще не знали. Поэтому типология являлась, говоря нынешним языком, гуморальной (от лат. “гумор” — жидкость). Следует, впро-

чем, заметить, что в новейших теориях признается теснейшая связь между нервными процессами и жидкими средами организма, его гормонами (греческое слово, означающее то, что возбуждает). Отныне и медики, и психологи говорят о единой нейрогуморальной регуляции поведения.

Анаксагор и идея организации

Афинский философ Анаксагор не принял ни гераклитово воззрение на мир как огненный поток, ни демокритову картину атомных вихрей. Считая природу состоящей из множества мельчайших частиц, он искал в ней начало, благодаря которому из беспорядочного скопления и движения этих частиц возникают целостные вещи. Из хаоса — организованный космос. Он признал таким началом “тончайшую вещь”, которой дал имя “нус” (разум). От того, какова степень его представленности в различных телах, зависит их совершенство. “Человек, — говорил Анаксагор, — является самым разумным из животных вследствие того, что имеет руки”. Вышло, что не разум определяет преимущества человека, но его телесная организация определяет высшее психическое качество — разумность.

Все три принципа, утвержденные философами, о которых шла речь (Гераклитом, Демокритом, Анаксагором), создавали главный жизненный нерв будущего научного способа осмысления мира, в том числе и научного познания психических явлений. Какими бы извилистыми путями ни шло это познание в последующие века, оно имело своими регуляторами три идеи: закономерного развития, причинности и организации (системности). Открытые две с половиной тысячи лет назад объяснительные принципы стали на все времена основой объяснения душевных явлений.

“Софисты”: поворот от природы к человеку

Новую особенность этих явлений открыла деятельность философов, названных софистами — “учителями мудрости”. Их интересовала не природа с ее не зависящими от человека законами, но сам человек, которого первый софист Протагор

назвал “мерой всех вещей”. Впоследствии кличка “софист” стала применяться к лжемудрецам, которые с помощью различных уловок выдают мнимые доказательства за истинные. Но в истории психологического познания деятельность софистов открыла новый объект: отношения между людьми с использованием средств, призванных доказать и внушить любое положение, независимо от его достоверности.

В связи с этим детальному обсуждению были подвергнуты приемы логических рассуждений, строение речи, характер отношений между словом, мыслью и воспринимаемыми предметами. Как можно что-либо передать посредством языка, спрашивал софист Горгий, если его звуки ничего общего не имеют с обозначаемыми ими вещами? И это не софизм в смысле логического ухищрения, а реальная проблема. Она, как и другие вопросы, обсуждавшиеся софистами, подготавливала развитие нового направления в понимании души. Были оставлены поиски ее природной “материи” (огненной, атомной и др.). На передний план выступили речь и мышление как средства манипулирования людьми. Их поведение ставилось в зависимость не от материальных причин, как представлялось прежним философам, вовлекшим душу в космический круговорот. Теперь она попадала в сеть произвольно творимых логико-лингвистических хитросплетений.

Из представлений о душе исчезали признаки ее подчиненности строгим законам и неотвратимым причинам, действующим в физической природе. Язык и мысль лишены подобной неотвратимости. Они полны условностей в зависимости от человеческих интересов и пристрастий. Тем самым действия души приобретали зыбкость и неопределенность. Возвратить им прочность и надежность, но коренящиеся не в вечных законах мироздания, а в самом мышлении человека, стремился Сократ.

Сократ и новое понятие о душе

Об этом философе, ставшем на все века идеалом бескорыстия, честности и независимости мысли, мы знаем со слов его учеников. Сам же он никогда ничего

не писал и считал себя не учителем мудрости, а человеком, пробуждающим у других стремление к истине путем особой техники диалога, своеобразие которого стали впоследствии называть сократическим методом. Подбирая определенные вопросы, Сократ помогал собеседнику “родить” ясное и отчетливое знание. Он любил говорить, что продолжает в области логики и нравственности дело своей матери — повивальной бабки. Уже знакомая нам формула Гераклита “познай самого себя” означала у Сократа обращенность не к вселенскому закону (Логосу), но к внутреннему миру субъекта, его убеждениям и ценностям, его умению действовать как разумное существо согласно пониманию лучшего.

Сократ был мастером устного общения. С каждым встречным человеком он затеивал беседу с целью заставить его задуматься о своих беспечно применяемых понятиях. Впоследствии его стали называть пионером психотерапии, цель которой — с помощью слова обнажить то, что скрыто за покровом сознания. В его методике таились идеи, сыгравшие через много столетий ключевую роль в психологических исследованиях мышления.

Во-первых, работа мысли ставилась в зависимость от задачи, создающей препятствие в ее привычном течении. Именно с такими задачами сталкивали вопросы, которые Сократ обрушивал на своего собеседника, вынуждая его тем самым обратиться к работе собственного ума. Во-вторых, эта работа изначально носила характер диалога. Оба признака — детерминирующая тенденция, создаваемая задачей, и диалогизм, предполагающий, что познание изначально социально, поскольку коренится в общении субъектов, — стали в XX веке главными ориентирами экспериментальной психологии мышления.

После Сократа, в центре интересов которого выступила умственная деятельность индивидуального субъекта (ее продукты и ценности), понятие о душе наполнилось новым предметным содержанием. Его составляли совершенно особые реалии, которых физическая природа не знает. Мир этих реалий стал сердцевинной философией гениального ученика Сократа Платона.

Платон: душа как созерцательница идей

Платон создал в Афинах свой научно-учебный центр, названный Академией, у входа в которую было написано: “Не знающий геометрии да не войдет сюда”. Геометрические фигуры, общие понятия, математические формулы, логические конструкции являли собой умопостижимые объекты, наделенные в отличие от калейдоскопа чувственных впечатлений неизблемостью и обязательностью для любого индивидуального ума. Возведя эти объекты в особую действительность, Платон увидел в них сферу вечных идеальных форм, скрытых за небосводом в образе царства идей.

Все чувственно-воспринимаемое, начиная от непосредственно ощущаемых близких предметов до воспринимаемых далеких звезд, — это лишь затемненные идеи, их несовершенные слабые копии. Утверждая принцип первичности сверхпрочных, вечных общих идей по отношению ко всему преходящему в тленном телесном мире, Платон стал родоначальником философии идеализма.

Каким же образом осевшая в брэнной плоти душа приобщается к вечным идеям? Всякое знание, согласно Платону, есть воспоминание. Душа вспоминает (для этого требуются специальные усилия) то, что ей довелось созерцать до своего земного рождения.

Открытие внутренней речи как диалога

Опираясь на опыт Сократа, доказавшего нераздельность мышления и общения (диалога), Платон сделал следующий шаг. Он под новым углом зрения оценил процесс мышления, не получивший выражения в сократовом внешнем диалоге. В этом случае, по мнению Платона, его сменяет диалог внутренний. “Душа, размышляя, ничего иного не делает, как разговаривает, спрашивая сама себя, отвечая, утверждая и отрицая”.

Феномен, описанный Платоном, известен современной психологии как внутренняя речь, а процесс ее порождения из речи

внешней (социальной) получил имя “интериоризации” (от лат. “интериор” — внутренний).

У самого Платона нет этих терминов. Тем не менее перед нами феномен, прочно вошедший в состав нынешнего научного знания об умственной деятельности человека.

Личность как конфликтующая структура

Дальнейшее развитие понятия о душе шло в направлении его дифференциации путем выделения в ней различных “частей” и функций. У Платона их разграничение приняло этический смысл. Это пояснял платоновский миф о вознице, правящем колесницей, в которую впряжены два коня: дикий, рвущийся идти собственным путем любой ценой, и породистый, благородный, поддающийся управлению. Возница символизировал разумную часть души, кони — два типа мотивов: низшие и высшие побуждения. Разум, призванный согласовать эти два мотива, испытывает, согласно Платону, большие трудности из-за несовместимости низменных и благородных влечений.

В сферу изучения души вводились такие важнейшие аспекты, как конфликт мотивов, имеющих нравственную ценность, и роль разума в его преодолении и интеграции поведения. Через много столетий версия о взаимодействии трех компонентов, образующих личность как динамическую, раздираемую конфликтами и полную противоречий организацию, ожил в психоанализе Фрейда.

Природа, культура и организм

Знание о душе — от его первых зачатков на античной почве до современных систем — росло в зависимости от уровня знаний о внешней природе, с одной стороны, и от общения с ценностями культуры — с другой. Ни природа, ни культура сами по себе не образуют область психического. Однако ее нет без взаимодействия с ними.

Коренной поворот в познании этой области и работе по построению предмета психологии принадлежал Аристотелю. Философы до Сократа, размышляя о психических явлениях, ориентировались

на природу. Они искали в качестве эквивалента этих явлений одну из ее стихий, образующих единый мир, которым правят естественные законы. Лишь сопоставив эти воззрения с древней верой в души как особые двойники тела, можно ощутить их взрывную силу.

Грянула великая интеллектуальная революция, от которой следует вести счет новому воззрению на психику. После софистов и Сократа в объяснениях души наметился поворот к пониманию ее деятельности как феномена культуры. Ибо входящие в состав души абстрактные понятия и нравственные идеалы выводимы из вещества природы. Они — порождения духовной культуры.

Для обеих ориентаций — и на природу, и на культуру — душа выступала как внешняя по отношению к организму реалья, либо вещественная (огонь, воздух и др.), либо бесплотная (средоточие понятий, общезначимых норм и др.). Шла ли речь об атомах (Демокрит) или об идеальных формах (Платон) — предполагалось, что и одно, и другое заносится в организм извне.

Аристотель: душа как форма тела

Аристотель преодолел этот способ мышления, открыв новую эпоху в понимании души как предмета психологического знания. Не физические тела и не бестелесные идеи стали для него источником этого знания, но организм, где телесное и духовное образуют нераздельную целостность. Тем самым было покончено и с наивным анимистическим дуализмом, и с изощренным дуализмом Платона. Душа, по Аристотелю, это не самостоятельная сущность, а форма, способ организации живого тела.

Аристотель был сыном медика при македонском царе и сам готовился к медицинской профессии. Семнадцатилетним юношей он появился в Афинах у шестидесятилетнего Платона и ряд лет занимался в его Академии, с которой в дальнейшем порвал. Известная картина Рафаэля “Афинская школа” изображает Платона указывающим рукой на небо, Аристотеля — на землю. В этих образах запечатлено различие в ориентациях двух великих мыслителей. По Аристотелю, идейное богатство мира скрыто в чув-

ственно-воспринимаемых земных вещах и раскрывается в их опирающемся на опыт исследовании.

Аристотель создал свою школу на окраине Афин, названную Ликеем (по этому названию в дальнейшем словом “лицей” стали называть привилегированные учебные заведения). Это была крытая галерея, где Аристотель, обычно прогуливаясь, вел занятия. “Правильно думают те, — говорил Аристотель своим ученикам, — кому представляется, что душа не может существовать без тела и не является телом”.

Кто же имелся в виду под теми, кто “правильно думает”?

Очевидно, что не натурфилософы, для которых душа — это тончайшее тело. Но и не Платон, считавший душу паломницей, странствующей по телам и другим мирам. Решительный итог размышлений Аристотеля: “Душу от тела отделить нельзя”, — делал бессмысленными все вопросы, стоявшие в центре учения Платона о прошлом и будущем души.

Выходит, что, упоминая тех, кто “правильно думает”, Аристотель имел в виду собственное понимание, согласно которому переживает, мыслит, учится не душа, а целостный организм. “Сказать, что душа гневается, — писал он, — равносильно тому, как если бы кто сказал, что душа занимается тканьем или постройкой дома”.

Биологический опыт и изменение объяснительных принципов психологии

Аристотель был и философ, и исследователь природы. Одно время он обучал наукам юного Александра Македонского, который впоследствии приказал отправлять своему старому учителю образцы растений и животных из завоеванных им стран. Накапливалось огромное количество фактов — сравнительно-анатомических, зоологических, эмбриологических и других, богатство которых стало опытной основой наблюдений и анализа поведения живых существ.

Психологическое учение Аристотеля строилось на обобщении биологических фактов. Вместе с тем это обобщение привело к преобразованию главных объяснительных принципов психологии: организации (системности), развития и причинности.

Организация живого (системно-функциональный подход)

Уже сам термин “организм” требует рассматривать его под углом зрения организации, то есть упорядоченности целого, которое подчиняет себе свои части для решения какой-либо задачи. Устройство этого целого и его работа (функция) нераздельны. “Если бы глаз был живым существом, его душой было бы зрение”, — говорил Аристотель.

Душа организма — это его функция, деятельность. Трактую организм как систему, Аристотель выделял в ней различные уровни способностей к деятельности.

Понятие о способности, введенное Аристотелем, было важным новшеством, навсегда вошедшим в основной фонд психологических знаний. Оно разделяло возможности организма (заложенные в нем психологические ресурсы) и их реализацию на деле. При этом намечалась схема иерархии способностей как функций души: а) вегетативная (имеется и у растений); б) чувственно-двигательная (у животных и человека); в) разумная (присущая только человеку). Функции души становились уровнями ее развития.

Закономерность развития

Тем самым в психологию вводилась в качестве важнейшего объяснительного принципа идея развития. Функции души располагались в виде “лестницы форм”, где из низшей и на ее основе возникает функция более высокого уровня. (Вслед за вегетативной — растительной — формируется способность ощущать, из которой развивается способность мыслить.)

При этом в отдельном человеке повторяются при его превращении из младенца в зрелое существо те ступени, которые прошел за свою историю весь органический мир. (Впоследствии это было названо биогенетическим законом.)

Различие между чувственным восприятием и мышлением было одной из первых психологических истин, открытых древними. Аристотель, следуя принципу развития, стремился найти звенья, ведущие от одной ступени к другой. В этих поисках он открыл особую область пси-

хических образов, которые возникают без прямого воздействия вещей на органы чувств. Сейчас их принято называть представлениями памяти и воображения (Аристотель говорил о фантазии). Эти образы подчинены открытому опять-таки Аристотелем механизму ассоциации — связи представлений.

Объясняя развитие характера, он утверждал, что человек становится тем, что он есть, совершая те или иные поступки.

Учение о формировании характера в реальных поступках, которые у людей как существ “политических” всегда предполагают нравственное отношение к другим, ставило психическое развитие человека в причинную, закономерную зависимость от его деятельности.

Понятие о конечной причине

Изучение органического мира побудило Аристотеля придать новый импульс главному нерву аппарата научного объяснения — принципу причинности (детерминизма). Вспомним, что Демокрит хотя бы одно причинное объяснение считал стоящим всего персидского царства. Но для него образцом служило столкновение, соударение материальных частиц — атомов. Аристотель же, наряду с этим типом причинности, выделяет другие. Среди них — целевую причину или “то, ради чего совершается действие”, ибо “природа ничего не делает напрасно”.

Конечный результат процесса (цель) заранее воздействует на его ход. Психическая жизнь в данный момент зависит не только от прошлого, но и потребного будущего. Это было новым словом в понимании ее причин (детерминации). Итак, Аристотель преобразовал ключевые объяснительные принципы психологии: системности, развития, детерминизма.

Аристотелем было открыто и изучено множество конкретных психических явлений. Но так называемых “чистых фактов” в науке нет. Любой ее факт по-разному видится в зависимости от теоретического угла зрения, от тех категорий и объяснительных схем, которыми вооружен исследовательский ум. Обогадив эти принципы, Аристотель представил совершенно иную сравнительно с его предшественниками (подготовившими его синтез) картину устройства, функций и развития души.

Психологическая мысль эпохи эллинизма

После походов македонского царя Александра (IV век до н.э.) возникает крупнейшая мировая монархия древности. Вскоре она распалась, и ее распад открыл новый период в истории древнего мира — эллинистический. Его отличал синтез элементов культур Греции и стран Востока.

Положение личности в обществе коренным образом изменилось. Свободный грек утрачивал связь со своим родным городом, его стабильной социальной средой и оказывался перед лицом непредсказуемых перемен. Со все большей остротой он ощущал зыбкость своего существования в изменившемся, ставшим чужим мире. Эти сдвиги в реальном положении и в самовосприятии личности наложили отпечаток на представления о ее душевной жизни. В них она осмысливалась под новым углом зрения.

Вера в могущество разума, в великие интеллектуальные достижения прежней эпохи ставится под сомнение. Возникает философия скептицизма, рекомендуемая вообще воздерживаться от суждений, касающихся окружающего мира, по причине их недоказуемости, относительности, зависимости от обычаев и т.п. (Пиррон, конец IV века до н.э.). Такая интеллектуальная установка исповедовалась, исходя из этической мотивации. Полагалось, что отказ от поисков истины позволит обрести душевный покой, достичь состояния атараксии (от греческого слова, означавшего отсутствие волнений).

В других концепциях этого периода также идеализировался образ жизни мудреца, отрешенного от игры внешних стихий и благодаря этому способного сохранить свою индивидуальность в непрочном мире, противостоять потрясениям, постоянно угрожающим существованию. Этот мотив направлял интеллектуальные поиски двух других доминировавших в эллинистический период философских школ — стоиков и эпикурейцев. Связанные корнями со школами классической Греции, они переосмыслили ее идейное наследство соответственно духу новой эпохи.

Стоики: пневма и избавление от страстей

Эта школа возникла в IV веке до н.э. и получила свое название по имени того места в Афинах (“стоя” — портик храма), где ее основатель Зенон (не смешивать с софистом Зеноном) проповедовал свое учение. Представляя космос как единое целое, состоящее из бесконечных модификаций огненного воздуха — пневмы, стоики рассматривали человеческую душу как одну из таких модификаций.

Понятие о пневме (в исходном значении — вдыхаемый воздух) у первых натурфилософов мыслилось как единое природное, материальное начало, которое пронизывает как внешний физический космос, так и живой организм (служа носителем жизни) и пребывающую там псюхе (т.е. область ощущений, чувств, мыслей).

У Анаксимена, как у Гераклита и других натурфилософов, воззрение на психею как частицу воздуха или огня означало ее порождимость внешним, материальным космосом. У стоиков же слияние псюхе и природы приобрело иной смысл. Сама природа спиритуализировалась, наделялась признаками, свойственными разуму, но не индивидуальному, а сверхиндивидуальному.

Согласно этому учению, мировая пневма идентична мировой душе, “божественному огню”, который является Логосом или, как считали позднейшие стоики, — судьбой. Счастье человека усматривалось в том, чтобы жить согласно Логосу.

Как и их предшественники в классической Греции, стоики верили в примат разума, в то, что человек не достигает счастья из-за незнания, в чем оно состоит. Но если прежде рисовался образ гармоничной личности, в полноценной жизни которой сливаются разумное и чувственное (эмоциональное), то у мыслителей эллинистической эпохи, когда на людей обрушивались невзгоды, порождавшие страх, неудовлетворенность, тревогу, отношение к аффектам изменяется.

Стоики объявили вредными любые аффекты. В них усматривалась “порча разума”, поскольку они возникают при неправильной деятельности ума. Удовольствие и страдание — это ложные сужде-

ния о настоящем. Желание и страх — столь же ложные суждения о будущем.

От аффектов следует лечить как от болезней. Их нужно “с корнем вырывать из души”. Только разум, свободный от любых эмоциональных потрясений (положительных или отрицательных), способен правильно руководить поведением. Именно это позволяет человеку выполнять свое предназначение, свой долг.

Эта этико-психологическая доктрина обычно сопрягалась с установкой, которую, говоря современным языком, можно было бы назвать психотерапевтической. Люди испытывали потребность в том, чтобы устоять перед превратностями жизни с ее драматическими поворотами, лишаящими душевного равновесия. Изучение мышления и его отношения к эмоциям носило не абстрактно-теоретический характер. Оно соотносилось с тем, чем люди живы, с обучением искусству жить. Все чаще к философам обращались для обсуждения и решения личных, нравственных проблем. Из искателей истин они становились целителями душ, прообразом будущих священников, духовников.

Эпикурейцы: атомизм и безмятежность духа

На других космологических началах, но с той же этической ориентацией на поиски счастья и искусства жить сложилась школа Эпикура (конец IV века до н.э.). В своих представлениях о природе она опиралась на атомизм Демокрита, внося в него, однако, важную коррективу. (За диссертацию о различии между натурфилософией Демокрита и Эпикура Карл Маркс получил диплом доктора философии.) Отойдя от демокритова учения о неотвратимости движения атомов по законам, исключаяющим случайность, Эпикур предполагал, что эти частицы могут отклоняться от своих закономерных траекторий. Этот вывод имел этико-психологическую подоплеку.

В отличие от версии о “жесткой” причинности, царящей во всем, что совершается в мире (и, стало быть, в душе как разновидности атомов), допускались самопроизвольность, спонтанность изменений, их случайный характер. С одной стороны, этот взгляд запечатлел ощущение

непредсказуемости того, что может произойти с человеком в потоке событий, делающих существование непрочным. С другой стороны, [отсюда] вытекало, что в самой природе вещей заложена возможность самопроизвольных отклонений и тем самым непредопределенности поступков (стало быть, и свободы выбора).

Это отражало отмеченную выше индивидуализацию личности как величины, способной действовать на свой страх и риск. Впрочем, слово “страх” здесь можно употребить только метафорически.

Весь смысл эпикурейского учения заключался в том, чтобы, проникнувшись им, люди спаслись от страха.

Учение об атомах служило именно этой цели. Живое тело, как и душа, состоит из движущихся в пустоте атомов. Со смертью они рассеиваются по общим законам все того же вечного космоса. “Смерть не имеет к нам никакого отношения; когда мы есть, то смерти еще нет, когда же смерть наступает, то нас уже нет”.

Представленная в учении Эпикура картина природы и места человека в ней служила тому, чтобы достичь безмятежности духа, свободы от страхов и, прежде всего, перед смертью и богами (которые, обитая между мирами, не вмешиваются в дела людей, ибо это нарушило бы их безмятежное существование).

Как и многие стоики, эпикурейцы (соответственно изменению реалий жизни отдельной личности в эллинистическую эпоху) размышляли о путях ее независимости от всего внешнего. Лучший путь они усматривали в самоустранении от всех общественных дел. Именно такое поведение позволит избежать огорчений, тревог, отрицательных эмоций и тем самым испытать наслаждение, ибо оно не что иное, как отсутствие страдания.

Последователем Эпикура в древнем Риме был Лукреций (I век до н.э.). Он критиковал стоиков за учение о разлитом в природе в форме пневмы разуме. В действительности, согласно Лукрецию, существуют только атомы, проносящиеся по механическим законам, под действием которых возникает и сам разум.

Первичным в познании являются ощущения, преобразуемые (наподобие того “как паук тклет паутину”) в другие образы, ведущие к разуму.

Как и мыслители предшествующего эллинистического периода, Лукреций свое учение (изложенное в поэтической форме) считал наставлением по искусству жить в водовороте бедствий, с тем, чтобы люди навсегда избавились от страхов перед загробным наказанием и потусторонними силами, ибо в мире нет ничего, кроме атомов и пустоты.

Александрийская наука

В эллинистический период возникли новые центры культуры, где различные течения восточной мысли взаимодействовали с западной. Среди этих центров выделялись созданные в Египте (в III веке до н.э.) при царской династии Птолемеев (основанной одним из полководцев Александра Македонского) библиотека и музей в Александрии. Музей представлял собой, по существу, исследовательский институт с лабораториями, комнатами для занятий со студентами. В нем был проведен ряд важных исследований в различных областях знания, в том числе в анатомии и физиологии (например, врачами Герофилом и Эразистратом, труды которых не сохранились).

К важнейшим открытиям этих врачей, усовершенствовавших технику изучения организма, в том числе головного мозга, относится установление различий между чувствительными и двигательными нервами.

Открытие было забыто, но через две с лишним тысячи лет вновь установлено и легло в основу важнейшего для физиологии и психологии учения о рефлексе.

Среди других великих исследователей душевной жизни в ее связях с телесной выступил древнеримский врач Гален (II век н.э.). В труде “О частях человеческого тела” он, опираясь на множество наблюдений и экспериментов и обобщив познания медиков Востока и Запада (в том числе александрийских), описал зависимость жизнедеятельности целостного организма от нервной системы.

В те времена запрещалось анатомирование человеческих тел. Опыты ставились на животных. Но Гален, работая хирургом у гладиаторов (которых, как известно, заставляли сражаться в цирке с дикими зверями), смог расширить представления и о человеке, в том числе о его головном мозге, где, как он полагал, производится и

хранится высший сорт пневмы как носительницы разума.

Широкой известностью в течение многих столетий пользовалось развитие Галеном (вслед за Гиппократом) учение о темпераментах как пропорции в смеси нескольких основных “соков”. Темперамент с преобладанием “теплого” он описывает как мужественный и энергичный, с преобладанием “холодного” — как медлительный и т.д. Большое внимание он уделял аффектам. Еще Аристотель писал, что возможно объяснять гнев либо межличностными отношениями (например, как стремление отомстить за обиду), либо “кипением крови” в организме.

Гален утверждал, что первичным при аффектах являются изменения в организме (“повышение сердечной теплоты”). Стремление же отомстить — вторично. Через много веков между психологами вновь возникнут дискуссии вокруг вопроса о том, что первично: субъективное переживание либо телесное потрясение.

Бедствия, которые переживали в жесточайших войнах с Римом и под его владычеством народы Востока, способствовали развитию идеалистических учений о душе. Именно они подготовили воззрения, которые ассимилировала христианская религия.

Филон:

пневма как дыхание

Огромную популярность приобрело учение философа-мистика из Александрии Филона (I век н.э.), учившего, что тело — это прах, который получает жизнь от дыхания божества. Это дыхание и есть пневма. Представление о пневме, которое занимало важное место в античных учениях о душе, носило, как отмечалось, сугубо гипотетический характер, что создавало почву для иррациональных, недоступных эмпирическому контролю картин зависимости происходящего с человеком от сверхчувственных, небесных сил — посредников между земным миром и Богом.

После Филона пневме приписывают функцию общения брешней части души с бестелесными сущностями, связующими ее со Всевышним. Возникает особый раздел религиозной догматики, описывающей эти “пневматические” сущности. Он был назван пневматологией.

Плотин:

понятие о рефлексии

Принцип абсолютной нематериальности души утвердил Плотин (III век н.э.) — древнегреческий философ, основатель в Риме школы неоплатонизма. Во всем телесном усматривалась эманация (истечение) божественного, духовного первоначала.

Если отвлечься от религиозной метафизики, проникнутой мистикой, то применительно к прогрессу психологической мысли в представлениях Плотина о душе содержался новый важный момент.

У Плотина психология впервые в ее истории становится наукой о сознании, понятом как “самосознание”. Поворот интересов к внутренней психической жизни человека сложился в античной культуре задолго до Плотина. Однако лишь кризис рабовладельческого общества придал этому повороту смысл отрешенности от реального мира и замкнул сознание на его собственных феноменах.

Еще не было предпосылок (при всей тенденции к индивидуализации, которая, как отмечалось, нарастала в эллинистический период) для осознания субъектом самого себя в качестве конечного самостоятельного центра психических актов. Эти акты считались производными от пневмы (как тончайшего огнеподобного воздуха) у стоиков, атомных потоков — у эпикурейцев.

Плотин, вслед за Платоном, учил, что индивидуальная душа происходит от мировой души, к которой она и устремлена. Другой вектор активности индивидуальной души направлен к чувственному миру. (Здесь Плотин также следовал за Платоном). Но у нее Плотин выделил еще одно направление, а именно — обращенность на себя, на собственные, незримые действия и содержания. Она как бы следит за своей работой, является ее “зеркалом”.

Через много столетий эта способность субъекта не только ощущать, чувствовать, помнить или мыслить, но обладать также внутренним представлением об этих функциях, получила название рефлексии. Эта способность не является фикцией. Она служит неотъемлемым “механизмом” деятельности сознания человека, соединяю-

щим его ориентацию во внешнем мире с ориентацией в мире внутреннем, в “самом себе”.

Плотин отграничил этот “механизм” от других психических процессов, на объяснении которых в течение веков была сосредоточена мысль многих поколений исследователей психики. Сколь широк бы ни был спектр этих объяснений, он, в конечном счете, сводился к поискам зависимости душевных явлений от физических причин, процессов в организме, общения с другими людьми.

Рефлексия, открытая Платином, не могла быть объяснена ни одним из этих факторов. Она выглядела самодостаточной, невыводимой сущностью. Таковой она и оставалась на протяжении веков, став исходным понятием интроспективной психологии сознания.

В новое время, когда сложились реальные социальные основы для самоутверждения субъекта в качестве независимой свободной личности, претендующей на уникальность своего психического бытия, рефлексия выступила в теоретических представлениях о ней как основание и главный источник знаний об этом бытии.

Таковой она трактовалась и в первых программах создания психологии в качестве науки, имеющей свой собственный предмет, отличающий ее от других наук. Действительно, ни одна наука не занята изучением способности к рефлексии. Однако, выделяя рефлексию как одно из направлений деятельности души, Плотин в ту отдаленную эпоху не мог, конечно, и помыслить индивидуальную душу самодостаточным источником своих внутренних образов и действий. Она для него — эманация сверхпрекрасной сферы высшего первоначала всего сущего.

Августин: понятие о внутреннем опыте

Учение Платина оказало влияние на Августина (IV—V века н.э.), творчество которого ознаменовало переход от античной традиции к средневековому христианскому мировоззрению.

Августин придал трактовке души (считая ее орудием, которое правит телом) особый характер, утверждая, что ее основу образует воля (а не разум). Тем самым он

стал инициатором учения, названного волюнтаризмом (от лат. “волюнтас” — воля).

Воля индивида, завися от божественной, действует в двух направлениях: управляет действиями души и поворачивает ее к себе самой. Все изменения, происходящие с телом, становятся психическими благодаря волевой активности субъекта. Так, из впечатлений, которые сохраняют органы чувств, воля творит воспоминания.

Все знание заложено в душе, которая живет и движется в Боге. Оно не приобретается, а извлекается из души опять-таки благодаря направленности воли.

Основанием истинности этого знания служит внутренний опыт: душа поворачивается к себе, чтобы постичь с предельной достоверностью собственную деятельность и ее незримые продукты.

Идея о внутреннем опыте, отличном от внешнего, но обладающем высшей истинностью, имела у Августина теологический смысл, поскольку проповедовалось, что эта истинность даруется Богом.

В дальнейшем трактовка внутреннего опыта, будучи освобождена от религиозной окраски, слилась с представлением об интроспекции как особом методе исследования сознания, которым владеет психология в отличие от других наук. <...>

Крушение античной цивилизации

Древнегреческая цивилизация в силу нарастающей социально-экономической деградации общества, которое ее породило, разрушилась. В тот период была утрачена большая часть достигнутых знаний. В начале исчезла потребность читать книги. Вскоре никто не мог их уже и понять. Они сжигались для нагревания воды в общественных банях или же исчезали сотнями других неизвестных путей.

Жестокие удары по распадавшейся античной культуре наносила христианская церковь, которая разрушала ее памятники и создавала атмосферу воинственной нетерпимости ко всему “языческому”. В IV веке был уничтожен научный центр в Александрии. В начале VI века императором Юстинианом закрывается просуществовавшая около тысячи лет Афинская

школа — последний очажок античной философии. Победившее христианство, ставшее в Европе господствующей идеологией феодального общества, культивировало ненависть ко всякому знанию, основанному на опыте и разуме, внушало веру в непогрешимость церковных догматов и греховность самостоятельного, отличного от предписанного священными книгами понимания устройства и предназначения человеческой души.

Естественнонаучное исследование природы приостановилось. Его сменили религиозные спекуляции. <...>

Психологические идеи средневековой Европы

В период средневековья в умственной жизни Европы воцарилась схоластика (от греч. “схоластикос” — школьный, ученый). Этот особый тип философствования (“школьная философия”) с XI до XVI вв. сводился к рациональному (использующему логические приемы) обоснованию христианского вероучения.

Томизм: “Аристотель с тонзурой”

В схоластике имелись различные течения. Но общей для них служила установка на комментирование текстов. Позитивное изучение предмета и обсуждение реальных проблем подменялось вербальными ухищрениями.

В страхе перед появившимся на интеллектуальном горизонте Европы Аристотелем католическая церковь вначале его запретила, но затем, изменив тактику, принялась “осваивать”, адаптировать соответственно своим нуждам. С этой задачей наиболее тонко справился Фома Аквинский (1225—1274), учение которого, согласно папской энциклике 1879 г., канонизировано как истинно католическая философия (и психология), получившая название томизма (несколько модернизированного в наши дни под именем неотомизма).

Томизм складывался в противовес стихийно-материалистическим трактовкам Аристотеля, в недрах которых зарождалась опасная для церкви концепция двойственной истины.

Зерна этой концепции были брошены опиравшимся на Аристотеля Ибн Рошдом, последователи которого в европейских университетах (аверроисты) полагали, что несовместимость с официальной догмой представлений о вечности (а не сотворении) мира, об уничтожаемости (а не бессмертии) индивидуальной души ведет к выводу о том, что каждая из истин имеет свою область. Истинное для одной области может быть ложным для другой и наоборот.

Фома же, отстаивая одну истину — религиозную, “нисходящую свыше”, считал, что разум должен служить ей так же истово, как и религиозное чувство. Фоме и его сторонникам удалось расправиться с аверроистами в парижском университете. Но в Англии, в Оксфордском университете, концепция “двойственной истины” в дальнейшем восторжествовала, став идеологической предпосылкой успехов философии и естественных наук.

Иерархический шаблон Фома распространил и на описание душевной жизни, различные формы которой размещались в виде своеобразной лестницы в ступенчатом ряду — от низшего к высшему. Каждое явление имеет свое место. Положены грани между всем существующим и однозначно определено, чему где быть. В ступенчатом ряду расположены души (растительная, животная, человеческая). Внутри самой души иерархически располагаются способности и их продукты (ощущение, представление, понятие).

Понятие об интроспекции, зародившееся у Плотина, превратилось в важнейший источник религиозного самоуглубления у Августина, вновь выступило как опора модернизированной и теологической психологии у Фомы. Работа души рисуется Фомой в виде следующей схемы: сперва она совершает акт познания — ей является образ объекта (ощущение или понятие), затем она осознает, что ею произведен сам этот акт, и, наконец, проделав обе операции, она “возвращается” к себе, познавая уже не образ и не акт, а самое себя как уникальную сущность.

Перед нами, таким образом, — замкнутое сознание, из которого нет выхода ни к организму, ни к внешнему миру. Томизм превратил великого древнегреческого философа в столп богословия, в “Аристоте-

ля с тонзурой”. (Тонзура — это выбритое место на макушке — знак принадлежности к католическому духовенству).

Номинализм

В Англии, где социальные устои феодализма подрывались наиболее энергично, против томистской концепции души выступил номинализм (от лат. “номен” — имя). Он возник в связи со спором о природе общих понятий (так называемых универсалий). Спор шел о том, существуют ли эти общие понятия самостоятельно вне нашего мышления (подобно другим вещам) или бестелесны, ибо эти понятия только имена и реально познаются лишь индивидуальные вещи.

Самым энергичным образом проповедовал номинализм профессор Оксфордского университета В. Оккам (XIV век). Отвергая томизм и отстаивая учение о “двойственной истине” (из которого явствовало, что религиозные догматы не могут быть основаны на разуме), он призывал опираться на чувственный опыт, для ориентации в котором существуют только термины, имена, знаки.

Номинализм способствовал развитию естественнонаучных взглядов на познавательные возможности человека. К знакам как главным регуляторам душевной активности неоднократно обращались многие мыслители последующих веков, в том числе в XX веке.

“Бритва Оккама”

Обращались они и к так называемой “бритве Оккама”, к его правилу, согласно которому “не следует умножать сущности без надобности”, иначе говоря, прибегать к объяснению каких-либо явлений многими силами или факторами, когда можно обойтись их меньшим числом. “Бесполезно делать посредством многого то, что можно сделать посредством меньшего”. К этой “бритве” впоследствии обратились психологи, чтобы утвердить своего рода “закон экономии”. (Изучая, например, поведение животных, не надеяться их умом человека, если оно может быть объяснено более простым способом.)

Итак, в период феодализма под пластами чисто рассудочных построений, чуж-

дых реальным особенностям психической деятельности, назначение которой теократия учила видеть в том, чтобы готовиться к неземной, истинной жизни, бил ключ новых идей, обращавших мысль к опытно-му познанию души и ее проявлений.

В противовес принятым схоластикой приемам выведения отдельных психических явлений из сущности души и ее сил, для действия которых нет других оснований, кроме воли божьей, складывалась другая методология, сердцевинной которой являлся опытный и детерминистический подход. Социально-экономический прогресс обусловил укрепление, а затем и окончательное торжество этого подхода в следующий исторический период.

Период Возрождения

Переходный период от феодальной культуры к буржуазной получил имя эпохи Возрождения. Идеологи этого периода считали его главной особенностью возрождение античных ценностей. К античности обращались и люди прежних эпох, решая каждый раз собственные проблемы.

Без античных сокровищ не было бы ни арабоязычной, ни латиноязычной культур. (В Западной Европе, как известно, языком образованных людей была латынь.)

Мыслители Возрождения полагали, что они очищают античную картину мира от “средневековых варваров”. Восстановление античных памятников культуры в их подлинном виде действительно стало компонентом нового идейного климата, однако воспринималось в них, прежде всего, созвучное новому образу жизни и обусловленной им интеллектуальной ориентации. <...>

Одним из титанов Возрождения был Леонардо да Винчи (1452—1519). Он представлял новую науку, которая существовала не в университетах, где по-прежнему изоцрялись в комментариях к текстам древних, а в мастерских художников и строителей, инженеров и изобретателей. Их опыт радикально изменял культуру и строй мышления. В своей производственной практике они были преобразователями мира. Высшая ценность придавалась не божественному разуму, а, говоря языком Леонардо, “божественной науке живописи”. При этом под живописью понималось не только искусство изображения мира в ху-

дожественных образах. “Живопись, — писал Леонардо, — распространяется на философию природы”.

Изменения в реальном бытии личности коренным образом изменяли ее самосознание. Субъект осознает себя как центр направленных вовне (в противовес августино-томистской интроспекции) духовных сил, которые воплощаются в реальные, чувственные (в отличие от христианской чистой духовности) ценности. Субъект, подражая природе, преобразует ее своим творчеством, практическими деяниями. <...>

Френсис Бэкон: эксперимент и индукция

Наиболее резко и решительно шли атаки на изжившее себя, хотя и прочно поддерживаемое церковью, негативное отношение к опыту в Англии. Здесь глашатаем эмпиризма выступил Френсис Бэкон

(XVI век), сделавший главный упор на создание эффективного метода науки с тем, чтобы она на деле способствовала обретению человеком власти над природой. В своем труде “Новый Органон” (само название которого означало вызов “царю философов” Аристотелю, чья книга “Органон” содержала канонизированную схоластикой логическую теорию дедуктивного вывода как перехода от общего к частному) Бэкон отдал пальму первенства индукции (от лат. “индукция” — наведение), то есть такому толкованию множества эмпирических данных, которое позволяет их обобщать с тем, чтобы предсказывать грядущие события и тем самым овладевать их ходом.

Идея методологии, исходившей из познания причин вещей с помощью опыта и индукции, воздействовала на создание антисхоластической атмосферы, в которой развивалась новая научная мысль, в том числе психологическая.

С.Л.Рубинштейн

[РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ]¹

Психология и очень старая, и совсем еще молодая наука. Она имеет за собой тысячелетнее прошлое, и тем не менее она вся еще в будущем. Ее существование как самостоятельной научной дисциплины исчисляется лишь десятилетиями; но ее основная проблематика занимает философскую мысль с тех пор, как существует философия. Годам экспериментального исследования предшествовали столетия философских размышлений, с одной стороны, и тысячелетия практического познания психологии людей — с другой. <...> Новая эпоха как в философской, так и психологической мысли начинается с развитием в XVII в. материалистического естествознания.

Если для каждого этапа исторического развития можно вскрыть преемственные связи, соединяющие его как с прошлым, так и с будущим, то некоторые периоды, сохраняя эти преемственные связи, все же выступают как поворотные пункты, с которых начинается новая эпоха; эти периоды связаны с будущим теснее, чем с прошлым. Таким периодом для философской и психологической мысли было время великих рационалистов (Р.Декарт, Б.Спиноза) и великих эмпириков (Ф.Бэкон, Т.Гоббс), которые порывают с традициями богословской “науки” и закладывают методологические основы современного научного знания.

Особое место в истории психологии принадлежит среди них *Р.Декарту*, идеи которого оказали особенно большое влияние на ее дальнейшие судьбы. От Декарта ведут свое начало важнейшие тенденции, раскрывающиеся в дальнейшем развитии психологии. Декарт вводит одновременно два понятия: понятие рефлекса — с одной стороны, современное интроспективное понятие сознания — с другой. Каждое из этих понятий отражает одну из вступающих затем в антагонизм тенденций, которые сочетаются в системе Декарта.

Один из основоположников механистического естествознания, объясняющий всю природу движением протяженных тел под воздействием внешнего механистического толчка, Декарт стремится распространить этот же механический идеал на объяснение жизни организма. В этих целях он вводит в науку понятие рефлекса, которому суждено было сыграть такую большую роль в современной физиологии нервной деятельности. Исходя из этих же тенденций, подходит Декарт к изучению аффектов — явлений, которые он считает непосредственно связанными с телесными воздействиями. Так же как затем Б.Спиноза, который с несколько иных философских позиций тоже подошел к этой излюбленной философско-психологической проблеме XVII в., посвятив ей значительную часть своей “Этики”, Декарт стремится подойти к изучению страстей, отбрасывая религиозно-моральные представления и предрассудки, — так, как подходят к изучению материальных природных явлений или геометрических тел. Этим Декарт закладывает основы механистического натуралистического направления в психологии.

Но вместе с тем Декарт резко противопоставляет в заостренном дуализме душу и тело. Он признает существование двух различных субстанций: материя — субстанция протяженная (и не мыслящая) и душа — субстанция мыслящая (и не протяженная). Они определяются разнородными атрибутами и противостоят друг другу как независимые субстанции. Этот разрыв души и тела, психического и физического, становится в дальнейшем камнем преткновения и сложнейшей проблемой философской мысли. Центральное место зай-

¹ Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. М.: Педагогика, 1989. Т.1. С.62—73.

мет эта психофизическая проблема у *Б.Спинозы*, который попытается снова объединить мышление и протяжение как два атрибута единой субстанции, признав соответствие “порядка и связи идей” — “порядку и связи вещей”, а душу идеей тела.

Заостренный у Р.Декарта дуализм — раздвоение и отрыв духовного и материального, психического и физического, который Спиноза пытается преодолеть, приводит к борьбе мировоззрений, разгорающейся после Декарта, к созданию ярко выраженных систем механистического материализма или натурализма, с одной стороны, субъективизма, идеализма или спиритуализма — с другой. Материалисты (начиная с Т.Гоббса) попытаются свести психическое к физическому, духовное к материальному; идеалисты (особенно ярко и заостренно у Дж.Беркли) материальное — к духовному, физическое — к психическому.

Но еще существеннее для психологии, чем заложенное в системе Декарта дуалистическое противопоставление души и тела, психического и физического, та новая трактовка, которую получает у Декарта самое понимание душевных явлений. У Декарта впервые оформляется то понятие сознания, которое становится центральным понятием психологии последующих столетий. Оно коренным образом отличается от понятия “душа” (псюхе) у Аристотеля. Из общего принципа жизни, каким оно было у Аристотеля, душа, дух превращается в специальный принцип сознания. В душе совершается раздвоение жизни, переживания и познания, мысли, сознания. Декарт не употребляет термина “сознание”; он говорит о мышлении, но определяет его как “все то, что происходит в нас таким образом, что мы воспринимаем его непосредственно сами собой”¹. Другими словами, Декарт вводит принцип интроспекции, самоотражения сознания в себе самом. Он закладывает, таким образом, основы интроспективного понятия сознания, как замкнутого в себе внутреннего мира, которое отражает не внешнее бытие, а самого себя.

Выделив понятие сознания из более широкого понятия психического и совершив этим дело первостепенного значения для истории философской и психологической мысли, Декарт с самого начала придал это-

му понятию содержание, которое сделало его узловым пунктом философского кризиса психологии в XX в. Механистическая натуралистическая трактовка человеческого поведения и элементарных психофизических процессов сочетается у Декарта с идеалистической, спиритуалистической трактовкой высших проявлений духовной жизни. В дальнейшем эти две линии, которые у Декарта исходят из общего источника, естественно и неизбежно начинают все больше расходиться.

Идеалистические тенденции Декарта получают дальнейшее свое развитие у *Н.Мальбранша* и особенно у *Г.Лейбница*. Представление о замкнутом в себе внутреннем мире сознания превращается у Лейбница в общий принцип бытия: все сущее в его монадологии мыслится по образу и подобию такого замкнутого внутреннего мира, каким оказалось у Декарта сознание. Вместе с тем в объяснении душевных явлений, как и в объяснении явлений природы, Лейбниц самым существенным образом расходится с Декартом в одном для него центральном пункте: для Декарта все в природе сводится к протяженности, основное для Лейбница — это сила; Декарт ищет объяснения явлений природы в положениях геометрии, Лейбниц — в законах динамики. Для Декарта всякое движение — результат внешнего толчка; из его системы выпала всякая внутренняя активность; для Лейбница она — основное. С этим связаны недостаточно еще осознанные и освоенные основные его идеи в области психологии. В центре его психологической системы — понятие *анперцепции*. Он оказал в дальнейшем существенное влияние на *И.Канта*, *И.Ф.Гербарта* и *В.Вундта*. У *Г.Лейбница* же в его “бесконечно малых” перцепциях, существующих помимо сознания и рефлексии, впервые намечается понятие бессознательного.

Интуитивно- или интроспективно-умозрительный метод, который вводится Декартом для познания духовных явлений, и идеалистически-рационалистическое содержание его учения получает дальнейшее, опосредованное Лейбницем, но лишенное оригинальности его идей, продолжение в абстрактной рационалистической системе *Х.Вольфа* (“*Psychologia empirica*”, 1732 и

¹ *Декарт Р.* Начала философии // Избранные произведения. М., 1950. Ч.1. § 9. С.429.

особенно “Psychologia rationalis”, 1740). Продолжение идеи Вольфа, дополненное эмпирическими наблюдениями над строением внутреннего мира, получает свое выражение в сугубо абстрактной и научно в общем бесплодной немецкой “психологии способностей” (И.Н.Тетенс); единственное ее нововведение, оказавшее влияние на дальнейшую психологию, это трехчленное деление психических явлений на разум, волю и чувство.

С другой стороны, тенденция, исходящая от того же Р.Декарта, связанная с его механистическим материализмом, получает продолжение у французских материалистов XVIII в., материализм которых, как указывал К.Маркс, имеет двойственное происхождение: от Декарта, с одной стороны, и от английского материализма — с другой. Начало картезианскому течению французского материализма кладет Э.Леруа; свое завершение оно получает у П.Ж.Ж.Кабаниса (в его книге “Rapport du Physique et du Morale chez l’Homme”), у П.А.Гольбаха и особенно у Ж.О. де Ламетри (“Человек — машина”); механистический материализм декартовской натурфилософии сочетается с английским сенсуалистическим материализмом Дж.Локка.

Радикальный сенсуалистический материализм зарождается с появлением капиталистических отношений в наиболее передовой стране того времени — Англии. Английский материализм выдвигает два основных принципа, оказавшие существенное влияние на развитие психологии. Первый — это принцип *сенсуализма*, чувственного опыта, как единственного источника познания; второй — это принцип *атомизма*, согласно которому задача научного познания психических, как и всех природных явлений, заключается в том, чтобы разложить все сложные явления на элементы, на атомы и объяснить их из связи этих элементов.

Умозрительному методу рационалистической философии английский эмпиризм противопоставляет опыт. Новые формы производства и развитие техники требуют не метафизических умозрений, а положительного знания природы: начинается расцвет естествознания.

Молодая буржуазия, вновь пришедший к жизни класс, чужда тенденций стареющего мира к уходу от жизни в умозрение. Интерес к потусторонним сущностям метафизики меркнет перед жадным практическим интересом к явлениям жизни в их чувственной осязательности. Устремленная к овладению природой в связи с начинающимся развитием техники мысль обращается к опыту. Ф.Бэкон, родоначальник английского материализма, первый в философии капиталистической эпохи иногда наивно, но ярко и знаменательно выражает эти тенденции.

Тенденции материалистического сенсуализма вслед за Бэконом продолжает П.Гассенди, воскресивший идеи Эпикура. Идеи Бэкона систематизирует Т.Гоббс (1588—1679), который развивает материалистическое и сенсуалистическое учение о психике. Он выводит все познание, а также и волю из ощущений, а ощущение признает свойством материи. У Гоббса, по определению Маркса, “материализм становится *односторонним*”. У Бэкона “материя улыбается своим поэтически-чувственным блеском всему человеку”. У Гоббса “чувственность теряет свои яркие краски и превращается в абстрактную чувственность *геометра*”. “Материализм становится *враждебным человеку*. Чтобы преодолеть *враждебный человеку бесплотный дух* в его собственной области, материализму приходится самому умертвить свою плоть и сделаться *аскетом*”¹.

Дальнейшее развитие и непосредственное применение к психологии принципы эмпирической философии получают у Дж.Локка (1632—1704).

Критика умозрительного метода, направленного на познание субстанций, в локковской теории познания ведется в интересах поворота от умозрительной метафизики к опытному знанию. Но наряду с ощущением источником познания внешнего мира Локк признает “внутреннее чувство”, или рефлексю, отражающую в нашем сознании его же собственную внутреннюю деятельность; она дает нам “внутреннее бессознательное восприятие, что мы существуем”². Самый опыт, таким образом, разделяется на внешний и внутренний. Гно-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 2. С. 143.

² Локк Дж. Опыт о человеческом разуме // Избр. философ. произв.: В 2 т. М., 1960. Т. 1. С.600.

сеологический дуализм надстраивается у Локка над первоначальной материалистической основой сенсуализма. У Локка оформляются основы новой “эмпирической психологии”. На смену психологии как науки о душе выдвигается “психология без души” как наука о явлениях сознания, непосредственно данных во внутреннем опыте. Это понимание определяло судьбы психологии вплоть до XX в.

Из всей плеяды английских эмпиристов именно Локк имел бесспорно наибольшее значение непосредственно для психологии. Если же мы присмотримся к позиции Локка, то неизбежно придем к поразительному на первый взгляд, но бесспорному выводу: несмотря на то, что Локк как эмпирист противостоит рационализму Р.Декарта, он по существу в своей трактовке внутреннего опыта как предмета психологии дает лишь эмпирический вариант и сколок все той же декартовской концепции сознания. Предметом психологии является, по Локку, внутренний опыт; внутренний опыт познается путем рефлексии, отражения нашего внутреннего мира в себе самом; эта рефлексия дает нам “внутреннее непогрешимое восприятие своего бытия”: такова локковская транскрипция декартовского “*cogito, ergo sum*” (“я мыслю, значит я существую”). Вместе с тем Локк по существу устанавливает интроспекцию как специфический путь психологического познания и признает ее специфическим и притом “непогрешимым” методом познания психики. Так в рамках эмпирической психологии устанавливается интроспективная концепция сознания как особого замкнутого в себе и самоотражающегося внутреннего мира. Сенсуалистические идеи Локка далее развивает во Франции Э.Б. де Кондильяк (1715—1780), который придает локковскому сенсуализму более радикальный характер. Он отвергает, как и Д.Дидро (который выпускает свой трактат по психологии под показательным названием “Физиология человека”), К.А.Гельвеций, Ж.О. де Ламетри, Ж.Б.Р.Робини и другие французские материалисты, “рефлексию”, или внутреннее чувство, Локка в качестве независимого от ощущения источника познания. В Германии сенсуалистический материализм выступает обогащенный новыми мотивами, почерпнутыми из классической немецкой идеалистической фило-

софии первой половины XIX в., из философии Л.Фейербаха.

Второй из двух основных принципов английского сенсуалистического материализма, который мы обозначили как принцип атомизма, получает свою конкретную реализацию в психологии в учении об ассоциациях. Основоположниками этого ассоциативного направления в психологии, оказавшегося одним из наиболее мощных ее течений, являются Д.Юм и Д.Гартли. Гартли закладывает основы ассоциативной теории на базе материализма. Его ученик и продолжатель Дж.Пристли (1733—1804) провозглашает обусловленность всех психических явлений колебаниями мозга и, отрицая принципиальную разницу между психическими и физическими явлениями, рассматривает психологию как часть физиологии.

Идея ассоциативной психологии получает в дальнейшем особое развитие — но уже не на материалистической, а на феноменалистической основе — у Д. Юма. Влияние, оказанное Юмом на развитие философии, особенно английской, способствовало распространению ассоциативной психологии.

Под несомненным влиянием ньютоновской механики и ее закона притяжения Юм вводит в качестве основного принципа ассоциацию, как своего рода притяжение представлений, устанавливающее между ними внешние механические связи. Все сложные образования сознания, включая сознание своего “я”, а также объекты внешнего мира являются лишь “пучками представлений”, объединенных между собой внешними связями — ассоциациями. Законы ассоциаций объясняют движение представлений, течение психических процессов и возникновение из элементов всех сложных образований сознания.

Таким образом, и внутри ассоциативной психологии друг другу противостоят материалистическое направление, которое связывает или даже сводит психические процессы к физиологическим, и субъективно-идеалистическое направление, для которого все сводится к ассоциации субъективных образов-представлений. Эти два направления объединяет механицизм. Ассоциативное направление оказалось самым мощным течением оформившейся в середине XIX в. психологической науки.

Отмечая значение тех социальных сдвигов, которые совершаются в истории Европы на переломе от XVII к XVIII в., для истории науки, Ф.Энгельс характеризует это время как период превращения знания в науку (“знание стало наукой, и науки приблизились к своему завершению, т. е. сомкнулись, с одной стороны, с философией, с другой — с практикой”)¹. В отношении психологии нельзя полностью сказать того же, что говорит Энгельс в этом контексте о математике, астрономии, физике, химии, геологии. Она в XVIII в. еще не оформилась окончательно в подлинно самостоятельную науку, но и для психологии именно в это время были созданы философские основы, на которых затем в середине XIX в. было воздвигнуто здание психологической науки. У Р.Декарта параллельно с понятием рефлекса впервые выделяется современное понятие сознания; у Дж.Локка оно получает эмпирическую интерпретацию (в понятии рефлексии), определяющую его трактовку и в экспериментальной психологии в период ее зарождения и первых этапов развития. Обоснование у английских и французских материалистов связи психологии с физиологией и выявление роли ощущений создает предпосылки для превращения психофизиологических исследований органов чувств первой половины XIX в. в исходную базу психологической науки. Р.Декарт и Б.Спиноза закладывают основы новой психологии аффектов, отзвуки которой сказываются вплоть до теории эмоций Джемса—Ланге. В этот же период у английских эмпириков — у Д.Гартли, Дж.Пристли и затем у Д.Юма — под явным влиянием идей ньютоновской механики формулируется основной объяснительный принцип, которым будет оперировать психологическая наука XIX в., — принцип ассоциаций. В этот же период у Г.Лейбница в понятии апперцепции (которое затем подхватывает В.Вундт) намечаются исходные позиции, с которых в недрах психологической науки XIX в. на первых порах будет вестись борьба против механистического принципа ассоциации в защиту идеалистически понимаемой активности.

Немецкая идеалистическая философия конца XVIII и начала XIX в. на развитие

психологии сколько-нибудь значительно непосредственного влияния не оказала.

Из представителей немецкого идеализма начала XIX в. часто отмечалось влияние И.Канта. Кант, однако, лишь попутно касается некоторых частных вопросов психологии (например, проблемы темперамента в “Антропологии”), громит с позиций “трансцендентального идеализма” традиционную “рациональную психологию” и, поддаваясь влиянию в общем бесплодной немецкой психологии способностей (главного представителя которой — И.Н.Тетенса — он очень ценит), относится крайне скептически к возможности психологии как науки. Но влияние его концепции отчетливо сказывается на первых исследованиях по психофизиологии органов чувств в трактовке ощущений (И.Мюллер, Г.Гельмгольц), <...> однако психофизиология развивается как наука не благодаря этим кантовским идеям, а вопреки им.

Из философов начала XIX в. — периода, непосредственно предшествовавшего оформлению психологии как науки, наибольшее внимание проблемам психологии уделяет стоящий особняком от основной линии философии немецкого идеализма И.Ф.Герbart. Главным образом в интересах педагогики, которую он стремится обосновать как науку, основывающуюся на психологии, Герbart хочет превратить психологию в “механику представлений”. Он подверг резкой критике психологию способностей, которую до него развили представители английского ассоцианизма, и попытался ввести в психологию метод математического анализа.

Эта попытка превратить психологию как “механику представлений” в дисциплину, оперирующую, наподобие ньютоновской механики, математическим методом, у Гербарта не увенчалась и не могла увенчаться успехом, так как математический анализ у него применялся к малообоснованным умозрительным построениям. Для того чтобы применение математического анализа получило в психологии почву и приобрело подлинно научный смысл, необходимы были конкретные исследования, которые вскоре начались в плане психофизиологии и психофизиологии.

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 599.

Подводя итоги тому, что дал XVIII в., вершиной которого в науке был материализм, Ф.Энгельс писал: “Борьба против абстрактной субъективности христианства привела философию восемнадцатого века к противоположной односторонности; субъективности была противопоставлена объективность, духу — природа, спиритуализму — материализм, абстрактно-единичному — абстрактно-всеобщее, субстанция... Восемнадцатый век, следовательно, не разрешил великой противоположности, издавна занимавшей историю и заполнявшей ее своим развитием, а именно: противоположности субстанции и субъекта, природы и духа, необходимости и свободы; но он противопоставил друг другу обе стороны противоположности во всех их остроте и полноте развития и тем самым сделал необходимым уничтожение этой противоположности”¹.

Этого противоречия не разрешила и не могла разрешить немецкая идеалистическая философия конца XVIII и начала XIX в.; она не могла создать новых философских основ для психологии.

В 1844—1845 гг., когда формируются взгляды К.Маркса, им не только закладываются основы общей научной методологии и целостного мировоззрения, но и намечаются специально новые основы для построения психологии.

Еще до того в этюдах и экскурсах, служивших подготовительными работами для “Святого семейства” (1845), имеющих самое непосредственное отношение к психологии и особенное для нее значение, в “Немецкой идеологии” (1846—1847), посвященной анализу и критике послегегелевской и фейербаховской философии, Маркс и Энгельс формулируют ряд положений, которые закладывают новые основы для психологии. В 1859 г., т. е. одновременно с “Элементами психофизики” Г.Т.Фехнера, от которых обычно ведут начало психологии как экспериментальной науки, выходит в свет работа Маркса “К критике политической экономии”, в предисловии к которой он с классической четкостью формулирует основные положения своего мировоззрения, в том числе свое учение о взаимоотношении сознания и бытия. Однако ученые, которые в середине

XIX в. вводят экспериментальный метод в психологию и оформляют ее как самостоятельную экспериментальную дисциплину, проходят мимо этих идей нарождающегося тогда философского мировоззрения; психологическая наука, которую они строят, неизбежно стала развиваться в противоречии с основами марксистской методологии. То, что в этот период сделано классиками марксизма для обоснования новой, подлинно научной психологии, однако, обрывается лишь временно, с тем чтобы получить дальнейшее развитие почти через столетие в советской психологии.

Оформление психологии как экспериментальной науки

Переход от знания к науке, который для ряда областей должен быть отнесен к XVIII в., а для некоторых (как-то механика) еще к XVII в., в психологии совершается к середине XIX в. Лишь к этому времени многообразные психологические знания оформляются в самостоятельную науку, вооруженную собственной, специфической для ее предмета методикой исследования и обладающей своей системой, т.е. специфической для ее предмета логикой построения относящихся к нему знаний.

Методологические предпосылки для оформления психологии как науки подготовили главным образом те, связанные с эмпирической философией, течения, которые провозгласили в отношении познания психологических, как и всех других, явлений необходимость поворота от умозрения к опытному знанию, осуществленного в естествознании в отношении познания физических явлений. Особенно значительную роль сыграло в этом отношении материалистическое крыло эмпирического направления в психологии, которое связывало психические процессы с физиологическими.

Однако, для того чтобы переход психологии от более или менее обоснованных знаний и воззрений к науке действительно осуществился, необходимо было еще соответствующее развитие научных областей, на которые психология должна опираться, и выработка соответствующих методов исследования. Эти последние предпосыл-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С.599—600.

ки для оформления психологической науки дали работы физиологов первой половины XIX в.

Опираясь на целый ряд важнейших открытий в области физиологии нервной системы (Ч.Белла, показавшего наличие различных чувствующих и двигательных нервов и установившего в 1811 г. основные законы проводимости¹, И.Мюллера, Э.Дюбуа-Реймона, Г.Гельмгольца, подвергших измерению проведение возбуждения по нерву), физиологи создали целый ряд капитальных трудов, посвященных общим закономерностям чувствительности и специально работе различных органов чувств (работы И.Мюллера и Э.Г.Вебера, работы Т.Юнга, Г.Гельмгольца и Э.Геринга по зрению, Г.Гельмгольца по слуху и т. д.). Посвященные физиологии органов чувств, т.е. различным видам чувствительности, эти работы в силу внутренней необходимости переходили уже в область психофизиологии ощущений.

Особенное значение для развития экспериментальной психологии приобрели исследования Э.Г.Вебера, посвященные вопросу об отношении между приростом раздражения и ощущением, которые были затем продолжены, обобщены и подвергнуты математической обработке Г.Т.Фехнером <...>. Этим трудом были заложены основы новой специальной области экспериментального психофизического исследования.

Результаты всех этих исследований объединил, отчасти дальше развил и систематизировал в психологическом плане в своих "Основах физиологической психологии" В.Вундт (1874). Он собрал и усовершенствовал в целях психологического исследования методы, выработанные первоначально физиологами.

В 1861 г. В.Вундт изобретает первый элементарный прибор специально для целей экспериментального психологического исследования. В 1879 г. он организует в Лейпциге лабораторию физиологической психологии, в конце 80-х гг. преобразованную в Институт экспериментальной психологии. Первые экспериментальные работы Вундта и многочисленных учеников были посвящены психофизиологии ощу-

щений, скорости простых двигательных реакций, выразительным движениям и т.д. Все эти работы были, таким образом, сосредоточены на элементарных психофизиологических процессах; они целиком еще относились к тому, что сам Вундт называл *физиологической психологией*. Но вскоре эксперимент, проникновение которого в психологию началось с элементарных процессов, лежащих как бы в пограничной между физиологией и психологией области, стал шаг за шагом внедряться в изучение центральных психологических проблем. Лаборатории экспериментальной психологии стали создаваться во всех странах мира. Э.Б.Титченер выступил пионером экспериментальной психологии в США, где она вскоре получила значительное развитие.

Экспериментальная работа стала быстро шириться и углубляться. Психология превратилась в самостоятельную, в значительной мере экспериментальную науку, которая все более строгими методами начала устанавливать новые факты и вскрывать новые закономерности. За несколько десятилетий, прошедших с тех пор, фактический экспериментальный материал, которым располагает психология, значительно возрос; методы стали разнообразнее и точнее; облик науки заметно преобразился. Внедрение в психологию эксперимента не только вооружило ее очень мощным специальным методом научного исследования, но и вообще иначе поставило вопрос о методике психологического исследования в целом, выдвинув новые требования и критерии научности всех видов опытного исследования в психологии. Именно поэтому введение экспериментального метода в психологию сыграло такую большую, пожалуй, даже решающую роль в оформлении психологии как самостоятельной науки.

Наряду с проникновением экспериментального метода значительную роль в развитии психологии сыграло проникновение в нее принципа эволюции.

Эволюционная теория современной биологии, распространившись на психологию, сыграла в ней двойную роль: во-первых, она ввела в изучение психических

¹ Тот же Чарльз Белл явился, между прочим, и автором замечательного трактата о выразительных движениях.

явлений новую, очень плодотворную точку зрения, связывающую изучение психики и ее развития не только с физиологическими механизмами, но и с развитием организмов в процессе приспособления к среде. Еще в середине XIX в. Г.Спенсер строит свою систему психологии, исходя из принципа биологической адаптации. На изучение психических явлений распространяются принципы широкого биологического анализа. Сами психические функции в свете этого биологического подхода начинают пониматься как явления приспособления, исходя из той роли функции, которые они выполняют в жизни организма. Эта биологическая точка зрения на психические явления получает в дальнейшем значительное распространение. Превращаясь в общую концепцию, не ограничивающуюся филогенезом, она вскоре обнаруживает свою ахиллесову пятую, приводя к биологизации человеческой психологии.

Эволюционная теория, распространившаяся на психологию, привела, во-вторых, к развитию прежде всего зоопсихологии. В конце прошлого столетия благодаря ряду выдающихся работ (Ж.Леба, К.Ллойд-Моргана, Л.Хобхауза, Г.Дженнингса, Э.Л.Торндайка и других) зоопсихология, освобожденная от антропоморфизма, вступает на путь объективного научного исследования. Из исследований в области филогенетической сравнительной психологии (зоопсихологии) возникают новые течения общей психологии и в первую очередь поведенческая психология. <...>

Проникновение в психологию принципа развития не могло не стимулировать и психологических исследований в плане онтогенеза. Во второй половине XIX в. начинается интенсивное развитие и этой

отрасли генетической психологии — психологии ребенка. В 1877 г. Ч.Дарвин публикует свой “Биографический очерк одного ребенка”. Около того же времени появляются аналогичные работы И.Тэна, Э.Эггера и других. Вскоре, в 1882 г., за этими научными очерками-дневниками, посвященными наблюдениям за детьми, следует продолжающая их в более широком и систематическом плане работа В.Прейера “Душа ребенка”. Прейер находит множество последователей в различных странах. Интерес к детской психологии становится всеобщим и принимает интернациональный характер. Во многих странах создаются специальные исследовательские институты и выходят специальные журналы, посвященные детской психологии. Появляется ряд работ по психологии ребенка. Представители каждой сколько-нибудь крупной психологической школы начинают уделять ей значительное внимание. В психологии ребенка получают отражение все течения психологической мысли.

Наряду с развитием экспериментальной психологии и расцветом различных отраслей генетической психологии как знаменательный в истории психологии факт, свидетельствующий о значимости ее научных исследований, необходимо еще отметить развитие различных специальных областей так называемой прикладной психологии, которые подходят к разрешению различных вопросов жизни, опираясь на результаты научного, в частности экспериментального, исследования. Психология находит себе обширное применение в области воспитания и обучения, в медицинской практике, в судебном деле, хозяйственной жизни, военном деле, искусстве.

В. Вундт

СОЗНАНИЕ И ВНИМАНИЕ ¹

На вопрос о задаче психологии примакающие к эмпирическому направлению психологи обыкновенно отвечают: эта наука должна изучать состояния сознания, их связь и отношения, чтобы найти в конце концов законы, управляющие этими отношениями.

Хотя это определение и кажется неопровержимым, однако оно до известной степени делает круг. Ибо, если спросить вслед за тем, что же такое сознание, состояние которого должна изучать психология, то ответ будет гласить: сознание представляет собою сумму сознаваемых нами состояний. Однако это не препятствует нам считать вышеприведенное определение наиболее простым, а поэтому пока и наилучшим. Ведь всем предметам, данным нам в опыте, присуще то, что мы, в сущности, можем не определить их, а лишь указать на них; или, если они сложны по природе своей, перечислить их свойства. Такое перечисление свойств мы, как известно, называем описанием, и к вышеприведенному вопросу о сущности психологии мы всего удобнее подойдем, если попытаемся возможно более точно описать во всех его свойствах сознание, состояния которого являются предметом психологического исследования.

В этом нам должен помочь небольшой инструмент, который хорошо знаком каждому, сколько-нибудь причастному к музыке человеку, — метроном. В сущности, это не что иное, как часовой механизм с вер-

тикально поставленным маятником, по которому может передвигаться небольшой груз для того, чтобы удары следовали друг за другом через равные интервалы с большей или меньшей скоростью. Если груз передвинуть к верхнему концу маятника, то удары следуют друг за другом с интервалом приблизительно в 2 секунды; если переместить его возможно ближе к нижнему концу, то время сокращается приблизительно до $\frac{1}{3}$ секунды. Можно установить любую степень скорости между этими двумя пределами. Однако можно еще значительно увеличить число возможных степеней скорости ударов, если совсем снять груз с маятника, причем интервал между двумя ударами сокращается до $\frac{1}{4}$ секунды. Точно так же можно с достаточной точностью установить и любой из медленных темпов, если имеется помощник, который вместо того чтобы предоставить маятнику свободно качаться, раскачивает его из стороны в сторону, отсчитывая интервалы по секундным часам. Этот инструмент не только пригоден для обучения пению и музыке, но и представляет собой простейший психологический прибор, который, как мы увидим, допускает такое многостороннее применение, что с его помощью можно демонстрировать все существенное содержание психологии сознания. Но чтобы метроном был пригоден для этой цели, он должен удовлетворять одному требованию, которому отвечает не всякий применяющийся на практике инструмент: именно сила ударов маятника должна быть в достаточной мере одинаковой, так, чтобы, даже внимательно прислушиваясь, нельзя было заметить разницу в силе следующих друг за другом ударов. Чтобы испытать инструмент в этом отношении, самое лучшее изменять произвольно субъективное ударение отдельных ударов такта, как это показано наглядно на следующих двух рядах тактов (см. рис. 1).

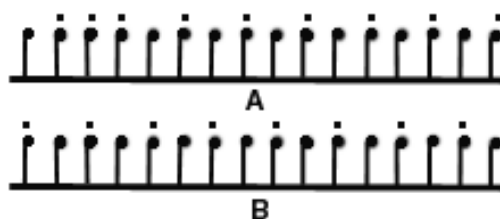


Рис. 1

¹ Хрестоматия по вниманию/ Под ред. А.Н.Леонтьева, А.А.Пузыря, В.Я.Романова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. С.8—24.

В этой схеме отдельные удары обозначены нотами, а более сильные удары — ударениями, поставленными над нотами. Ряд А представляет поэтому так называемый восходящий, а ряд В — нисходящий такт. Если окажется, что в ударах маятника мы по произволу можем слушать то восходящий, то нисходящий такт, т. е. можем слышать один и тот же удар то подчеркнутым более сильно, то звучащим более слабо, то такой инструмент будет пригодным для всех излагающихся ниже психологических экспериментов.

Хотя только что описанный опыт должен был служить лишь для испытания метронома, однако из него можно уже сделать один заслуживающий внимания психологический вывод. Именно при этом опыте замечается, что для нас в высшей степени трудно слышать удары маятника совершенно равными по силе, иначе говоря, слышать их не ритмически. Мы постоянно впадаем вновь в восходящий или нисходящий такт. Мы можем выразить этот вывод в таком положении: наше сознание ритмично по природе своей. Едва ли это обуславливается каким-либо специфическим, лишь сознанию присущим свойством, скорее это явление находится в тесной связи со всей нашей психофизической организацией. Сознание ритмично потому, что вообще наш организм устроен ритмично. Так, движения сердца, дыхание наше, ходьба ритмичны. Правда, в обычном состоянии мы не ощущаем биений сердца. Но уже дыхательные движения воздействуют на нас как слабые раздражения, и прежде всего движения при ходьбе образуют ясно различаемый задний фон нашего сознания. Ноги при ходьбе представляют собой как бы естественные маятники, движения которых, подобно движениям маятника метронома, обыкновенно следуют друг за другом ритмически, через равные интервалы времени. Когда мы воспринимаем в наше сознание впечатления через одинаковые интервалы, мы располагаем их в аналогичной этим нашим собственным внешним движениям ритмической форме, причем особый вид этой ритмической формы в каждом данном случае (хотим ли мы, например, составить ряд из нисходящих или из восходящих тактов) в известных границах остается предоставленным нашему свободному выбору, как это быва-

ет, например, при движениях ходьбы и их видоизменениях — в обычной ходьбе, в беге, в прыганье и, наконец, в различных формах танцев. Наше сознание представляет собою не какое-нибудь отдельное от нашего физического и духовного бытия существо, но совокупность наиболее существенных для духовной стороны этого бытия содержаний.

Из вышеописанных опытов с метрономом можно получить и еще один результат, если мы будем изменять длину восходящих или нисходящих рядов тактов. В приведенной выше схеме каждый из рядов А и В состоит из 16 отдельных ударов или, если считать повышение и понижение за один удар, 8 двойных ударов. Если мы внимательно прослушаем ряд такой длины при средней скорости ударов метронома в $1-1\frac{1}{2}$ секунды и после короткой паузы повторим ряд точно такой же длины, то мы непосредственно заметим их равенство. Равным образом, тотчас же замечается и различие, если второй ряд будет хотя бы на один удар длиннее или короче. При этом безразлично, будет ли этот ряд состоять из восходящих или нисходящих тактов (по схеме А или В). Ясно, что такое непосредственное воспризнание равенства последующего ряда с предшествующим возможно лишь в том случае, если каждый из них был дан в сознании целиком, причем, однако, отнюдь не требуется, чтобы оба они сознавались вместе. Это станет ясным без дальнейших объяснений, если мы представим себе условия аналогичного воспризнания при сложном зрительном впечатлении. Если посмотреть, например, на правильный шестиугольник и затем во второе мгновение вновь на ту же фигуру, то мы непосредственно познаем оба впечатления как тождественные. Но такое воспризнание становится невозможным, если разделить фигуру на многие части и рассматривать их в отдельности. Совершенно также и ряды тактов должны восприниматься в сознании целиком, если второй из них должен производить то же впечатление, что и первый. Разница лишь в том, что шестиугольник, кроме того, воспринимается во всех своих частях разом, тогда как ряд тактов возникает последовательно. Но именно в силу этого такой ряд тактов как целое имеет ту выгоду, что дает возможность точно опре-

делить границу, до которой можно идти в прибавлении отдельных звеньев этого ряда, если желательно воспринять его еще как и целое. При этом из такого рода опытов с метрономом выясняется, что объем в 16 следующих друг за другом в смене повышений и понижений (так называемый $\frac{2}{8}$ такт) ударов представляет собою тот максимум, которого может достигать ряд, если он должен еще сознаваться нами во всех своих частях. Поэтому мы можем смотреть на такой ряд как на меру объема сознания при данных условиях. Вместе с тем выясняется, что эта мера в известных пределах независима от скорости, с которой следуют друг за другом удары маятника, так как связь их нарушается лишь в том случае, если или вообще ритм становится невозможным вследствие слишком медленного следования ударов друг за другом, или же в силу слишком большой скорости нельзя удержать более простой ритм $\frac{2}{8}$ такта, и стремление к связному восприятию порождает более сложные сочетания. Первая граница лежит приблизительно около $2\frac{1}{2}$, последняя — около 1 секунды.

Само собою разумеется, что, называя наибольший, еще целиком удерживаемый при данных условиях в сознании ряд тактов “объемом сознания”, мы разумеем под этим названием не совокупность всех состояний сознания в данный момент, но лишь составное целое, воспринимаемое в сознании, как единое. Образно выражаясь, мы измеряем при этом, если сравнить сознание с плоскостью ограниченного объема, не саму плоскость во всем ее протяжении, но лишь ее поперечник. Этим, конечно, не исключается возможность многих других разбросанных содержаний, кроме измеряемого. Но, в общем, их тем более можно оставить без внимания, что в этом случае благодаря сосредоточению сознания на измеряемом содержании все лежащие вне его части образуют неопределенные, изменчивые и по большей части легко изолируемые содержания.

Если объем сознания в указанном смысле и представляет собою при соблюдении определенного такта, например $\frac{2}{8}$, относительно определенную величину, которая в указанных границах остается неизменной при различной скорости ударов маятника, зато изменение самого такта



Рис. 2

оказывает тем большее влияние на объем сознания. Такое изменение отчасти зависит от нашего произвола. В равномерно протекающем ряде тактов мы можем с одинаковым успехом слышать как $\frac{2}{8}$ такта, так и более сложный, например, $\frac{4}{4}$ такта.

Такой ритм получается, когда мы вводим различные степени повышения, например, ставим самое сильное из них в начале ряда, среднее по силе — в середине и каждое из слабых — посередине обеих половин всего такта, как это показано на только что приведенной схеме (рис. 2), в которой самое сильное повышение обозначено тремя ударами, среднее — двумя и самое слабое — одним. Помимо произвольного удара, однако, и этот переход к более сложным тактам в высокой степени зависит от скорости в последовательности ударов. Тогда как именно при больших интервалах лишь с трудом возможно выйти за пределы простого $\frac{2}{8}$ такта, при коротких интервалах, наоборот, необходимо известное напряжение для того, чтобы противостоять стремлению к переходу к более сложным ритмам. Когда мы слушаем непосредственно, то при интервале в $\frac{1}{2}$ секунды и менее очень легко возникает такт вроде вышеприведенного $\frac{4}{4}$ такта, который объединяет восемь ударов в один такт, тогда как простой $\frac{2}{8}$ такт содержит в себе лишь два удара. Если теперь измерить по вышеуказанному способу объем сознания для такого, более богато расчлененного ряда тактов, то окажется, что еще пять $\frac{4}{4}$ такта, построенных по приведенной выше схеме, схватываются как одно целое, и если их повторить после известной паузы, они воспризнаются как тождественные. Таким образом, объем сознания при этом более сложном ритмическом делении составляет не менее 40 ударов такта вместо 16 при наиболее простой группировке. Можно, правда, произвольно составить еще более сложные расчленения такта, например, $\frac{6}{4}$ такта. Но так как это усложнение ритма со своей стороны требует из-

вестного напряжения, длина ряда, воспринимаемого еще как отдельное целое, не увеличивается, но скорее уменьшается.

При этих опытах обнаруживается еще дальнейшее замечательное свойство сознания, тесно связанное с его ритмической природой. Три степени повышения, которые мы видели в вышеприведенной схеме $\frac{4}{4}$ такта, образуют именно *maximum* различия, который нельзя перейти. Если мы причтем сюда еще понижения такта, то четыре степени интенсивности исчерпают все возможные градации в силе впечатлений. Очевидно, что это количество степеней определяет также и ритмическое расчленение целого ряда, а вместе с тем и его объединение в сознании, и, наоборот, ритм движений такта обуславливает то число градаций интенсивности, которое в расчленении рядов необходимо в качестве опорных пунктов для объединения в сознании. Таким образом, оба момента находятся в тесной связи друг с другом: ритмическая природа нашего сознания требует определенных границ для количества градаций в ударе, а это количество, в свою очередь, обуславливает специфическую ритмическую природу человеческого сознания.

Чем обширнее ряды тактов, объединяемых в целое при описанных опытах, тем яснее обнаруживается еще другое весьма важное для сущности сознания явление. Если обратить внимание на отношение воспринятого в данный момент удара такта к непосредственно предшествовавшим и, далее, сравнить эти непосредственно предшествовавшие удары с ударами объединенного в целое ряда, воспринятыми еще раньше, то между всеми этими впечатлениями обнаружатся различия особого рода, существенно отличные от различий в интенсивности и равнозначных с ними различий в ударе. Для обозначения их всего целесообразнее воспользоваться выражениями, сложившимися в языке для обозначения зрительных впечатлений, в которых эти различия равным образом относительно независимы от интенсивности света. Эти обозначения — ясность и отчетливость, значения которых почти совпадают друг с другом, но все-таки указывают различные стороны процесса, поскольку ясность более относится к собственному свойству впечатления, а отчетливость — к его ограничению от других впечатлений.

Если мы перенесем теперь эти понятия в обобщенном смысле на содержания сознания, то заметим, что ряд тактов дает нам самые различные степени ясности и отчетливости, в которых мы ориентируемся по их отношению к удару такта, воспринимаемому в данный момент. Этот удар воспринимается всего яснее и отчетливее; ближе всего стоят к нему только что минувшие удары, а затем чем далее отстоят от него удары, тем более они теряют в ясности. Если удар миновал уже настолько давно, что впечатление от него вообще исчезает, то, выражаясь образно, говорят, что оно погрузилось под порог сознания. При обратном процессе образно говорят, что впечатление поднимается над порогом. В подобном же смысле для обозначения постепенного приближения к порогу сознания, как это мы наблюдаем в отношении давно минувших ударов в опытах с маятником метронома, пользуются образным выражением потемнения, а для противоположного изменения — прояснения содержаний сознания. Пользуясь такого рода выражениями, можно поэтому следующим образом формулировать условия объединения состоящего из разнообразных частей целого, например, ряда тактов: объединение возможно до тех пор, пока ни одна составная часть не погрузилась под порог сознания. Для обозначения наиболее бросающихся в глаза различий ясности и отчетливости содержаний сознания обыкновенно пользуются в соответствии с образами потемнения и прояснения еще двумя наглядными выражениями: о наиболее отчетливо воспринимаемом содержании говорят, что оно находится в фиксации (Blickpunkt) сознания, о всех же остальных — что они лежат в зрительном поле (Blickfeld) сознания. В опытах с метрономом, таким образом, воздействующий на нас в данный момент удар маятника каждый раз находится в этой внутренней точке фиксации, тогда как предшествующие удары тем более переходят во внутреннее зрительное поле, чем далее они отстоят от данного удара. Поэтому зрительное поле можно наглядно представить себе как окружающую фиксационную точку область, которая непрерывно тускнеет по направлению к периферии, пока, наконец, не соприкоснется с порогом сознания.

Из последнего образного выражения уже ясно, что так называемая точка фиксации сознания, в общем, обозначает лишь идеальное сосредоточие центральной области, внутри которой могут ясно и отчетливо восприниматься многие впечатления. Так, например, воздействующий на нас в данный момент удар при опытах с метрономом, конечно, находится в фиксационной точке сознания, но только что перед ним воспринятые удары сохраняют еще достаточную степень ясности и отчетливости, чтобы объединяться с ним в более ограниченной, отличающейся от остального зрительного поля своею большею ясностью области. И в этом отношении психические процессы соответствуют заимствованному из сферы зрительных восприятий образу, где также один из пунктов так называемого зрительного поля является точкой фиксации, кругом которой может быть ясно воспринято еще значительное количество впечатлений. Именно этому обстоятельству обязаны мы тем, что вообще можем в одно мгновение схватить какой-либо цельный образ, например, прочесть слово. Для центральной части зрительного поля нашего сознания, непосредственно прилегающей к внутренней фиксационной точке, давно уже создано под давлением практических потребностей слово, которое принято и в психологии. Именно мы называем психический процесс, происходящий при более ясном восприятии ограниченной сравнительно со всем полем сознания области содержания, вниманием. Поэтому о тех впечатлениях или иных содержаниях, которые в данное мгновение отличаются от остальных содержания сознания особенной ясностью, мы говорим, что они находятся в фокусе внимания. Сохраняя прежний образ, мы можем поэтому мыслить их как центральную, расположенную вокруг внутренней фиксационной точки область, которая отделена от остального, все более тускнеющего по направлению к периферии зрительного поля более или менее резкой пограничной линией. Отсюда сейчас же возникает новая экспериментальная задача, дающая важное добавление к вышеизложенному измерению всего объема сознания. Она заключается в ответе на возникающий теперь вопрос: как велик этот более тесный объем внимания?

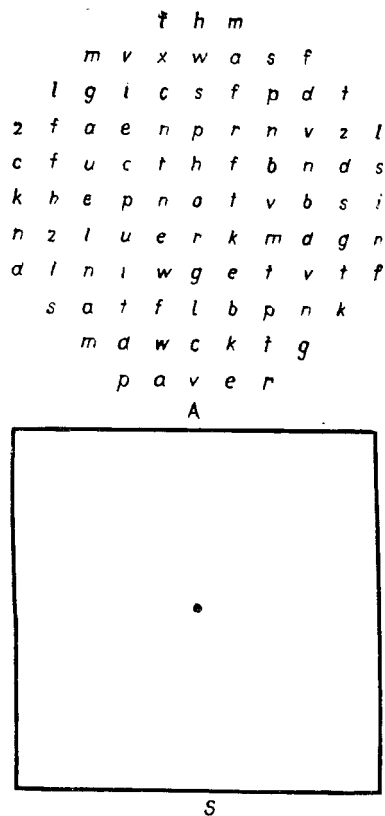


Рис.3

Насколько удобны ритмические ряды, в силу присущего им расчленения, для определения всего объема сознания, настолько же малопригодны они, в силу того же самого свойства, для разрешения второй задачи. Ибо ясно, что как раз вследствие той связи, которую ритм известного ряда тактов устанавливает между фокусом внимания и остальным полем сознания, точное разграничение между обеими областями становится невозможным. Правда, мы замечаем с достаточной ясностью, что вместе с непосредственно воздействующим ударом такта в фокус внимания попадают также и некоторые предшествующие ему удары, но сколько именно — это остается неизвестным. В этом отношении чувство зрения находится, конечно, в более благоприятных условиях. В чувстве зрения именно можно наблюдать, что физиологические условия зрения, взятые сами по себе, независимо от психологического ограничения нашего ясного восприятия ограничивают восприятие протяженных предметов, так как

более ясное отличие впечатления ограничено так называемой областью “ясного видения”, окружающей фиксационную точку. В этом легко убедиться, если твердо фиксировать одним глазом на расстоянии 20—25 см центральную букву О на прилагаемой таблице (рис. 3), а другой глаз закрыть. Тогда можно, направляя внимание на расположенные по краям точки зрительного поля, воспринимать еще буквы, лежащие на периферии этого круга из букв, например, верхнее h или находящееся справа f. Этот опыт требует известного навыка в фиксации, так как при естественном, непринужденном зрении мы всегда бываем склонны направлять на тот пункт, на который обращено наше внимание, также и нашу оптическую линию. Если же приучиться направлять свое внимание на различные области зрительного поля, в то время как фиксационная точка остается неизменной, то такие опыты покажут, что фиксационная точка внимания и фиксационная точка поля зрения отнюдь не тождественны и при надлежащем управлении вполне могут отделяться друг от друга, ибо внимание может быть обращено и на так называемую непрямо видимую, т. е. находящуюся где-либо в стороне, точку. Отсюда становится в то же время ясным, что отчетливое восприятие в психологическом и отчетливое видение в физиологическом смысле далеко не необходимо совпадают друг с другом. Если, например, фиксировать среднюю букву О в вышеприведенной фигуре, в то время как внимание обращено на лежащую в стороне букву n, то расположенные вокруг n буквы f, g, s, i воспринимаются отчетливо, тогда как находящиеся вокруг О буквы h, t, r, n отступают в более темное зрительное поле сознания. Нужно только сделать эту таблицу из букв такой величины, чтобы при рассмотрении ее с расстояния в 20—25 см она приблизительно равнялась объему области ясного видения, причем за критерий последнего принимается возможность отчетливо различать буквы такой величины, как шрифт этой книги. Поэтому только что упомянутые наблюдения сейчас же показывают нам, что объем фокуса внимания и области отчетливого видения в физиологическом смысле также настолько далеко расходятся друг с другом,

насколько отчетливое видение в физиологическом смысле при вышеуказанных условиях, очевидно, охватывает гораздо большую область, чем объем фокуса внимания. Помещенная выше фигура содержит 95 букв. Если бы мы должны были все физиологически отчетливо видимые предметы отчетливо воспринимать также и в психологическом смысле, то, фиксируя букву О, мы схватили бы все буквы таблицы. Но это отнюдь не бывает, и в каждый данный момент мы всегда различаем лишь немногие буквы, окружающие внутреннюю фиксационную точку внимания, будет ли она совпадать с внешней фиксационной точкой зрительного поля, как при обычном зрении, или же при нарушении этой связи лежать где-либо эксцентрически.

Хотя уже и эти наблюдения над одновременным восприятием произвольно сгруппированных простых объектов, например, букв, с достаточной определенностью указывают на довольно тесные границы объема внимания, однако с помощью только их нельзя решить вопрос о величине этого объема вполне точно, т. е. выразить его в числах, подобно тому, как это оказалось возможным при определении объема сознания посредством опытов с метрономом. Однако эти опыты над зрением можно без сложных приборов видоизменить таким образом, что они будут пригодны для разрешения этой задачи, если только не упускать из виду, что непосредственные результаты естественным образом и здесь имеют значение лишь при допущении особых условий. Для этой цели скомбинируем несколько таких таблиц букв, как вышеприведенная, каждый раз с новым расположением элементов. Кроме того, нужно изготовить несколько большую по размерам ширму из белого картона с маленьким черным кружком посередине. Этой ширмой S закрывают выбранную для отдельного опыта фигуру А и просят экспериментируемое лицо, которому фигура неизвестна, фиксировать находящийся в центре маленький черный кружочек, причем другой глаз остается закрытым. Затем с большой скоростью сдвигают ширму на мгновение в сторону и вновь возможно быстрее закрывают ею фигуру. Скорость при этом должна быть достаточно большой

для того, чтобы в то время, как фигура остается открытой, не произошло ни движения глаза, ни отклонения внимания за поле зрения¹. При повторении опыта необходимо точно так же каждый раз выбирать таблицы букв, так как в противном случае отдельное моментальное впечатление будет дополняться предшествовавшими восприятиями. Чтобы получить однозначные результаты, нужно найти такие условия опыта, при которых влияние прежних впечатлений отпадало бы и задача, следовательно, сводилась бы к вопросу: как велико число простых, вновь вступающих в сознание содержаний, которые могут попасть в данный момент в фокус внимания? Относительно постановки вопроса можно было бы, конечно, возразить против нашего метода проведения опытов, что буква является не простым содержанием сознания и что можно было бы выбрать еще более простые объекты, например, точки. Но так как точки ничем не отличаются друг от друга, то это вновь в высшей степени затруднило бы опыт или даже сделало бы его невозможным. С другой стороны, в пользу буквенных обозначений говорит их привычность, благодаря которой буквы обычного шрифта схватываются так же быстро, как и отдельная точка — факт, в котором легко убедиться через наблюдение. Вместе с тем буквенные обозначения благодаря своим характерным отличиям имеют ту выгоду, что они легко удерживаются в сознании даже после мгновенного воздействия, почему после опыта возможно бывает дать отчет об отчетливо воспринятых буквах. Если мы будем производить опыты указанным образом, то заметим, что неопытный еще наблюдатель по большей части может непосредственно схватить не более 3—4 букв. Но уже после немногих, конечно, как было сказано, каждый раз с новыми объектами произведенных опытов число удерживаемых в сознании букв повышается до 6. Но уже выше этого числа количество удержанных букв не поднимается, несмотря на дальнейшее упражнение, и остается неиз-

менным у всех наблюдателей. Поэтому его можно считать постоянной величиной внимания для человеческого сознания.

Впрочем, нужно заметить, что это определение объема внимания связано с одним условием, как раз противоположным приведенному нами при объяснении измерения объема сознания. Последнее было возможно лишь благодаря воздействию рядов впечатлений, связанных в объединенное целое. При измерении объема внимания мы, наоборот, должны были изолировать друг от друга отдельные впечатления, так, чтобы они образовывали любые не объединенные и неупорядоченные группы элементов. Эта разница условий зависит не исключительно от того, что один раз, при опытах с метрономом участвует чувство слуха, другой раз, при опытах со зрением — зрительное чувство. Скорее, наоборот, мы уже сразу можем высказать предположение, что в первом случае главную роль играют психологические условия соединения элементов в единое целое, в другом, — наоборот, изоляция их. Поэтому сам собою возникает вопрос: какое изменение произойдет, если мы заставим до известной степени обменяться своими ролями зрение и слух, т.е. если на зрение будут воздействовать связные, объединенные в целое впечатления, а на слух, напротив, — изолированные? Простейший же способ связать отдельные буквы в упорядоченное целое — это образовать из них слова и предложения. Ведь сами буквы — не что иное, как искусственно выделенные из такого естественного образования элементы. Если произвести описанные выше опыты (с тахистоскопом) над этими действительными составными частями речи, то результаты, в самом деле, получатся совершенно иные. Положим, что экспериментируемому лицу предлагается слово вроде следующего: *wahlverwandtschaften*, тогда даже малоопытный наблюдатель может сразу прочесть его без предварительной подготовки. В то время, следовательно, как изолированных элементов он с трудом мог воспринять 6, теперь он без малейшего затруднения воспринимает 20 и более элемен-

¹ Для более точного и равномерного выполнения этого опыта целесообразно воспользоваться одним простым прибором, так называемым тахистоскопом (от греч. *tachiste* — как можно скорее и *scopos* — смотрю), у которого падающая ширма на очень короткое и точно измеримое время позволяет видеть открывающуюся фигуру. Но если нет этого аппарата под руками, то достаточно и вышеописанного опыта, для которого требуется только большая быстрота рук.

тов. Очевидно, что по существу это тот же случай, который самим нам встречался и при опытах с ритмическими слуховыми восприятиями. Лишь условия связи здесь иные, поскольку то, что в зрительном образе дается нам как единовременное впечатление, при слухе слагается из последовательности простых впечатлений. С этим стоит в связи еще другое различие. Слово только тогда может быть схвачено в одно мгновение, если оно уже раньше было известно нам как целое или по крайней мере при сложных словах, в своих составных частях. Слово совершенно неизвестного нам языка удерживается поэтому не иначе, как лишь в комплексе необъединенных в целое букв, и мы видим, что тогда воспринимается не более 6 изолированных элементов. Напротив, при ритмическом ряде ударов маятника дело совсем не в форме такта, связывающего отдельные удары, так как мы можем мысленно представить себе любое ритмическое расчленение, лишь бы оно не противоречило общей природе сознания, например, не превышало вышеупомянутое условие *maximum* в 3 повышения. При всем том, как вытекает из этого требования, указанная разница в восприятии последовательного и одновременного целого, как оно бывает при опытах над слухом и зрением, в сущности говоря, лишь кажущаяся. Адекватный нашему ритмическому чувству размер, в общем, относится к нему не иначе, как соответствующее нашему чувству речи целое слово или целое предложение. Поэтому и в опытах с чтением, совершенно так же как и в опытах с метрономом, мы должны будем предположить, что вниманием схватывается не целое, состоящее из многих элементов слов как целое, но что в объем его каждый данный момент попадает лишь ограниченная часть этого целого, от которой психическое сцепление элементов переходит к тем частям, которые находятся в более отдаленных зрительных полях сознания. В самом деле, существует общеизвестный факт, который дает поразительное доказательство этому сцеплению воспринятой вниманием части целого слова или предложения со смутно сознаваемыми содержаниями. Это прежде всего тот факт, что при беглом чтении мы очень легко можем просмотреть опечатки или описки. Это было бы невозможно, если бы для того, что-

бы читать, мы должны были бы одинаково отчетливо воспринять в нашем сознании все элементы сравнительно длинного слова или даже целого предложения. В действительности же в фокус внимания в каждый данный момент попадают лишь немногие элементы, от которых затем тянутся нити психических связей к лишь неотчетливо воспринятым, даже отчасти лишь физиологически в области непрямого видения падающим впечатлениям; совершенно также и в слуховом восприятии ритма моментально воздействующие слуховые впечатления соединяются с предшествовавшими, отошедшими в область более смутного сознания, и готовят наступление будущих, еще ожидающихся. Главная разница обоих случаев лежит не столько в формальных условиях объема внимания и сознания, сколько в свойстве элементов и их сочетаний.

Если мы обратимся теперь, получив такие результаты от опытов над зрением, вновь к нашим наблюдениям над метрономом, то очевидно, что через эту аналогию тотчас же возникает вопрос, нельзя ли и при опытах с маятником найти такие условия, которые делали бы возможной такую же изоляцию простых элементов, какая была нужна для измерения объема внимания в области чувства зрения. Действительно, и в опытах с метрономом такая изоляция ударов такта произойдет тотчас же, как только мы не будем делать мысленно никаких ударений, слушая удары маятника, так что не будет даже простейшего размера в $\frac{2}{8}$ такта. Ввиду ритмической природы нашего сознания и всей нашей психофизической организации это, конечно, не так легко, как может показаться с первого взгляда. Все-таки мы всегда будем склонны воспринимать эти удары маятника как ряд, протекающий по крайней мере в $\frac{2}{8}$ размера с равными интервалами. Тем не менее, если только в ударах маятника нет заметной объективной разницы, удастся достигнуть этого условия без особого труда. Только при этом промежутке между ударами такта должен быть достаточно большой, чтобы мешать нашей склонности к ритмическому расчленению и в то же время допускать еще объединение ударов в целое. Этому требованию, в общем, отвечает интервал в $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ секунды. В этих пределах можно после не-

которого упражнения довольно свободно схватывать удары маятника то ритмически, то неритмически. Если мы добьемся этого и так же, как и при ритмических опытах, будем через небольшую паузу после восприятия известного числа ударов метронома слышать одинаковое или чуть большее или меньшее число, то и в этом случае можно еще отчетливо различать равенство первого и второго рядов. Если, например, при первом опыте мы выберем ряд А в 6 ударов, при другом же ряд В в 9 ударов (рис. 4), то при повторении обоих рядов тотчас же обнаружится, что при ряде А еще возможно вполне отчетливо различить равенство, а при ряде В это невозможно, и уже на 7-м или 8-м ударе сличение рядов становится в высшей степени ненадежным.

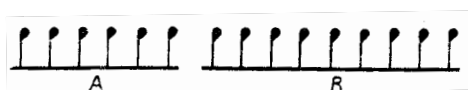


Рис. 4

Поэтому мы приходим к тому же выводу, что и в опытах со зрением: шесть простых впечатлений представляют собой границу объема внимания.

Так как эта величина одинакова и для слуховых и для зрительных впечатлений, данных как последовательно, так и одновременно, то нужно заключить, что она означает независимую от специальной области чувств психическую постоянную. Действительно, при впечатлениях других органов чувств получается тот же результат, и если исключить ничтожные колебания, число 6 остается максимум еще схватываемых вниманием простых содержаний. Например, если взять для опыта любые слоги, только не соединенные в слова, и сказать ряд их другому лицу с просьбой повторить, то при таком ряде, как:

ap ku no li sa ro,

повторение еще удается. Напротив, оно уже невозможно при ряде:

ra ho xu am na il ok ru.

Уже при 7 или 8 бессмысленных слогах заметно, что повторение большею частью не удается; с помощью упражнения можно добиться повторения разве лишь 7 слогов. Итак, мы приходим к тому же результату, который получился и при тактах А и В.

Но есть еще одно согласующееся с этим результатом наблюдение. Оно тем более замечательно, что принадлежит третьей области чувств, осязанию, и, кроме того, сделано независимо от психологических интересов, по чисто практическим побуждениям. После долгих тщетных попыток изобрести наиболее целесообразный шрифт для слепых, наконец, в половине прошлого столетия французский учитель слепых Брайль разрешил эту практически столь важную проблему. Сам слепой, он более чем кто-либо другой был в состоянии на собственном опыте убедиться, насколько его система удовлетворяет поставленным требованиям. Таким образом, он пришел к выводу, что, во-первых, известное расположение отдельных точек является единственно пригодным средством для изобретения легко различаемых знаков для букв и что, во-вторых, нельзя при конструкции этих знаков брать более 6 известным образом расположенных точек, если мы хотим, чтобы слепой еще легко и верно различал эти символы с помощью осязания. Таким образом, из шести точек (рис. 5, I), комбинируя их различным образом, он изобрел различные символы для алфавита слепых (рис. 5, II). Это ограничение числа точек шестью, очевидно, было не случайным. Это ясно уже из того, что большее число, например, 9 (рис. 5, III), дало бы большие затруднения на практике. Тогда можно было бы, например, обозначить известными символами важнейшие из знаков препинания и числа, которые отсутствуют в системе Брайля. Но достичь этого невозможно, так как при большем, чем 6, числе точек вообще нельзя отчетливо воспринимать разницу между символами. В этом легко убедиться с помощью непосредственного наблюдения, если скомбинировать более чем 6 выпук-

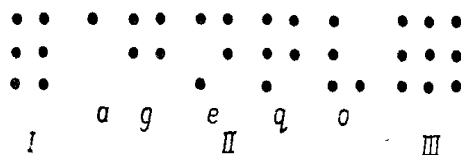


Рис. 5

лых точек и осязать их. Таким образом, мы вновь приходим к той границе, которая получилась и при опытах над чувствами зрения и слуха.

Однако значение этих выводов относительно объема сознания и внимания отнюдь не исчерпывается количественным определением этого объема. Значение их прежде всего в том, что они проливают свет на отношения содержаний сознания, находящихся в фокусе внимания, с теми, которые принадлежат более отдаленному зрительному полю сознания. Для того чтобы установить те отношения, которые прежде всего выясняются при этих опытах, мы воспользуемся для обозначения обоих процессов (вхождения в сознание и в фокус внимания) двумя краткими терминами, примененными в подобном смысле уже Лейбницем. Если восприятие входит в более обширный объем сознания, то мы называем этот процесс перцепцией, если же оно попадает в фокус внимания, то мы называем его апперцепцией. При этом мы, конечно, совершенно отвлекаемся от тех метафизических предположений, с которыми связал Лейбниц эти понятия в своей монадологии, и употребляем их скорее в чисто эмпирическо-психологическом смысле. Под перцепцией мы будем понимать просто фактическое вхождение какого-либо содержания в сознание, под апперцепцией — сосредоточение на нем внимания. Перцепируемые содержания, следовательно, сознаются всегда более или менее смутно, хотя всегда поднимаются над порогом сознания; апперципируемые содержания, напротив, сознаются ясно, они, выражаясь образно, поднимаются над более узким порогом внимания. Отношение же между обеими этими областями сознания заключается в том, что каждый раз, когда апперципируется известное изолированное содержание сознания, остальные, только перцепируемые психические содержания исчезают, как если бы их совсем не было; напротив, когда апперципируемое содержание связано с определенными перцепируемыми содержаниями сознания, оно сливается с ними в одно цельное восприятие, границу которого будет лишь порог сознания (а не внимания). С этим, очевидно, стоит в тесной связи то обстоятельство, что объем апперцепции относительно уже и постояннее, объем же перцепции не только шире, но и изменчивее. Меняется же он, как это ясно показы-

вает сравнение простых и сложных ритмов, непременно вместе с объемом психических образований, объединенных в некоторое целое. При этом различие между просто перцепируемыми и апперципируемыми частями такого целого отнюдь не исчезает. В фокус внимания скорее же попадает всегда лишь ограниченная часть этого целого, как это в особенности убедительно доказывает тот наблюдающийся при экспериментах с чтением факт, что мы можем варьировать отдельные просто перцепируемые составные части, причем общее восприятие от этого не нарушается. Более широкая область смутно перцепируемых содержаний относится к фокусу внимания — если воспользоваться образом, который сам представляет собою пример этого явления, — как фортепьянное сопровождение к голосу. Незначительные неточности в аккордах сопровождения мы легко прослушиваем, если только сам голос не погрешает ни в тональности, ни в ритме. Тем не менее впечатление от целого значительно ослабело бы, если бы не было этого сопровождения.

В этом отношении между перцепируемыми и апперципируемыми содержаниями сознания имеет значение еще другой момент, который проливает свет на выдающуюся важность апперцептивных процессов. Мы исходили из того, что для нас необычайно трудно воспринять ряд ударов маятника как совершенно равных, так как мы всегда склонны придать им известный ритм. Это явление, очевидно, находится в связи с основным свойством апперцепции, проявляющимся во всех процессах сознания. Именно мы не в состоянии, как это хорошо известно и из повседневной жизни, постоянно и равномерно направлять наше внимание на один и тот же предмет.

Если же захотим достигнуть этого, то скоро заметим, что в апперцепции данного предмета наблюдается постоянная смена, причем она то становится интенсивнее, то ослабевает. Если воспринимаемые впечатления однообразны, то эта смена легко может стать периодической. В особенности легко возникает такая периодичность в том случае, когда самые внешние процессы, на которые обращено наше внимание, протекают периодически. Как раз это и наблюдается при ряде тактов. Поэтому колебания внимания непосредственно свя-

зываются в этом случае с периодами впечатлений. Вследствие этого мы ставим ударение на том впечатлении, которое совпадает с повышением волны апперцепции, так что равные сами по себе удары такта становятся ритмическими. Каков именно будет ритм, это отчасти зависит от нашего произвола, а также от того, в каком объеме стремимся мы связать впечатление в одно целое. Если, например, удары такта следуют друг за другом слишком быстро, то это стремление к объединению легко ведет к сложным ритмическим расчленениям, как это мы действительно видели выше. Подобные же отношения между апперципируемыми и просто перципируемыми состояниями сознания получаются также и при других, и в особенности при одновременных впечатлениях, однако в иной форме, смотря по области чувств. Если, например, мы покажем в опытах с тахистоскопом короткое слово, то оно схватывается как целое одним актом. Если же дать длинное слово, например:

“Wahlverwandschaften”,

то мы легко замечаем уже при непосредственном наблюдении, что время восприятия становится длиннее и процесс восприятия состоит тогда из двух, иногда даже из трех очень быстро следующих друг за другом актов апперцепций, которые могут протекать некоторое время и после момента впечатления. Еще яснее будет это следование актов апперцепции друг за другом, если вместо слова выбрать предложение, приблизительно равное по длине, например следующее:

Morgenstunde hat Gold im Munde.

В этой фразе разложение восприятия на несколько актов существенно облегчается разделением фразы на слова. Поэтому при восприятии подобной фразы замечаются обыкновенно три следующих друг за другом акта апперцепции, и лишь при последнем из них мы схватываем в мысли целое. Но и здесь это возможно лишь в том случае, если предшествовавшие последней апперцепции части предложения еще находятся в зрительном поле сознания. Если же взять настолько длинное предложение, что части эти будут уже исчезать из поля зрения сознания, то наблюдается то же явление, что и при ритмических рядах тактов, выходящих за границы возможных ритмических расчленений: мы

можем связать в заключительном акте апперцепции лишь одну часть такого последовательного данного целого. Таким образом, восприятие сложных тактов и восприятие сложных слов или предложений по существу протекают сходно. Различие заключается лишь в том, что в первом случае апперципируемое впечатление соединяется с предшествовавшим, оставшимся в поле перцепции впечатлением с помощью ритмического деления, во втором же случае — с помощью смысла, объединяющего части слова или слова. Поэтому весь процесс отнюдь не сводится только к последовательной апперцепции частей. Ведь предшествовавшие части уже исчезли из апперцепции и стали просто перципируемыми, и лишь после того они связываются с последним апперципируемым впечатлением в одно целое. Сам же процесс связывания совершается в едином и мгновенном акте апперцепции. Отсюда вытекает, что во всех этих случаях объединения более или менее значительного комплекса элементов связующей эти элементы функцией является апперцепция, причем она, в общем, всегда связывает непосредственно апперципируемые части целого с примыкающими к ним только перципируемыми частями. Поэтому большое значение отношений между обеими функциями, перцепцией и апперцепцией заключается в высшей степени богатом разнообразии этих отношений и в том приспособлении к потребностям нашей духовной жизни, которое находит себе выражение в этом разнообразии. Апперцепция то сосредоточивается на одной узкой области, причем бесконечное разнообразие других воздействующих впечатлений совершенно исчезает из сознания, то с помощью расчленения последовательных содержаний, обусловленного ритмической (*oszillatorisch*) природой ее функции, переплетает своими нитями обширную, занимающую все поле сознания, ткань психических содержаний. Но во всех этих случаях апперцепция остается функцией единства, связующей все эти разнообразные содержания в упорядоченное целое, процессы же перцепции противостоят ей до известной степени как центробежные и подчиненные ей. Процессы апперцепции и перцепции, взятые вместе, образуют целое нашей душевной жизни.

У.Джемс

ПОТОК СОЗНАНИЯ¹

Порядок нашего исследования должен быть аналитическим. Теперь мы можем приступить к изучению сознания взрослого человека по методу самонаблюдения. Большинство психологов придерживаются так называемого синтетического способа изложения. Исходя от *простейших идей*, ощущений и рассматривая их в качестве атомов душевной жизни, психологи слагают из последних высшие состояния сознания — *ассоциации, интеграции* или *смещения*, как дома составляют из отдельных кирпичей. Такой способ изложения обладает всеми педагогическими преимуществами, какими вообще обладает синтетический метод, но в основание его кладется весьма сомнительная теория, будто высшие состояния сознания суть сложные единицы. И вместо того чтобы отправляться от фактов душевной жизни, непосредственно известных читателю, именно от его целых конкретных состояний сознания, сторонник синтетического метода берет исходным пунктом ряд гипотетических простейших идей, которые непосредственным путем совершенно недоступны читателю, и последний, знакомясь с описанием их взаимодействия, лишен возможности проверить справедливость этих описаний и ориентироваться в наборе фраз по этому вопросу. Как бы там ни было, но постепенный переход в изложении от простейшего к сложному в данном случае вводит нас в заблуждение.

Педанты и любители отвлеченностей, разумеется, отнесутся крайне неодобрительно к отстранению синтетического метода, но человек, защищающий цельность человеческой природы, предпочтет при изучении психологии аналитический метод, отправляющийся от конкретных фактов, которые составляют обыденное содержание его душевной жизни. Дальнейший анализ вскрыет элементарные психические единицы, если таковые существуют, не заставляя нас делать рискованные спекулятивные предположения. Читатель должен иметь в виду, что в настоящей книге в главах об ощущениях больше всего говорилось об их физиологических условиях. Помещены же эти главы были раньше просто ради удобства. С психологической точки зрения их следовало бы описывать в конце книги. Простейшие ощущения были рассмотрены нами ранее как психические процессы, которые в зрелом возрасте почти неизвестны, но там ничего не было сказано такого, что давало бы повод читателю думать, будто они суть элементы, образующие своими соединениями высшие состояния сознания.

Основной факт психологии. Первичным конкретным фактом, принадлежащим внутреннему опыту, служит убеждение, что в этом опыте происходят какие-то сознательные процессы. *Состояния сознания* сменяются в нем одно другим. Подобно тому, как мы выражаемся безлично: “светает”, “смеркается”, мы можем и этот факт охарактеризовать всего лучше безличным глаголом “думается”.

Четыре свойства сознания. Как совершаются сознательные процессы? Мы замечаем в них четыре существенные черты, которые рассмотрим вкратце в настоящей главе: 1) каждое состояние сознания стремится быть частью личного сознания; 2) в границах личного сознания его состояния изменчивы; 3) всякое личное сознание представляет непрерывную последовательность ощущений; 4) одни объекты оно воспринимает охотно, другие отвергает и, вообще, все время делает между ними выбор.

Разбирая последовательно эти четыре свойства сознания, мы должны будем употребить ряд психологических терминов, ко-

¹ Джемс У. Психология. М.: Педагогика, 1991. С.56—80.

торые могут получить вполне точное определение только в дальнейшем. Условное значение психологических терминов общеизвестно, а в этой главе мы их будем употреблять только в условном смысле. Настоящая глава напоминает набросок, который живописец сделал углем на полотне и на котором еще не видно никаких подробностей рисунка.

Когда я говорю: **“всякое душевное состояние”** или **“мысль есть часть личного сознания”**, то термин *личное сознание* употребляется мною именно в таком условном смысле. Значение этого термина понятно до тех пор, пока нас не попросят точно объяснить его; тогда оказывается, что такое объяснение — одна из труднейших философских задач. Эту задачу мы разберем в следующей главе, а теперь ограничимся одним предварительным замечанием. В комнате, скажем в аудитории, витает множество мыслей ваших и моих, из которых одни связаны между собой, другие — нет. Они так же мало обособлены и независимы друг от друга, как и все связаны вместе; про них нельзя сказать ни того, ни другого безусловно: ни одна из них не обособлена совершенно, но каждая связана с некоторыми другими, от остальных же совершенно независима. Мои мысли связаны с моими же другими мыслями, ваши — с вашими мыслями. Есть ли в комнате еще где-нибудь чистая мысль, не принадлежащая никакому лицу, мы не можем сказать, не имея на это данных опыта. Состояния сознания, которые мы встречаем в природе, суть непременно личные сознания — умы, личности, определенные конкретные “я” и “вы”.

Мысли каждого личного сознания обособлены от мыслей другого, между ними нет никакого непосредственного обмена, никакая мысль одного личного сознания не может стать непосредственным объектом мысли другого сознания. Абсолютная разобщенность сознаний, не поддающийся объединению плюрализм составляют психологический закон. По-видимому, элементарным психическим фактом служит не “мысль вообще”, не “эта или та мысль”, но “моя мысль”, вообще “мысль, принадлежащая кому-нибудь”. Ни одновременность, ни близость в пространстве, ни качественное сходство содержания не могут слить воедино мыслей, которые разъ-

единены между собой барьером личности. Разрыв между такими мыслями представляет одну из самых абсолютных граней в природе.

Всякий согласится с истинностью этого положения, поскольку в нем утверждается только существование “чего-то”, соответствующего термину “личное сознание”, без указаний на дальнейшие свойства этого сознания. Согласно этому можно считать непосредственно данным фактом психологии скорее личное сознание, чем мысль. Наиболее общим фактом сознания служит не “мысли и чувства существуют”, но “я мыслю” или “я чувствую”. Никакая психология не может оспаривать во что бы то ни стало факт существования личных сознаний. Под личными сознаниями мы разумеем связанные последовательности мыслей, сознаваемые как таковые. Худшее, что может сделать психолог, — это начать истолковывать природу личных сознаний, лишив их индивидуальной ценности.

В сознании происходят непрерывные перемены. Я не хочу этим сказать, что ни одно состояние сознания не обладает продолжительностью; если бы это даже была правда, то доказать ее было бы очень трудно. Я только хочу моими словами подчеркнуть тот факт, что ни одно раз минувшее состояние сознания не может снова возникнуть и буквально повториться. Мы то смотрим, то слушаем, то рассуждаем, то желаем, то припоминаем, то ожидаем, то любим, то ненавидим, наш ум попеременно занят тысячами различных объектов мысли. Скажут, пожалуй, что все эти сложные состояния сознания образуются из сочетаний простейших состояний. В таком случае подчинены ли эти последние тому же закону изменчивости? Например, не всегда ли тождественны ощущения, получаемые нами от какого-нибудь предмета? Разве не всегда тождествен звук, получаемый нами от нескольких ударов совершенно одинаковой силы по тому же фортепианному клавишу? Разве не та же трава вызывает в нас каждую весну то же ощущение зеленого цвета? Не то же небо представляется нам в ясную погоду таким же голубым? Не то же обонятельное впечатление мы получаем от одеколона, сколько бы раз мы ни пробовали нюхать ту же склянку? Отрицательный ответ на эти вопросы может

показаться метафизической софистикой, а между тем внимательный анализ не подтверждает того факта, что центростремительные токи когда-либо вызывали в нас дважды абсолютно то же чувственное впечатление.

Тождествен воспринимаемый нами объект, а не наши ощущения: мы слышим несколько раз подряд ту же ноту, мы видим зеленый цвет того же качества, обоняем те же духи или испытываем боль того же рода. Реальности, объективные или субъективные, в постоянное существование которых мы верим, по-видимому, снова и снова предстают перед нашим сознанием и заставляют нас из-за нашей невнимательности предполагать, будто идеи о них суть одни и те же идеи. Когда мы дойдем до главы “Восприятие”, мы увидим, как глубоко укоренилась в нас привычка пользоваться чувственными впечатлениями как показателями реального присутствия объектов. Трава, на которую я гляжу из окошка, кажется мне того же цвета и на солнечной, и на теневой стороне, а между тем художник, изображая на полотне эту траву, чтобы вызвать реальный эффект, в одном случае прибегает к темно-коричневой краске, в другом — к светло-желтой. Вообще говоря, мы не обращаем особого внимания на то, как различно те же предметы выглядят, звучат и пахнут на различных расстояниях и при различной окружающей обстановке. Мы стараемся убедиться лишь в тождественности вещей, и любые ощущения, удостоверяющие нас в этом при грубом способе оценки, будут сами казаться нам тождественными.

Благодаря этому обстоятельству свидетельство о субъективном тождестве различных ощущений не имеет никакой цены в качестве доказательства реальности известного факта. Вся история душевного явления, называемого ощущением, может ярко иллюстрировать нашу неспособность сказать, совершенно ли одинаковы два порознь воспринятых нами чувственных впечатления или нет. Внимание наше привлекается не столько абсолютным качеством впечатления, сколько тем поводом, который данное впечатление может дать к одновременному возникновению других впечатлений. На темном фоне менее темный предмет кажется белым. Гельмгольц вычислил, что белый мрамор на картине,

изображающей мраморное здание, освещенное луной, при дневном свете в 10 или 20 тыс. раз ярче мрамора, освещенного настоящим лунным светом.

Такого рода разница никогда не могла быть непосредственно познана чувственным образом: ее можно было определить только рядом побочных соображений. Это обстоятельство заставляет нас предполагать, что наша чувственная восприимчивость постоянно изменяется, так что один и тот же предмет редко вызывает у нас прежнее ощущение. Чувствительность наша изменяется в зависимости от того, бодрствуем мы или нас клонит ко сну, сыты мы или голодны, утомлены или нет; она различна днем и ночью, зимой и летом, в детстве, зрелом возрасте и в старости. И тем не менее мы нисколько не сомневаемся, что наши ощущения раскрывают перед нами все тот же мир с теми же чувственными качествами и с теми же чувственными объектами. Изменчивость чувствительности лучше всего можно наблюдать на том, какие различные эмоции вызывают в нас те же вещи в различных возрастах или при различных настроениях духа в зависимости от органических причин. То, что раньше казалось ярким и возбуждающим, вдруг становится избитым, скучным, бесполезным; пение птиц вдруг начинает казаться монотонным, завывание ветра — печальным, вид неба — мрачным.

К этим косвенным соображениям в пользу того, что наши ощущения в зависимости от изменчивости нашей чувствительности постоянно изменяются, можно прибавить еще одно доказательство физиологического характера. Каждому ощущению соответствует определенный процесс в мозгу. Для того чтобы ощущение повторилось с абсолютной точностью, нужно, чтобы мозг после первого ощущения не подвергался абсолютно никакому изменению. Но последнее, строго говоря, физиологически невозможно, следовательно, и абсолютно точное повторение прежнего ощущения невозможно, ибо мы должны предполагать, что каждому изменению мозга, как бы оно ни было мало, соответствует некоторое изменение в сознании, которому служит данный мозг.

Но если так легко обнаружить неосновательность мысли, будто простейшие ощущения могут повторяться неизмен-

ным образом, то еще более неосновательным должно казаться нам мнение, будто та же неизменная повторяемость наблюдается в более сложных формах сознания. Ведь ясно, как Божий день, что состояния нашего ума никогда не бывают абсолютно тождественными. Каждая отдельная мысль о каком-нибудь предмете, строго говоря, есть уникальная и имеет лишь родовое сходство с другими нашими мыслями о том же предмете. Когда повторяются прежние факты, мы должны думать о них по-новому, глядеть на них под другим углом, открывать в них новые стороны. И мысль, с помощью которой мы познаем эти факты, всегда есть мысль о предмете плюс новые отношения, в которые он поставлен, мысль, связанная с сознанием того, что сопровождает ее в виде неясных деталей. Нередко мы сами поражаемся странной переменной в наших взглядах на один и тот же предмет. Мы удивляемся, как могли мы думать известным образом о каком-нибудь предмете месяц тому назад. Мы переросли возможность такого образа мыслей, а как — мы и сами не знаем.

С каждым годом те же явления представляются нам совершенно в новом свете. То, что казалось призрачным, стало вдруг реальным, и то, что прежде производило впечатление, теперь более не привлекает. Друзья, которыми мы дорожили, превратились в бледные тени прошлого; женщины, казавшиеся нам когда-то неземными созданиями, звезды, леса и воды со временем стали казаться скучными и прозаичными; юные девы, которых мы некогда окружали каким-то небесным ореолом, становятся с течением времени в наших глазах самыми обыкновенными земными существами, картины — бессодержательными, книги... Но разве в произведениях Гете так много таинственной глубины? Разве уж так содержательны сочинения Дж. Ст. Милля, как это нам казалось прежде? Предаваясь менее наслаждениям, мы все более и более погружаемся в обыденную работу, все более и более проникаемся сознанием важности труда на пользу общества и других общественных обязанностей. Мне кажется, что анализ цельных, конкретных состояний сознания, сменяющих друг друга, есть единственный правильный психологический метод, как

бы ни было трудно строго провести его через все частности исследования. Если вначале он и покажется читателю темным, то при дальнейшем изложении его значение прояснится. Пока замечу только, что, если этот метод правилен, выставленное мною выше положение о невозможности двух абсолютно одинаковых идей в сознании также истинно. Это утверждение более важно в теоретическом отношении, чем кажется с первого взгляда, ибо, принимая его, мы совершенно расходимся даже в основных положениях с психологическими теориями локковской и гербартовской школ, которые имели когда-то почти безграничное влияние в Германии и у нас в Америке. Без сомнения, часто удобно придерживаться своего рода атомизма при объяснении душевных явлений, рассматривая высшие состояния сознания как агрегаты неизменяющихся элементарных идей, которые непрерывно сменяют друг друга. Подобным же образом часто бывает удобно рассматривать кривые линии как линии, состоящие из весьма малых прямых, а электричество и нервные токи — как известного рода жидкости. Но во всех этих случаях мы не должны забывать, что употребляем символические выражения, которым в природе ничего не соответствует. Неизменно существующая идея, появляющаяся время от времени перед нашим сознанием, есть фантастическая фикция.

В каждом личном сознании процесс мышления заметным образом непрерывен. Непрерывным рядом я могу назвать только такой, в котором нет перерывов и делений. Мы можем представить себе только два рода перерывов в сознании: или временные пробелы, в течение которых сознание отсутствует, или столь резкую переменную в содержании познаваемого, что последующее не имеет в сознании никакого отношения к предшествующему. Положение “сознание непрерывно” включает в себе две мысли: 1) мы сознаем душевные состояния, предшествующие временному пробелу и следующие за ним как части одной и той же личности; 2) перемены в качественном содержании сознания никогда не совершаются резко.

Разберем сначала первый, более простой случай. Когда спавшие на одной кровати Петр и Павел просыпаются и начи-

нают припоминать прошлое, каждый из них ставит данную минуту в связь с собственным прошлым. Подобно тому как ток анода, зарытого в землю, безошибочно находит соответствующий ему катод через все промежуточные вещества, так настоящее Петра вступает в связь с его прошедшим и никогда не сплетается по ошибке с прошлым Павла. Так же мало способно ошибиться сознание Павла. Прошедшее Петра присваивается только его настоящим. Он может иметь совершенно верные сведения о том состоянии дремоты, после которого Павел погрузился в сон, но это знание, безусловно, отличается от сознания его собственного прошлого. Собственные состояния сознания Петр помнит, а Павловы только представляет себе. Припоминание аналогично непосредственному ощущению: его объект всегда бывает проникнут живостью и родственностью, которых нет у объекта простого воображения. Этими качествами живости, родственности и непосредственности обладает настоящее Петра.

Как настоящее есть часть моей личности, мое, так точно и все другое, проникающее в мое сознание с живостью и непосредственностью, — мое, составляет часть моей личности. Далее мы увидим, в чем именно заключаются те качества, которые мы называем живостью и родственностью. Но как только прошедшее состояние сознания представилось нам обладающим этими качествами, оно тотчас присваивается нашим настоящим и входит в состав нашей личности. Эта “сплошность” личности и представляет то нечто, которое не может быть временным пробелом и которое, познавая существование этого временного пробела, все же продолжает сознавать свою непрерывность с некоторыми частями прошедшего.

Таким образом, сознание всегда является для себя чем-то цельным, не раздробленным на части. Такие выражения, как “цепь (или ряд) психических явлений”, не дают нам представления о сознании, какое мы получаем от него непосредственно: в сознании нет связей, оно течет непрерывно. Всего естественнее к нему применить метафору “река” или “поток”. Говоря о нем ниже, будем придерживаться термина “поток сознания” (мысли или субъективной жизни).

Второй случай. Даже в границах того же самого сознания и между мыслями, принадлежащими тому же субъекту, есть род связности и бессвязности, к которому предшествующее замечание не имеет никакого отношения. Я здесь имею в виду резкие перемены в сознании, вызываемые качественными контрастами в следующих друг за другом частях потока мысли. Если выражения “цепь (или ряд) психических явлений” не могут быть применены к данному случаю, то как объяснить вообще их возникновение в языке? Разве оглушительный взрыв не разделяет на две части сознание, на которое он воздействует? Нет, ибо сознание грома сливается с сознанием предшествующей тишины, которое продолжается: ведь, слыша шум от взрыва, мы слышим не просто грохот, а грохот, внезапно нарушающий молчание и контрастирующий с ним.

Наше ощущение грохота при таких условиях совершенно отличается от впечатления, вызванного тем же самым грохотом в непрерывном ряду других подобных шумов. Мы знаем, что шум и тишина взаимно уничтожают и исключают друг друга, но ощущение грохота есть в то же время сознание того, что в этот миг прекратилась тишина, и едва ли можно найти в конкретном реальном сознании человека ощущение, настолько ограниченное настоящим, что в нем не нашлось бы ни малейшего намека на то, что ему предшествовало.

Устойчивые и изменчивые состояния сознания. Если мы бросим общий взгляд на удивительный поток нашего сознания, то прежде всего нас поразит различная скорость течения в отдельных частях. Сознание подобно жизни птицы, которая то сидит на месте, то летает. Ритм языка отметил эту черту сознания тем, что каждую мысль облеч в форму предложения, а предложение развил в форму периода. Остановочные пункты в сознании обыкновенно бывают заняты чувственными впечатлениями, особенность которых заключается в том, что они могут, не изменяясь, созерцаться умом неопределенное время; переходные промежутки заняты мыслями об отношениях статических и динамических, которые мы по большей части устанавливаем между объектами, воспринятыми в состоянии относительного покоя.

Назовем остановочные пункты *устойчивыми частями*, а переходные промежутки *изменчивыми частями* потока сознания. Тогда мы заметим, что наше мышление постоянно стремится от одной устойчивой части, только что покинутой, к другой, и можно сказать, что главное назначение переходных частей сознания в том, чтобы направлять нас от одного прочного, устойчивого вывода к другому.

При самонаблюдении очень трудно подметить переходные моменты. Ведь если они — только переходная ступень к определенному выводу, то, фиксируя на них наше внимание до наступления вывода, мы этим самым уничтожаем их. Пока мы ждем наступления вывода, последний сообщает переходным моментам такую силу и устойчивость, что совершенно поглощает их своим блеском. Пусть кто-нибудь попытается захватить вниманием на полдороге переходный момент в процессе мышления, и он убедится, как трудно вести самонаблюдение при изменчивых состояниях сознания. Мысль несется стремглав, так что почти всегда приводит нас к выводу раньше, чем мы успеваем захватить ее. Если же мы и успеваем захватить ее, она мигом видоизменяется. Снежный кристалл, схваченный теплой рукой, мигом превращается в водяную каплю; подобным же образом, желая уловить переходное состояние сознания, мы вместо того находим в нем нечто вполне устойчивое — обыкновенно это бывает последнее мысленно произнесенное нами слово, взятое само по себе, независимо от своего смысла в контексте, который совершенно ускользает от нас.

В подобных случаях попытка к самонаблюдению бесплодна — это все равно, что схватывать руками волчок, чтобы уловить его движение, или быстро завертывать газовый рожок, чтобы посмотреть, как выглядят предметы в темноте. Требование указать эти переходные состояния сознания, требование, которое наверняка будет предъявлено иными психологами, отстаивающими существование подобных состояний, так же неосновательно, как аргумент против защитников реальности движения, приводившийся Зеноном, который требовал, чтобы они показали ему, в каком месте покоится стрела во время полета, и из их неспособности дать быстрый ответ на

такой нелепый вопрос заключал о несостоятельности их основного положения.

Затруднения, связанные с самонаблюдением, приводят к весьма печальным результатам. Если наблюдение переходных моментов в потоке сознания и их фиксирование вниманием представляет такие трудности, то следует предположить, что великое заблуждение всех философских школ проистекало, с одной стороны, из невозможности фиксировать изменчивые состояния сознания, с другой — из чрезмерного преувеличения значения, которое придавалось более устойчивым состояниям сознания. Исторически это заблуждение выразилось в двоякой форме. Одних мыслителей оно привело к сенсуализму. Будучи не в состоянии подыскать устойчивые ощущения, соответствующие бесчисленному множеству отношений и форм связи между явлениями чувственного мира, не находя в этих отношениях отражения душевных состояний, поддающихся определенному наименованию, эти мыслители начинали по большей части отрицать вообще всякую реальность подобных состояний. Многие из них, например, Юм, дошли до полного отрицания реальности большей части отношений как вне сознания, так и внутри. Простые идеи — ощущения и их воспроизведение, расположенные одна за другой, как кости в домино, без всякой реальной связи между собой, — вот в чем состоит вся душевная жизнь, с точки зрения этой школы, все остальное — одни словесные заблуждения. Другие мыслители, интеллектуалисты, не в силах отвергнуть реальность существующих вне области нашего сознания отношений и в то же время не имея возможности указать на какие-нибудь устойчивые ощущения, в которых проявлялась бы эта реальность, также пришли к отрицанию подобных ощущений. Но отсюда они сделали прямо противоположное заключение. Отношения эти, по их словам, должны быть познаны в чем-нибудь таком, что не есть ощущение или какое-либо душевное состояние, тождественное тем субъективным элементам сознания, из которых складывается наша душевная жизнь, тождественное и составляющее с ними одно сплошное целое. Они должны быть познаны чем-то, лежащим совершенно в иной сфере, актом чистой мысли, Интеллектом или Разумом, кото-

рые пишутся с большой буквы и должны означать нечто, неизмеримо превосходящее всякие изменчивые явления нашей чувственности.

С нашей точки зрения, и интеллектуалисты и сенсуалисты не правы. Если вообще существуют такие явления, как ощущения, то, поскольку несомненно, что существуют реальные отношения между объектами, постольку же и даже более несомненно, что существуют ощущения, с помощью которых познаются эти отношения. Нет союза, предлога, наречия, приставочной формы или перемены интонации в человеческой речи, которые не выражали бы того или другого оттенка или перемены отношения, ощущаемой нами действительно в данный момент. С объективной точки зрения, перед нами раскрываются реальные отношения; с субъективной точки зрения, их устанавливает наш поток сознания, сообщая каждому из них свою особую внутреннюю окраску. В обоих случаях отношений бесконечно много, и ни один язык в мире не передает всех возможных оттенков в этих отношениях.

Как мы говорим об ощущении синевы или холода, так точно мы имеем право говорить об ощущении “и”, ощущении “если”, ощущении “но”, ощущении “через”. А между тем мы этого не делаем: привычка признавать субстанцию только за существительными так укоренилась, что наш язык совершенно отказывается субстантивировать другие части речи.

Обратимся снова к аналогии с мозговыми процессами. Мы считаем мозг органом, в котором внутреннее равновесие находится в неустойчивом состоянии, так как в каждой части его происходят непрерывные перемены. Стремление к перемене в одной части мозга является, без сомнения, более сильным, чем в другой; в одно время быстрота перемены бывает больше, в другое — меньше. В равномерно вращающемся калейдоскопе фигуры хотя и принимают постоянно все новую и новую группировку, но между двумя группировками бывают мгновения, когда перемещение частиц происходит очень медленно и как бы совершенно прекращается, а затем вдруг, как бы по мановению волшебства, мгновенно образуется новая группировка, и, таким образом, относительно устойчивые формы сменяются другими, которых мы не узнали

бы, вновь увидев их. Точно так же и в мозгу распределение нервных процессов выражается то в форме относительно долгих напряжений, то в форме быстро переходящих изменений. Но если сознание соответствует распределению нервных процессов, то почему же оно должно прекращаться, несмотря на безостановочную деятельность мозга, и почему, в то время как медленно совершающиеся изменения в мозгу вызывают известного рода сознательные процессы, быстрые изменения не могут сопровождаться особой, соответствующей им душевной деятельностью?

Объект сознания всегда связан с психическими обертнами. Есть еще другие, не поддающиеся названию перемены в сознании, так же важные, как и переходные состояния сознания, и так же вполне сознательные. На примерах всего легче понять, что я здесь имею в виду. Предположим, три лица одно за другим крикнули вам: “Ждите!”, “Слушайте!”, “Смотрите!”. Наше сознание в данном случае подвергается трем совершенно различным состояниям ожидания, хотя ни в одном из воздействий перед ним не находится никакого определенного объекта. По всей вероятности, никто в данном случае не станет отрицать существования в себе особенного душевного состояния, чувства предполагаемого направления, по которому должно возникнуть впечатление, хотя еще не обнаружилось никаких признаков появления последнего. Для таких психических состояний мы не имеем других названий, кроме “жди”, “слушай” и “смотри”.

Представьте себе, что вы припоминаете забытое имя. Припоминание — это своеобразный процесс сознания. В нем есть как бы ощущение некоего пробела, и пробел этот ощущается весьма активным образом. Перед нами как бы возникает нечто, намекающее на забытое имя, нечто, что манит нас в известном направлении, заставляя нас ощущать неприятное чувство бессилия и вынуждая в конце концов отказаться от тщетных попыток припомнить забытое имя. Если нам предлагают неподходящие имена, стараясь навести нас на истинное, то с помощью особенного чувства пробела мы немедленно отвергаем их. Они не соответствуют характеру пробела. При этом пробел от одного забытого слова не похож на пробел от другого, хотя оба про-

бела могут быть нами охарактеризованы лишь полным отсутствием содержания. В моем сознании совершаются два совершенно различных процесса, когда я тщательно стараюсь припомнить имя Спалдинга или имя Баулса. При каждом припоминанном слове мы испытываем особое чувство недостатка, которое в каждом отдельном случае бывает различно, хотя и не имеет особого названия. Такое ощущение недостатка отличается от недостатка ощущения: это вполне интенсивное ощущение. У нас может сохраниться ритм забытого слова без соответствующих звуков, составляющих его, или нечто, напоминающее первую букву, первый слог забытого слова, но не вызывающее в памяти всего слова. Всякому знакомо неприятное ощущение пустого размера забытого стиха, который, несмотря на все усилия припоминания, не заполняется словами.

В чем заключается первый проблеск понимания чего-нибудь, когда мы, как говорится, схватываем смысл фразы? По всей вероятности, это совершенно своеобразное ощущение. А разве читатель никогда не задавался вопросом: какого рода должно быть то душевное состояние, которое мы переживаем, намереваясь что-нибудь сказать? Это вполне определенное намерение, отличающееся от всех других, совершенно особенное состояние сознания, а между тем много ли входит в него определенных чувственных образов, словесных или предметных? Почти никаких. Повремените чуть-чуть, и перед сознанием явятся слова и образы, но предварительное намерение уже исчезнет. Когда же начинают появляться слова для первоначального выражения мысли, то она выбирает подходящие, отвергая несоответствующие. Это предварительное состояние сознания может быть названо только "намерением сказать то-то и то-то".

Можно допустить, что добрые $\frac{2}{3}$ душевной жизни состоят именно из таких предварительных схем мыслей, не облеченных в слова. Как объяснить тот факт, что человек, читая какую-нибудь книгу вслух в первый раз, способен придавать чтению правильную выразительную интонацию, если не допустить, что, читая первую фразу, он уже получает смутное представление хотя бы о форме второй фразы, которая сливается с сознанием смысла данной фразы и изменяет в сознании читающего его экспрессию, за-

ставляя сообщать голосу надлежащую интонацию? Экспрессия такого рода почти всегда зависит от грамматической конструкции. Если мы читаем "не более", то ожидаем "чем", если читаем "хотя", то знаем, что далее следует "однако", "тем не менее", "все-таки". Это предчувствие приближающейся словесной или синтаксической схемы на практике до того безошибочно, что человек, не способный понять в иной книге ни одной мысли, будет читать ее вслух выразительно и осмысленно.

Читатель сейчас увидит, что я стремлюсь главным образом к тому, чтобы психологи обращали особенное внимание на смутные и неотчетливые явления сознания и оценивали по достоинству их роль в душевной жизни человека. Гальтон и Гексли <...> сделали некоторые попытки опровергнуть смешную теорию Юма и Беркли, будто мы можем сознавать лишь вполне определенные образы предметов. Другая попытка в этом направлении сделана нами, если только нам удалось показать несостоятельность не менее наивной мысли, будто одни простые объективные качества предметов, а не отношения познаются нами из состояний сознания. Но все эти попытки недостаточно радикальны. Мы должны признать, что определенные представления традиционной психологии лишь наименьшая часть нашей душевной жизни.

Традиционные психологи рассуждают подобно тому, кто стал бы утверждать, что река состоит из бочек, ведер, кварт, ложек и других определенных мерок воды. Если бы бочки и ведра действительно запрудили реку, то между ними все-таки протекала бы масса свободной воды. Эту-то свободную, незамкнутую в сосуды воду психологи и игнорируют упорно при анализе нашего сознания. Всякий определенный образ в нашем сознании погружен в массу свободной, текущей вокруг него "воды" и замирает в ней. С образом связано сознание всех окружающих отношений, как близких, так и отдаленных, замирающее эхо тех мотивов, по поводу которых возник данный образ, и зарождающееся сознание тех результатов, к которым он поведет. Значение, ценность образа всецело заключается в этом дополнении, в этой полутени окружающих и сопровождающих его элементов мысли, или, лучше ска-

зять, эта полутень составляет с данным образом одно целое — она плоть от плоти его и кость от кости его; оставляя, правда, самый образ тем же, чем он был прежде, она сообщает ему новое назначение и свежую окраску.

Назовем сознание этих отношений, сопровождающее в виде деталей данный образ, *психическими обертонами*. <...>

Содержание мысли. Анализируя познавательную функцию при различных состояниях нашего сознания, мы можем легко убедиться, что разница между поверхностным *знакомством* с предметом и *знанием о нем* сводится почти всецело к отсутствию или присутствию психических обертонов. Знание о предмете есть знание о его отношениях к другим предметам. Беглое знакомство с предметом выражается в получении от него простого впечатления. Большинство отношений данного предмета к другим мы познаем только путем установления неясного сродства между идеями при помощи психических обертонов. Об этом чувстве сродства, представляющем одну из любопытнейших особенностей потока сознания, я скажу несколько слов, прежде чем перейти к анализу других вопросов.

Между мыслями всегда существует какое-нибудь рациональное отношение. Во всех наших произвольных процессах мысли всегда есть известная тема или идея, около которой вращаются все остальные детали мысли (в виде психических обертонов). В этих деталях обязательно чувствуется определенное отношение к главной мысли, связанный с нею интерес и в особенности отношение гармонии или диссонанса, смотря по тому, содействуют они развитию главной мысли или являются для нее помехой. Всякая мысль, в которой детали по качеству вполне гармонируют с основной идеей, может считаться успешным развитием данной темы. Для того чтобы объект мысли занял соответствующее место в ряду наших идей, достаточно, чтобы он занимал известное место в той схеме отношений, к которой относится и господствующая в нашем сознании идея.

Мы можем мысленно развивать основную тему в сознании главным образом посредством словесных, зрительных и иных представлений; на успешное разви-

тие основной мысли это обстоятельство не влияет. Если только мы чувствуем в терминах родство деталей мысли с основной темой и между собой и если мы сознаем приближение вывода, то полагаем, что мысль развивается правильно и логично. В каждом языке какие-то слова благодаря частым ассоциациям с деталями мысли по сходству и контрасту вступили в тесную связь между собой и с известным заключением, вследствие чего словесный процесс мысли течет строго параллельно соответствующим психическим процессам в форме зрительных, осязательных и иных представлений. В этих психических процессах самым важным элементом является простое чувство гармонии или разлада, правильного или ложного направления мысли.

Если мы свободно владеем английским и французским языками и начинаем говорить по-французски, то при дальнейшем ходе мысли нам будут приходить в голову французские слова и почти никогда при этом мы не собьемся на английскую речь. И это родство французских слов между собой не есть нечто, совершающееся бессознательным механическим путем, как простой физиологический процесс: во время процесса мысли мы сознаем родство. Мы не утрачиваем настолько понимания французской речи, чтобы не сознавать вовсе лингвистического родства входящих в нее слов. Наше внимание при звуках французской речи всегда поражается внезапным введением в нее английского слова.

Наименьшее понимание слышимых звуков выражается именно в том, что мы сознаем в них принадлежность известному языку, если только мы вообще сознаем их. Обыкновенно смутное сознание того, что все слышимые нами слова принадлежат одному и тому же языку и специальному словарю этого языка и что грамматические согласования соблюдены при этом вполне правильно, на практике равносильно признанию, что слышимое нами имеет определенный смысл. Но если внезапно в слышимую речь введено неизвестное иностранное слово, если в ней слышится ошибка или среди философских рассуждений вдруг попадает какое-нибудь площадное, тривиальное выражение, мы получим ощущение диссонанса и наше полусознательное согласие с общим тоном речи мгновенно

исчезает. В этих случаях сознание разумности речи выражается скорее в отрицательной, чем в положительной форме.

Наоборот, если слова принадлежат тому же словарю и грамматические конструкции строго соблюдены, то фразы, абсолютно лишенные смысла, могут в ином случае сойти за осмысленные суждения и проскользнуть, нисколько не поразив неприятным образом нашего слуха. Речи на молитвенных собраниях, представляющие вечно одну и ту же перетасовку бессмысленных фраз, и напыщенная риторика получающих гроши за строчку газетных писак могут служить яркими иллюстрациями этого факта. “Птицы заполняли вершины деревьев их утренней песнью, делая воздух сырым, прохладным и приятным”, — вот фраза, которую я прочитал однажды в отчете об атлетическом состязании, состоявшемся в Джером-Парке. Репортер, очевидно, написал ее второпях, а многие читатели прочитали, не вдумываясь в смысл.

Итак, мы видим, что во всех подобных случаях само содержание речи, качественный характер представлений, образующих мысль, имеют весьма мало значения, можно даже сказать, что не имеют никакого значения. Зато важное значение сохраняют по внутреннему содержанию только остановочные пункты в речи: основные послышки мысли и выводы. Во всем остальном потоке мысли главная роль остается за чувством родства элементов речи, само же содержание их почти не имеет никакого значения. Эти чувства отношений, психические обертоны, сопровождающие термины данной мысли, могут выражаться в представлениях весьма различного характера. На диаграмме (рис. 1) легко увидеть, как разнородные психические процессы ведут одинаково к той же цели. Пусть А будет некоторым впечатлением, почерпнутым из внешнего опыта, от которого отправляется мысль нескольких лиц. Пусть Z будет практическим выводом, к которому всего естественнее приводит данный опыт. Одно из данных лиц придет к выводу по одной линии, другое — по другой; одно будет при этом процессе мысли пользоваться английской словесной символикой, другое — немецкой; у одного будут преобладать зрительные образы, у другого — осязательные; у одного элементы

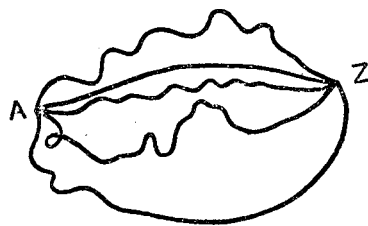


Рис. 1

мысли будут окрашены эмоциональным волнением, у другого — нет; у одних лиц процесс мысли совершается разом, быстро и синтетически, у других — медленно и в несколько приемов. Но когда предпоследний элемент в мысли каждого из этих лиц приводит их к одному общему выводу, мы говорим, и говорим совершенно правильно, что все лица, в сущности, думали об одном и том же. Каждое из них было бы чрезвычайно изумлено, заглянув в предшествующий одинаковому выводу душевный процесс другого и увидав в нем совершенно иные элементы мысли.

Четвертая особенность душевных процессов, на которую нам нужно обратить внимание при первоначальном поверхностном описании потока сознания, заключается в следующем: *сознание всегда бывает более заинтересовано в одной стороне объекта мысли, чем в другой, производя во все время процесса мышления известный выбор между его элементами, отвергая одни из них и предпочитая другие.* Яркими примерами этой избирательной деятельности могут служить явления направленного внимания и обдумывания. Но немногие из нас сознают, как непрерывна деятельность внимания при психических процессах, с которыми обыкновенно не связывают этого понятия. Для нас совершенно невозможно равномерно распределить внимание между несколькими впечатлениями. Монотонная последовательность звуковых ударов распадается на ритмические периоды то одного, то другого характера, смотря по тому, на какие звуки мы будем мысленно переносить ударение. Простейший из этих ритмов двойной, например: тик-так, тик-так, тик-так. Пятна, рассеянные по поверхности, при восприятии мысленно объединяются нами в ряды и группы. Линии объединяются в фигуры. Всеобщность различений “здесь” и “там”,

“это” и “то”, “теперь” и “тогда” является результатом того, что мы направляем внимание то на одни, то на другие части пространства и времени.

Но мы не только делаем известное удаление на некоторых элементах восприятий, но и объединяем одни из них и выделяем другие. Обыкновенно большую часть находящихся перед нами объектов мы оставляем без внимания. Я попытаюсь вкратце объяснить, как это происходит.

Начнем анализ с низших форм психики: что такое сами чувства наши, как не органы подбора? <...>Из бесконечного хаоса движений, из которых, по словам физиков, состоит внешний мир, каждый орган чувств извлекает и воспринимает лишь те движения, которые колеблются в определенных пределах скорости. На эти движения данный орган чувств реагирует, оставляя без внимания остальные, как будто они вовсе не существуют. Из того, что само по себе представляет беспорядочное неразличимое сплошное целое, лишенное всяких оттенков и различий, наши органы чувств, отвечая на одни движения и не отвечая на другие, создали мир, полный контрастов, резких ударений, внезапных перемен и картинных сочетаний света и тени.

Если, с одной стороны, ощущения, получаемые нами при посредстве органа чувств, обусловлены известным соотношением концевых аппарата органа с внешней средой, то, с другой, из всех этих ощущений внимание наше избирает лишь некоторые наиболее интересные, оставляя в стороне остальные. Мы замечаем лишь те ощущения, которые служат знаками объектов, достойных нашего внимания в практическом или эстетическом отношении, имеющих названия *субстанций* и потому возведенных в особый чин достоинства и независимости. Но помимо того особого интереса, который мы придаем объекту, можно сказать, что какой-нибудь столб пыли в ветреный день представляет совершенно такую же индивидуальную вещь и в такой же мере заслуживает особого названия, как и мое собственное тело.

Что же происходит далее с ощущениями, воспринятыми нами от каждого отдельного предмета? Между ними рассудок снова делает выбор. Какие-то ощущения он избирает в качестве черт, правильно характеризующих данный предмет, на дру-

гие смотрит как на случайные свойства предмета, обусловленные обстоятельствами минуты. Так, крышка моего стола называется прямоугольной, согласно одному из бесконечного числа впечатлений, производимых ею на сетчатку и представляющих ощущение двух острых и двух тупых углов, но все эти впечатления я называю перспективными видами стола; четыре же прямых угла считаю его истинной формой, видя в прямоугольной форме на основании некоторых собственных соображений, вызванных чувственными впечатлениями, существенное свойство этого предмета,

Подобным же образом истинная форма круга воспринимается нами, когда линия зрения перпендикулярна к нему и проходит через его центр; все другие ощущения, получаемые нами от круга, суть лишь знаки, указывающие на это ощущение. Истинный звук пушки есть тот, который мы слышим, находясь возле нее. Истинный цвет кирпича есть то ощущение, которое мы получаем, когда глаз глядит на него на недалеком расстоянии не при ярком освещении солнца и не в полумраке; при других же условиях мы получаем от кирпича другое впечатление, которое служит лишь знаком, указывающим на истинное; именно в первом случае кирпич кажется краснее, во втором — синее, чем он есть на самом деле. Читатель, вероятно, не знает предмета, которого он не представлял бы себе в каком-то типичном положении, какого-то нормального разреза, на определенном расстоянии, с определенной окраской и т.д. Но все эти существенные характерные черты, которые в совокупности образуют для нас истинную объективность предмета и контрастируют с так называемыми субъективными ощущениями, получаемыми когда угодно от данного предмета, суть такие же простые ощущения. Наш ум делает выбор в известном направлении и решает, какие именно ощущения считать более реальными и существенными.

Далее, в мире объектов, индивидуализированных таким образом с помощью избирательной деятельности ума, то, что называется *опытом*, всецело обуславливается воспитанием нашего внимания. Вещь может попадаться человеку на глаза сотни раз, но если он упорно не будет

обращать на нее внимания, то никак нельзя будет сказать, что эта вещь вошла в состав его жизненного опыта. Мы видим тысячи мух, жуков и молей, но кто, кроме энтомолога, может почерпнуть из своих наблюдений подробные и точные сведения о жизни и свойствах этих насекомых? В то же время вещь, увиденная раз в жизни, может оставить неизгладимый след в нашей памяти. Представьте себе, что четыре американца путешествуют по Европе. Один привезет домой богатый запас художественных впечатлений от костюмов, пейзажей, парков, произведений архитектуры, скульптуры и живописи. Для другого во время путешествия эти впечатления как бы не существовали: он весь был занят собиранием статистических данных, касающихся практической жизни. Расстояния, цены, количество населения, канализация городов, механизмы для замыкания дверей и окон — вот какие предметы поглощали все его внимание. Третий, вернувшись домой, дает подробный отчет о театрах, ресторанах и публичных собраниях и больше ни о чем. Четвертый же, быть может, во все время путешествия окажется до того погружен в свои думы, что его память, кроме названий некоторых мест, ничего не сохранит. Из той же массы воспринятых впечатлений каждый путешественник избрал то, что наиболее соответствовало его личным интересам, и в этом направлении производил свои наблюдения.

Если теперь, оставив в стороне случайные сочетания объектов в опыте, мы зададимся вопросом, как наш ум рационально связывает их между собой, то увидим, что и в этом процессе подбор играет главную роль. Всякое суждение <...> обуславливается способностью ума раздробить анализируемое явление на части и извлечь из последних то именно, что в данном случае может повести к правильному выводу. Поэтому гениальным человеком мы назовем такого, который всегда сумеет извлечь из данного опыта истину в теоретических вопросах и указать надлежащие средства в практических. В области эстетической наш закон еще более несомненен. Артист заведомо делает выбор в средствах художественного воспроизведения, отбрасывая все тона, краски и размеры, которые не гармони-

руют друг с другом и не соответствуют главной цели его работы. Это единство, гармония, “конвергенция характерных признаков”, согласно выражению Тэна, которая сообщает произведениям искусства их превосходство над произведениями природы, всецело обусловлены элиминацией. Любой объект, выхваченный из жизни, может стать произведением искусства, если художник сумеет в нем оттенить одну черту как самую характерную, отбросив все случайные, не гармонирующие с ней элементы.

Делая еще шаг далее, мы переходим в область этики, где выбор заведомо царит над всем остальным. Поступок не имеет никакой нравственной ценности, если он не был выбран из нескольких одинаково возможных. Борьбаться во имя добра и постоянно поддерживать в себе благие намерения, искоренять в себе соблазнительные влечения, неуклонно следовать тяжелой стезей добродетели — вот характерные проявления этической способности. Мало того, все это лишь средства к достижению целей, которые человек считает высшими. Этическая же энергия *par excellence* (по преимуществу) должна идти еще дальше и выбирать из нескольких целей, одинаково достижимых, ту, которую нужно считать наивысшей. Выбор здесь влечет за собой весьма важные последствия, налагающие неизгладимую печать на всю деятельность человека. Когда человек обдумывает, совершить преступление или нет, выбрать или нет ту или иную профессию, взять ли на себя эту должность, жениться ли на богатой, то выбор его в сущности колеблется между несколькими равно возможными будущими его характерами. Решение, принятое в данную минуту, предопределяет все его дальнейшее поведение. Шопенгауэр, приводя в пользу своего детерминизма тот аргумент, что в данном человеке со сложившимся характером при данных условиях возможно лишь одно определенное решение воли, забывает, что в такие критические с точки зрения нравственности моменты для сознания сомнительна именно предполагаемая законченность характера. Здесь для человека не столь важен вопрос, как поступить в данном случае, — важнее определить, каким существом ему лучше стать на будущее время.

Рассматривая человеческий опыт вообще, можно сказать, что способность выбора у различных людей имеет очень много общего. Род человеческий сходится в том, на какие объекты следует обращать особое внимание и каким объектам следует давать названия; в выделенных из опыта элементах мы оказываем предпочтение одним из них перед другими также весьма аналогичными путями. Есть, впрочем, совершенно исключительный случай, в котором выбор не был произведен ни одним человеком вполне аналогично с другим. Всякий из нас по-своему разделяет мир на две половинки, и для каждого почти весь интерес жизни сосредоточивается на одной из них, но пограничная черта между обеими половинками одинакова: “я” и “не-я”. Интерес совершенно особенного

свойства, который всякий человек питает к тому, что называет “я” или “мое”, представляет, быть может, загадочное в моральном отношении явление, но во всяком случае должен считаться основным психическим фактом. Никто не может проявлять одинаковый интерес к собственной личности и к личности ближнего. Личность ближнего сливается со всем остальным миром в общую массу, резко противопологаемую собственному “я”. Даже полураздавленный червь, как говорит где-то Лотце, противопоставляет своему страданию всю остальную Вселенную, хотя и не имеет о ней и о себе самом ясного представления. Для меня он — простая частица мира, но и я для него — такая же простая частица. Каждый из нас раздваивает мир по-своему.

Г.И. Челпанов

[ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ]¹

Определение психологии. Термин “психология” происходит от греческих слов “псюхе” и “логос” и значит “*учение о душе*”. Но так как существование души совсем не очевидно, то и определение психологии как учения о душе для многих представляется неправильным. Поэтому в последнее время предлагают другое определение психологии, именно, говорят, что психология есть *наука о душевных явлениях или о законах душевной жизни*. Нам следует разобрать оба эти определения. Но что такое душевные явления?

Под *душевными явлениями* нужно понимать наши чувства, представления, мысли, желания и т.п. Что мы называем чувством, мыслями, желаниями, всякий хорошо знает. Всякий, кто произносит эти слова, уже знает, что они обозначают. Ясно, что так называемые душевные явления нам непосредственно известны, каждый может воспринять их с полной определенностью.

Но существует ли душа, и что мы понимаем под душой?

Для признания существования *души*, между прочим, имеется следующее основание. Мы не можем мыслить о том или другом чувстве, о том или другом представлении, вообще о том или ином душевном явлении без того, чтобы в то же самое время не мыслить о чем-то таком, что “имеет” чувства, представления. Мы не можем

представить себе душевные явления, как не принадлежащие ничему; мы не можем представить себе ни чувств, ни мыслей, ни желаний, которые были бы ничьими. Сделайте попытку представить чувство радости, которое не принадлежало бы ничему, — такая попытка вам не удастся. Мы, думая о мыслях, чувствах, желаниях и т.п., всегда представляем себе *нечто*, что “мыслит”, “чувствует”, “имеет желания” и т.п. Это “нечто” философы называют *субъектом*, “я”, *душой*. Душа, по их мнению, есть причина душевных явлений: только благодаря деятельности души мы имеем представления, чувства и вообще душевные явления. Она есть *носительница*, *основа* душевных явлений, душевные же явления суть обнаружения души: душа в своей деятельности обнаруживает свои свойства. Исследование природы и свойств души и есть, по мнению некоторых философов, задача психологии.

Различие между приведенными определениями психологии очевидно.

По одному определению, психология занимается исследованием психических *явлений*; по другому определению, психология занимается исследованием природы *души*, которая сама по себе недоступна для нашего непосредственного познания, т.е. в существовании души мы не можем убедиться с такою очевидностью, с какою мы убеждаемся в том, что существуют чувства, представления и т.п.

Какое же из этих двух определений нужно считать правильным?

Прежде думали, что есть две психологии, именно: психология *рациональная* и психология *эмпирическая*. Различие между этими двумя психологиями заключалось в том, что психология рациональная изучает свойства души, именно, есть ли она что-либо материальное или нематериальное, смертное или бессмертное и т.п. Психология эмпирическая занимается исследованием душевных явлений. Различие в названиях происходило оттого, что эмпирическая психология разрабатывается путем исследования того, что дается в *опыте* <...>, рациональная же психология разрабатывается путем *умозрения*, *умозаключения* или *рассуждения* <...>. Умозрение,

¹ Челпанов Г.И. Учебник психологии (для гимназий и самообразования). 15-е изд. Харьков, 1918. С.1—11.

именно, означает познание при помощи *разума* в отличие от познания посредством *опыта*. Как мы видели выше, существование души есть предмет умозаключения, умозрения. В настоящее время такого самостоятельного существования двух психологий допустить нельзя. Следует признать, что учение о душе и учение о душевных явлениях составляют две части одной и той же психологии. Полная система психологии должна состоять из двух частей, и, именно, потому, что умозрение и опытное познание не могут быть совершенно отделены друг от друга. Умозрительное познание природы и свойств души без опытного познания природы душевных явлений невозможно. Поэтому и построение так называемой рациональной психологии без эмпирической невозможно. С другой стороны, и построение эмпирической психологии находится до известной степени в зависимости от умозрения.

Мы в настоящем сочинении будем излагать только эмпирическую психологию, следовательно, будем изучать природу психических явлений.

Предмет психологии. Итак, задача эмпирической психологии заключается в определении законов душевных явлений. Под душевными или психическими явлениями, как мы видели, следует понимать наши мысли, чувства, волевые решения и т.п. Их называют также: “психические состояния”, “состояния сознания”. Что такое состояние сознания, мы определять не станем: оно понятно для всякого, кто пережил то или другое психическое состояние. “Видеть” что-либо, “слышать” что-либо, иметь “чувства радости”, переживать чувство страдания, прийти к какому-нибудь решению и т.п. значит иметь то или другое состояние сознания. Состояния сознания и являются *предметом* психологии.

Для того, чтобы особенности предмета психологии сделались для нас ясными, нам необходимо рассмотреть его отличие от предмета естествознания в широком смысле слова, или наук о природе, т.е., другими словами, мы должны рассмотреть *отличие психических явлений от явлений физических или материальных*, которые составляют предмет наук о природе.

Это различие сводится к следующим трем пунктам.

Психические явления не могут быть воспринимаемы и познаваемы через посредство внешних органов чувств (глаза, уха и т.п.). Если я изучаю какой-нибудь минерал, то все его свойства становятся для меня познаваемы при участии деятельности органов чувств. Его форму, цвет я воспринимаю при помощи глаза, его твердость, шероховатость — при помощи органа осязания и т.п. Для изучения звуковых, электрических явлений, теплоты, химических процессов и т.п., я должен “видеть”, “слышать”, “осязать”, “обонять” и т.п.; словом, я должен пользоваться своими органами чувств. Таким образом, все физические или материальные явления я воспринимаю при помощи органов чувств. Совсем не то с психическими явлениями. Ни одного из них я не в состоянии воспринять при помощи какого-либо органа чувств. Например, я испытываю “чувство обиды”; я его познаю, я знаю его свойства, потому что я отличаю его от всех других чувств, но для всякого ясно, что это психическое явление или состояние сознания я знаю не через посредство какого-либо органа чувств (глаза, уха и пр.). В настоящую минуту у меня есть “мысль о справедливости”. Я эту мысль отличаю от других мыслей, но о свойствах ее я знаю не через посредство какого-либо органа чувств. В психологии принято этот способ познания называть *самонаблюдением*, познанием при помощи *внутреннего опыта* в отличие от *внешнего опыта*, которым пользуются в науках о физической природе. Таким образом, *психические явления могут познаваться только путем самонаблюдения или внутреннего опыта*.

Второе различие между психическими явлениями и физическими заключается в том, что в то время, как *физические явления одновременно могут быть доступны непосредственному наблюдению большого числа лиц, психические явления непосредственно доступны наблюдению только того лица, которое их переживает*. Например, какой-либо минерал может быть одновременно наблюдаем множеством лиц, а “чувство радости”, которое я переживаю, никто не может наблюдать, кроме меня. Метеор, который проносится по небесному своду, может быть наблюдаем тысячами людей, моя “мысль” о доме доступна лишь для меня одного.

Третье существенное различие между физическими и психическими явлениями или между “физическим” и “психическим” заключается в том, что *предметам и процессам мира физического могут быть приписаны свойства протяженности, между тем как психическим явлениям свойства протяженности приписаны быть не могут*. Например, если мы возьмем какой бы то ни было предмет наук о природе, мы всегда можем о нем сказать, что он “большой” или “малый”, что он “толстый” или “тонкий”, что он находится “справа”, “слева”, и т.п. Если мы возьмем какой-нибудь физический процесс, например, горение, какую-либо химическую реакцию, то мы о нем должны сказать, что он *совершается где-нибудь в пространстве*. Всем предметам и процессам, физическим или материальным, может быть приписана пространственная протяженность. Наоборот, если мы возьмем какие бы то ни было процессы психические, то мы увидим, что протяженность им ни в коем случае приписана быть не может. Например, о “чувстве сомнения”, которое в данную минуту находится у меня в сознании, я не могу сказать, что оно имеет ширину, длину, толщину и т.п. О моей “мысли о великом переселении народов” я никак не могу сказать, что она находится вправо или влево от “мысли о барометрическом давлении”. Самая попытка применить свойства протяженности к психическим явлениям всегда должна оканчиваться полной неудачей. Нельзя также сказать, что психические явления “совершаются” где-нибудь в пространстве. О психических явлениях можно сказать, что они совершаются во времени: они совершаются одновременно или одно вслед за другим.

Задача психологии. Мы видели, что *задача психологии заключается в определении законов душевной жизни или законов душевных явлений*. Для того, чтобы это определение было ясно, нам следует рассмотреть, что понимается под *законом*. Закон — это *определенная постоянная связь между явлениями*. Если мы, например, усматриваем, что между теплотой и расширением тел есть постоянная связь, то мы можем сказать, что положение “тела расширяются от теплоты” есть закон природы. Возьмем в пример один какой-либо закон, например, закон при-

чинной связи. Если между двумя явлениями А и В существует такая связь, что появление А влечет за собой появление В, и уничтожение А влечет за собою уничтожение В, то мы говорим, что между явлениями А и В есть причинная связь. Установление причинной связи есть одна из задач наук о природе. Такую же задачу поставляет и психология, т.е. она желает определить *причинную связь между психическими явлениями*. Если мы говорим, что “ощущение горького вкуса вызывает неприятное чувство”, то мы устанавливаем причинную связь между известным “ощущением” и известным “чувством”. В психической жизни мы замечаем известную *закономерность*, т.е. психические явления следуют друг за другом, повинуюсь известным законам. Определение этой закономерности и есть задача психологии. Но следует заметить, что законы, устанавливаемые психологией, не обладают той *всеобщностью*, которая присуща законам физики и химии. Если мы, например, говорим, что “угол падения равен углу отражения”, то мы нигде и никогда не допускаем исключений из правил этого закона. Этот закон *всеобщ.* Если мы в психологии говорим, что “науки облагораживают человека”, то мы этим выражаем закон или общее положение, которое отличается далеко не всеобщим характером, потому что весьма часты случаи, когда науки не облагораживают человека. Таким образом, законы психологические не отличаются всеобщностью.

Вспомогательным средством для открытия законов или общих положений психологии является *описание* психических явлений. Описывая по возможности точные психические явления, мы имеем возможность объединять сходные явления в один общий класс, т.е. *классифицировать* психические явления. Так как психические явления по большей части оказываются очень сложными явлениями, то для определения их природы необходимо бывает разложить их на составные части, или *анализировать* их. Например, созерцание какой-либо трагедии вызывает в нас сложное душевное состояние. Раскрыть, какие именно мысли, чувства и т.п. входят в состав данного сложного психического явления, значит анализировать его.

Психология для анализа прибегает, между прочим, к рассмотрению *генезиса или происхождения* того или другого психического явления, той или другой психической “способности”. Например, я вижу предмет, который находится на известном расстоянии от меня, иными словами, я “воспринимаю расстояние до предмета”. На первый взгляд кажется, что эта способность восприятия расстояния представляет собою простое явление; кажется, что восприятие расстояния совершается при помощи одного только зрительного органа. Если же мы рассмотрим генезис этой способности, то убедимся в ее сложном характере. Если, например, мы пожелаем исследовать, каковы свойства или в каком положении находится способность восприятия расстояния у ребенка, то мы убедимся в том, что она на известной стадии развития отсутствует у него: на этой стадии ребенок может при помощи глаза отличать только темное от светлого, но не может воспринимать расстояния или удаления предметов. Эта способность приобретает им на последующей стадии развития, благодаря присоединению мускульных и осязательных ощущений. Следовательно, если мы рассмотрим генезис восприятия расстояния, то раскроется не только сложный характер, но равным образом и составные элементы этого восприятия. Таким образом, рассмотрение генезиса психических способностей дает нам возможность анализировать их.

Психология и естествознание. Весьма часто говорят, что психология есть часть естествознания, но это утверждение неправильно. Конечно, между психологией и естествознанием есть некоторые общие черты. Можно, например, сказать, что психология есть такая же *опытная наука*, как и естествознание. Психология, как и естествознание, ставит своей задачей исследование законов *явлений*. Психология, как и естествознание, ставит своей целью точное *описание* явлений, но, как мы видели, между *предметом* естествознания и между предметом психологии есть настолько существенное различие, что смешивать их нет никакой возможности. Поэтому нельзя считать правильным положение, что психология есть часть естествознания.<...>

Самонаблюдение — основа психологии. Мы видели, что психические явления

могут быть познаваемы только при помощи самонаблюдения. Познание при помощи самонаблюдения в психологии принято называть также *субъективным методом* в отличие от *объективного* метода естествознания. Объективный метод — это познание через посредство внешних органов чувств (термин “объективный” в этом случае употребляется потому, что дело идет о наблюдении чего-то объективного, вне нас находящегося). Самонаблюдение называется также *интроспективным методом*, или интроспекцией, что значит “смотреть внутрь”. Но не следует думать, что в данном случае может идти речь о каком-нибудь действительном смотре внутрь. “Самонаблюдение”, как уже было сказано выше, есть только искусственный термин для обозначения способа познания, отличного от познания через посредство органов чувств. Как мы видели, все психические процессы непосредственно доступны наблюдению только того, кто их переживает.

Но если психические явления доступны только для того лица, которое их переживает, то спрашивается, *каким образом они могут сделаться предметом наблюдения для другого лица?* Ведь мы часто говорим, что мы наблюдаем психическую жизнь того или другого лица, например, психическую жизнь ребенка. В обиходной жизни часто говорят: “мы видим радость”, “мы видим печаль” другого лица. Но этот способ выражения неправилен, потому что о психических состояниях другого лица мы можем только *умозаключать*; видеть же, слышать или вообще непосредственно воспринимать их мы не можем. Для пояснения этого возьмем пример. В моем присутствии кто-либо плачет. Я думаю, что он переживает чувство страдания. Но могу ли я сказать, что я “воспринимаю” его чувство страдания? Нет, потому что я воспринимаю только ряд *физических* изменений, составляющих предмет внешнего опыта. Я вижу капли жидкости, истекающие из его глаз, я вижу изменившиеся черты лица; я слышу прерывистые звуки, которые называются плачем. Все это я воспринимаю при помощи органов чувств, это есть предмет внешнего опыта. Кроме этого я ничего непосредственно не воспринимаю. Откуда же я знаю о существовании страдания у другого? Я знаю о нем путем *умозаключения*. Когда я сам раньше страдал, когда у меня

было чувство страдания, то у меня из глаз текли слезы, я сам издавал прерывистые звуки. Теперь я, “видя” слезы и “слыша” плач, умозакключаю, что у него есть чувство страдания.

Из этого примера можно видеть, что непосредственно воспринимать психические процессы, переживаемые другими индивидуумами, мы не можем: о них мы можем только умозакключать, *непосредственно* же воспринимать их мы можем только в самих себе. Психическая жизнь всех живых существ становится для нас понятной благодаря *умозакключениям*. Если мы, например, видим, что собака обращается в бегство, увидя палку, то мы заключаем, что она переживает чувство страха и старается избежать страдания совершенно так, как это делаем и мы. О психических процессах, переживаемых другими индивидуумами, мы знаем только на основании того, что мы сами переживали. *Каждое психическое явление, таким образом, становится для нас понятным, благодаря тому, что мы его переводим на язык наших собственных переживаний, на наше самонаблюдение.* Вследствие этого мы можем утверждать, что единственный способ познания психических процессов есть самонаблюдение: без самонаблюдения мы ничего не могли бы знать о психической жизни других существ.

Самонаблюдение и объективное наблюдение. Положение, что самонаблюдение есть единственный способ познания психических процессов, некоторые понимают в том смысле, что психолог должен строить психологические законы на основании наблюдений *только самого себя* и эти наблюдения считать справедливыми относительно психической жизни вообще. Но так как, по их мнению, это не может быть верным способом исследования, потому что то, что справедливо относительно психической жизни психолога, наблюдающего самого себя, может быть совершенно несправедливо относительно психической жизни *вообще*, то, по их мнению, психология, построенная на самонаблюдении, не может иметь никакого научного значения.

Но такое понимание термина “самонаблюдение” нужно считать совершенно неправильным. Те психологи, которые утверждают, что самонаблюдение есть основа психологии, не думают, что это утверждение равносильно требованию, чтобы психо-

логия строилась на основании наблюдения только самого себя. По их мнению, самонаблюдение не исключает наблюдения психической жизни других индивидуумов, психической жизни животных, ребенка и т.п., т.е., другими словами, *самонаблюдение не исключает объективного наблюдения*, но следует заметить, что результаты объективного наблюдения становятся для нас понятными только в том случае, если мы переведем их на понятия, известные нам из нашего самонаблюдения.

Таким образом, *объективное наблюдение* психических процессов может осуществиться только благодаря самонаблюдению.

Источники психологии. Не из наблюдения только самого себя, а из наблюдения вообще всех живых существ психолог стремится строить законы душевной жизни. Эти наблюдения психология черпает из целого ряда других наук. Тот материал, который необходим психологу для построения системы психологии, мы можем изобразить при помощи следующей таблицы. Психологу нужны три группы данных:

I. *Данные сравнительной психологии.*

1. Сюда входит так называемая “психология народов” (этнография, антропология), а также история, художественные произведения и т.п.

2. Психология животных.

3. Психология ребенка.

II. *Аномальные явления.*

1. Душевные болезни.

2. Гипнотические явления, сон, сновидения.

3. Психическая жизнь слепых, глухонемых и т.п.

III. *Экспериментальные данные.*

Итак, мы видим, что для современного психолога прежде всего необходимо иметь данные сравнительной психологии. Сюда относится “психология народов” (по-немецки *Völkerpsychologie*), в которую входит история и развитие религиозных представлений, история мифов, нравов, обычаев, языка, история искусств, ремесел и т.п. у некультурных народов. Все так называемые “высшие чувства”: эстетические, моральные, чувство справедливости у современного культурного человека, являются в таком *сложном* виде, что анализировать их для нас почти невозможно. Мы должны

рассмотреть состояние этих чувств у малокультурных народов. Там они являются в очень простой, зачаточной форме. Проследивая постепенное развитие этих чувств на разных ступенях культуры, мы можем видеть те элементы, из которых они складываются. Изучая состояние этих чувств у малокультурных народов, мы можем таким образом понять их природу и у культурных народов. *История*, описывая прошлую жизнь народов, описывает и такие моменты в их жизни, как народные движения и т.п., это дает богатый материал для так называемой психологии массы. Изучение *развития языка* доставляет также очень важный материал для психологии. Язык есть воплощение человеческой мысли. Если мы проследим развитие языка, то мы вместе с этим можем проследить ход развития человеческих представлений. Весьма важный материал для психологии доставляют также и художественные произведения; например, для изучения такой страсти, как “скупость”, нам следует обратиться к изображению ее у Пушкина, Гоголя и Мольера.

Психология животных важна потому, что в психической жизни животных те же самые “способности”, которые у человека являются в неясной форме, возникают в простой, элементарной форме, вследствие чего доступны более легкому изучению; например, инстинкт у животных выступает в гораздо более ясной форме, чем у человека.

Психология ребенка имеет важное значение потому, что, благодаря ей, мы можем видеть, каким образом высшие способности развиваются из элементарных. Например, развитие способности речи можно было проследить у ребенка, начиная с самой зачаточной формы.

Изучение *анормальных* явлений, куда относятся душевные болезни, так называемые гипнотические явления, а равным образом сон и сновидения, также необходимо для психолога. То, что у нормального человека выражено неясно, у душевнобольного выражается чрезвычайно ясно. Например, явление потери памяти замечается и у нормального человека, но особенно отчетливо оно выступает у душевнобольных.

Если, далее, мы возьмем так называемых дефектных, у которых отсутствует,

например, орган зрения, слуха и т.п., то наблюдения над ними могут для психологии представить чрезвычайно важный материал. У слепого нет органа зрения, но есть представление о пространстве, которое, конечно, отличается от представления о пространстве у зрячего. Исследование особенностей представления о пространстве слепого дает нам возможность определить природу представления о пространстве вообще.

Вот тот многочисленный материал, на основании которого строится система психологии. Все приведенные здесь наблюдения: наблюдение над животными, наблюдение над психической деятельностью душевнобольного и т.п., представляют собою результаты *объективного* наблюдения, потому что то, что мы в этом случае наблюдаем, есть нечто, вне нас находящееся, но не следует думать, что в этом отношении психология становится тождественной с естествознанием. Все-таки нельзя сказать, что в психологии применяется объективный метод, потому что весь объективно добытый материал становится доступным для психолога только благодаря тому, что он переводит его на язык самонаблюдения. Если он так или иначе истолковывает психическую жизнь ребенка, если он так или иначе понимает психическую жизнь душевнобольного и т.п., то это только потому, что он раньше имел случай пережить аналогичные состояния. Словом, *весь объективно получаемый материал становится доступным для нас благодаря самонаблюдению*.

Поэтому, резюмируя, мы можем сказать, что *психология при изучении психических явлений должна пользоваться субъективным методом или самонаблюдением*.

О возможности эксперимента в психологии. Известно, что естествознание обязано своим развитием применению *эксперимента*, опыта. Поэтому важно решить вопрос, нельзя ли применить эксперимент к исследованию психических явлений. Сущность эксперимента мы можем пояснить следующим образом. Изучение при помощи *эксперимента* отличается от изучения при помощи *наблюдения* просто. Если мы изучаем какое-либо явление, не делая никаких попыток произвести изменение условий, при которых оно соверша-

ется, то такое изучение мы можем назвать наблюдением просто. Если мы, например, рассматриваем радугу, изучаем взаимное расположение цветов ее и т.п., то это будет изучением явления при помощи простого наблюдения. Но если мы, изучая какое-нибудь явление, пытаемся изменить условия или обстоятельства, при которых оно совершается, то такое изучение может быть названо изучением при помощи эксперимента. Например, мы желаем определить влияние сопротивления воздуха на скорость движения падающих тел. Для этой цели мы при помощи воздушного насоса выкачиваем воздух из стеклянного цилиндра и в созданном таким образом безвоздушном пространстве производим падение тел и видим, что все тела падают с одинаковой скоростью в безвоздушном пространстве (в данном случае мы наблюдаем падение тела при двух условиях: сначала при наличии воздуха, а потом без воздуха). На этом примере можно видеть, что *в эксперименте мы производим изменения в обстоятельствах, при которых совершается изучаемое явление.*

Но нельзя ли применить эксперимент к изучению психических явлений, т.е. нельзя ли в психических процессах изменять обстоятельства, при которых совершается изучаемое явление? Кажется на первый взгляд, что такого рода изменение обстоятельств, при которых совершается то или другое психическое явление, невозможно. Изменять мы можем явления внешней природы. Каким же образом можно было бы вмешаться в ход явлений психических? По-видимому, с сознанием, с явлениями душевной жизни нельзя оперировать так, как мы оперируем с вещами внешнего мира. На самом же деле, если изменение психических явлений невозможно прямо, то возможно

косвенно; именно, мы можем видоизменить деятельность того или другого органа чувств и вместе с этим изменять и состояние сознания. Произведем какой-либо эксперимент. Положим, что мы желаем определить, сочетание каких цветов кажется нам красивым. Для этого мы берем, например, полоску зеленой бумажки и, помещая рядом с нею полоску бумажки синего цвета, предлагаем кому-либо сказать, считает ли он это сочетание цветов “красивым”. Если он, положим, находит это сочетание некрасивым, тогда мы вместо синей бумажки приставляем красную, и, положим, субъект находит это сочетание красивым. Мы в этом случае, удаляя одну бумажку и помещая другую, произвели *изменения* в деятельности зрительного органа, а вместе с этим вызвали изменение состояния сознания. Другими словами, мы произвели психологический эксперимент. О других психологических экспериментах мы скажем впоследствии, а теперь отметим, что эксперимент в психологии возможен, так как возможно изменение тех условий, при которых совершаются психические явления.

Психология и физиология. Вместе с этим делается понятным и значение *физиологии* (науки о телесных отправлениях) для психологии, так как психологические эксперименты до сих пор производились главным образом в физиологии. Но здесь можно также видеть, до какой степени несправедлив довольно распространенный в наше время взгляд, что будто бы *психология есть часть физиологии*. В действительности для построения психологии необходим такой обширный материал, что *экспериментальная психология*, которая в настоящее время неправильно называется также и *физиологической*, составляет только часть психологии вообще.

Б.М. Теплов

[ОБ ИНТРОСПЕКЦИИ И САМОНАБЛЮДЕНИИ]¹

Что следует понимать под субъективным методом в психологии? Для ответа на вопрос обратимся прежде всего к первоисточнику — к тем психологам, которые считали, что субъективный метод — единственно возможный в психологии, и все усилия направляли к разработке этого метода. К ним относится большинство столпов буржуазной идеалистической психологии. Возьмем для примера двух главных представителей официально утвержденной психологии в дореволюционной России: профессора Московского университета Г.И.Челпанова и профессора Петербургского университета А.И.Введенского.

В учебнике психологии, по которому учились гимназисты того времени, Челпанов писал так: “Психические явления могут быть познаваемы только при помощи самонаблюдения. Познание при помощи самонаблюдения в психологии принято называть субъективным методом в отличие от объективного метода естествознания” (1905. С. 7).

Аналогичное, только в более резкой форме, писал и Введенский: “Душевные явления сознаются или воспринимаются только тем лицом, которое их переживает” (1914. С. 15). “Чужой душевной жизни мы не можем воспринимать; сама она навсегда остается вне пределов возможного опыта” (Там же. С. 74). Наблюдение

душевных явлений в самом себе “называется самонаблюдением, или внутренним наблюдением, или интроспекцией, систематическое же употребление самонаблюдения для научных целей называется субъективным, или интроспективным, методом” (Там же. С. 13).

Итак, психические явления могут познаваться только в себе самом; познание их осуществляется при помощи интроспекции (внутреннее зрение) или самонаблюдения; систематическое употребление интроспекции для научных целей и есть субъективный метод; метод этот, как явствует из вышесказанного, — единственно возможный в психологии.

Как же быть с познанием чужой психической жизни? В этом вопросе Введенский, надо отдать ему справедливость, занимал наиболее последовательную позицию — позицию крайнего агностицизма, своего рода “психологического солипсизма”. “Я вправе, — писал он, — смело утверждать, без всякого опасения противоречить каким-либо заведомо существующим фактам, что, кроме самого меня, ровно никто не одушевлен во всей вселенной” (Там же. С. 72). И дальше: “Мне нельзя узнать, где есть одушевленность помимо меня и где ее нет, так что без всякого противоречия с наблюдаемыми мною фактами я могу всюду, где захочу, либо допускать, либо отрицать ее” (Там же. С. 73). Таким образом, профессор университета, облеченный обязанностью читать курс психологии, считал себя вправе допускать психическую жизнь у шкафа и отрицать ее у самого близкого ему человека. Естественно, что никакого интереса не может представить содержание курса психологии, читавшегося с таких позиций.

Более обтекаемую и по видимости наукообразную позицию занимал Челпанов.

<...> “Нельзя сказать, — писал Челпанов, — что в психологии применяется объективный метод, потому что весь объективно добытый материал становится доступным для психолога только благодаря тому, что он переводит его на язык самонаблюдения. Если он так или иначе истолковывает психическую жизнь ребенка, если он так или иначе понимает психи-

¹ *Теплов Б.М.* Об объективном методе в психологии// Избранные труды: В 2 т. М.: Педагогика, 1985. Т. 2. С.291—302.

ческую жизнь душевнобольного и т. п., то это только потому, что он раньше имел случай пережить аналогичные состояния” (1905. С. II).

Самый знаменитый из американских интроспекционистов, Б.Э.Титченер, не смущаясь, продолжал такое же рассуждение и по отношению к изучению психологии животных. Психолог, писал он, “старается, насколько это только возможно, поставить себя на место животного, найти условия, при которых его собственные выразительные движения были бы в общем того же рода; и затем он старается воссоздать сознание животного по свойствам своего человеческого сознания” (1914. Т. 1. С. 26).

Как видно, сущность субъективного метода заключается в том, что психолог истолковывает психическую жизнь других взрослых людей, детей, душевнобольных и даже животных с точки зрения тех сведений, которые он получил при помощи самонаблюдения. Репертуар тех психических процессов, которые могут быть таким путем найдены, естественно, ограничивается и должен по существу метода ограничиваться тем, что пришлось пережить самому психологу. Представления, чувства, мысли другого человека, ребенка и даже животного — это все те же представления, чувства и мысли ученого-психолога, ибо никаких других он не знает и не имеет права знать.

Следовательно, действительное познание чужих чувств или мыслей (такое познание предполагается невозможным!) заменяется тем, что психолог приписывает другим людям (или даже животным) те чувства и мысли, которые он считает, исходя из собственного опыта, наиболее разумным приписать им в данном случае. <...>

Научная несостоятельность субъективного метода в его развернутом виде слишком очевидна. Однако не следует забывать, что явно нелепое требование приписывать детям, душевнобольным и животным психические процессы из запаса собственного интроспективного опыта есть прямое и необходимое следствие исходной посылки: самонаблюдение есть единственный адекватный метод познания психики. Если принять эту посылку, то следует или отказаться от изучения, например, психики ребенка, или принять метод “истолкования через самонаблюдение”.

Все изложенное учение о субъективном методе в психологии покоится на вере в то, что у человека имеется специальное орудие для *непосредственного* познания своей психики (внутреннее восприятие, или интроспекция) и что другое — опосредствованное — познание психического невозможно, а следовательно, невозможно и объективное, общезначимое познание чужой душевной жизни, и поэтому оно должно заменяться чисто субъективным *переводом на язык самонаблюдения*. Нетрудно понять, что здесь мы имеем дело с неприкрытым субъективным идеализмом, что основной тезис интроспективной психологии — “психология есть наука о непосредственном опыте” (В.Вундт, Т.Липпс и другие, вплоть до большинства современных англо-американских психологов-идеалистов) — имеет вызывающе идеалистический характер.

Для марксизма ощущение есть образ, отражение объективного мира. В ощущении и восприятии мы непосредственно воспринимаем объективную реальность. Самих же ощущений и восприятий мы непосредственно не воспринимаем; о них мы узнаем опосредствованно. То же относится и к таким *внутренним* процессам, как представление, воспоминание, мышление и т.д. И в них мы имеем образы объективного мира. Я непосредственно знаю *содержание* своих мыслей, представлений и т.п., но не сами *процессы* мышления, представления, воспоминания. Я непосредственно знаю, о *чем* я думаю, это дано мне в субъективном образе (термин “образ” я употребляю в широком философском смысле, а не в более узком смысле представления, наглядного образа), но я непосредственно не воспринимаю *процесса* своего мышления. Когда человек говорит: “я вспомнил”, “я подумал” и т.п., то это не значит, что он “видит” внутренним взором *процессы* воспоминания или думания, что он их каким-то способом *внутренне воспринимает*.

Глубоко прав был Сеченов, заявивший в полемике с К.Д.Кавелиным, что “особого психического зрения, как специального орудия для исследования психических процессов, в противоположность материальным, нет” (1947. С. 197), что это орудие есть “фикция” (Там же. С. 211). И в другом месте: “... у человека нет никаких

специальных умственных орудий для познания психических фактов, вроде внутреннего чувства или психического зрения, которое, сливаясь с познаваемым, познавало бы продукты сознания непосредственно, по существу” (Там же. С. 222).

Объективный метод в психологии предполагает безоговорочный отказ от всяких пережитков веры в то, что научное исследование должно основываться на так называемой интроспекции, понимаемой как орудие непосредственного познания психических процессов.

Опыт говорит: показания самонаблюдения типа обычных отчетов людей о том, что и почему они делали и о чем они думали, никогда не выходят за пределы обычных *жизнейских* понятий — *вспомнил, подумал, понял, решил, обратил внимание* и т.п. Самонаблюдение, понимаемое как *внутреннее восприятие, интроспекция*, не дает никаких возможностей для анализа того, что значит *вспомнил, подумал, понял, решил*.

Процессы, сложнейшие по объективной природе, по образующей их системе связей, для самонаблюдения выступают обычно как абсолютно простые. Мы в учебниках психологии характеризуем восприятие как “очень сложный процесс, в основе которого лежит выделение некоторой группы ощущений, объединение их в целостный образ, определенное понимание или осмысливание этого образа и узнавание соответствующего предмета или явления” (Теплов Б.М., 1950. С. 55).

Однако для самонаблюдения восприятие в нормальных условиях — процесс абсолютно простой, в котором нельзя усмотреть всех вышеописанных составных частей. Восприятие становится “сложным процессом” лишь в особо затрудненных условиях или при нарушениях мозговой деятельности.

Люди осуществляют самонаблюдение в течение десятков тысяч лет, и пределы тех единиц, на которые самонаблюдение может разложить психическую деятельность, давно уже обнаружались. От того, что человека посадят в лабораторию, дадут ему инструкцию и будут записывать его показания, острота и глубина его *внутреннего зрения* не изменятся. Психолог, ставящий интроспективный эксперимент с целью узнать механизм процес-

са мышления или запоминания, подобен физику, который посадил бы человека в специальную комнату и дал ему инструкцию с величайшим вниманием *рассмотреть* атомное строение тела. Никакой планомерный подбор тел, подлежащих *рассмотрению*, никакая *тренировка* наблюдателей не сделают этого действия менее нелепым. Простым глазом нельзя увидеть атомное строение тела. Простым *внутренним глазом* нельзя увидеть механизм психических процессов. Всякие попытки в этом направлении — потеря времени. К познанию самих психических процессов можно подойти только опосредствованно, путем объективного исследования.

Всякая наука есть опосредствованное познание. Забвение этого ведет к настойчивому стремлению непосредственно *увидеть* психический процесс, ведет к неверию в силу *объективного метода, который через наблюдение объективных условий возникновения психического процесса и объективных его проявлений, результатов дает подлинно научное познание самого процесса.*

Объективный метод в психологии есть метод опосредствованного познания психики, сознания. Он исключает всякого рода *психологический агностицизм*. Для *объективного метода чужая психическая жизнь не менее доступна научному изучению, чем своя собственная, так как фундаментом этого метода не является интроспекция.*

Положение об *объективной познаваемости психики* есть важнейшая методологическая предпосылка материалистической психологии. Возможность такого познания вытекает из раскрытого выше понимания предмета психологии: субъективное является предметом научной психологии не само по себе, а лишь в единстве с объективным.

Психическая деятельность всегда получает свое объективное выражение в тех или других действиях, речевых реакциях, в изменении работы внутренних органов и т. д. Это — неотъемлемое свойство психики, забвение которого неизбежно ведет к подмене “психических реальностей” “психическими фикциями” (Сеченов).

В связи с этим следует напомнить, что для Сеченова, первым выдвинувшего идею рефлекторной природы психики, не

существовало рефлексов в буквальном смысле слова “без конца”. “Во всех случаях, — писал он, — где сознательные психические акты остаются без всякого внешнего выражения, явления эти сохраняют тем не менее природу рефлексов”; и в этих случаях “конец рефлекса есть акт, вполне эквивалентный возбуждению мышечного аппарата, т.е. двигательного нерва и его мышцы” (1947. С. 152).

Наиболее важным для психологии является выражение психических процессов во внешней деятельности человека, в его поступках, словах, в его поведении. Сеченов писал: “Психическая деятельность человека выражается, как известно, внешними признаками, и обыкновенно все люди, и простые, и ученые, и натуралисты, и люди, занимающиеся духом, судят о первой по последним, т. е. по внешним, признакам” (Там же. С. 70). И далее: “О характере человека судят все без исключения по внешней деятельности последнего” (Там же. С. 114).

Учитель и друг Сеченова, великий русский материалист Чернышевский неоднократно указывал на то, что познание человека и его психической деятельности достигается главным образом через изучение его действий, поступков. В одной из последних работ он писал: “Достоверные сведения об уме и характере человека мы до сих пор не можем приобретать никакими рассуждениями по каким-нибудь общим основаниям. Они приобретаются только изучением поступков человека” (1951. Т. X. С. 820—821). <...>

Порочность субъективного метода в психологии проявляется вовсе не в том, что он придает значение изучению *высказываний* человека, а в том, что он придает решающее значение высказываниям человека *о себе, о своих переживаниях*.

Нередко думают, что словесные высказывания испытуемого в обычных экспериментах по изучению ощущений и восприятий есть показания самонаблюдения. Это ошибка. Показания о том, что испытуемый видит, слышит, вообще ощущает или воспринимает, — это показания о предметах и явлениях объективного мира. Только субъективный идеалист может настаивать на том, что такие показания надо относить к числу показаний самонаблюдения.

Никакой здравомыслящий человек не скажет, что военный наблюдатель, дающий такие, например, сведения: “Около опушки леса появился неприятельский танк”, — занимается интроспекцией и дает показания самонаблюдения. Но какое же основание говорить о показаниях самонаблюдения или об использовании интроспекции в обычных экспериментах по изучению ощущений или восприятий, когда испытуемые отвечают на такие, например, вопросы: какой из двух квадратов светлее? Какой из двух звуков выше (или громче)? Есть ли в темном поле зрения светлый круг? Сколько вы видите светящихся точек? и т.п. Совершенно очевидно, что здесь испытуемый занимается не интроспекцией, а *экстропспекцией*, не *внутренним восприятием*, а самым обычным внешним восприятием. Совершенно очевидно, что он дает здесь не показания самонаблюдения, а показания о предметах и явлениях внешнего мира. Нельзя, следовательно, говорить о показаниях испытуемых в нормальных экспериментах по изучению ощущений и восприятий как о показаниях самонаблюдения. Иначе пришлось бы признать, что все естествознание строится на показаниях самонаблюдения, так как нельзя себе представить научное наблюдение или эксперимент, которые могли бы обойтись без суждений восприятия.

Но ведь дело, в сущности, не меняется, если военный наблюдатель или разведчик дает показания по памяти, т.е. показания о том, что он видел несколько часов назад. И эти показания никто не назовет показаниями самонаблюдения; это высказывания о предметах внешнего мира, а вовсе не о самом себе, хотя по таким высказываниям и можно определенным путем вынести суждения о памяти человека, дающего показания. Следовательно, и о показаниях испытуемых во многих экспериментах, посвященных изучению памяти, нельзя сказать, что они являются показаниями самонаблюдения.

Итак, далеко не все словесные показания испытуемых, получаемые в психологических экспериментах, можно назвать показаниями самонаблюдения. Показаниями самонаблюдения следует называть лишь высказывания испытуемых *о себе, о своих действиях и переживаниях*.

Вообще же нужно решительно отвести ложную и вредную мысль о том, что использование в психологическом исследовании, и в частности в психологическом эксперименте, словесных реакций или словесного отчета испытуемых есть признак субъективности метода, свидетельство отхода от строго объективного метода исследования. <...> Объективность или субъективность метода менее всего определяется тем, какие реакции — речевые, двигательные, вегетативные — изучаются.

Важнейшее условие объективности метода — возможно более строгий и полный учет воздействий на испытуемого и его реакций. Это относится и к речевым воздействиям на испытуемого, и к его речевым реакциям. Не отказ от них, а стремление к строгому их учету — вот что следует из требования объективности метода.

Решительно отвергая интроспекцию как особое *внутреннее восприятие*, являющееся орудием непосредственного познания психических процессов, объективный метод в психологии, конечно, не отрицает у человека способности давать *словесный отчет* самому себе или другим людям (в том числе и психологу-исследователю) о своих действиях и переживаниях (о содержании своих переживаний). В этом смысле можно говорить о наличии у человека способности к самонаблюдению, резко противопоставляя, однако, термины *самонаблюдение* и *интроспекция*. *Самонаблюдение в единственно приемлемом значении этого слова не есть “внутреннее наблюдение”, не есть результат непосредственного восприятия своих психических процессов или психических особенностей своей личности.*

Существует очень распространенный предрассудок: всякое знание о себе — о своей психической деятельности, о своих психических особенностях — человек якобы получает путем интроспекции, т.е. путем некоего непосредственного, недоступного другим людям познания. Этот взгляд ложный. *Наиболее важные знания о себе человек получает опосредствованно, т.е. теми же принципиальными способами, которые доступны и другим людям.*

Путем интроспекции нельзя установить запасы своей памяти, нельзя узнать, что я помню и знаю. Надо решительно отказаться от взгляда на память как на кладовую, в которой хранится все, что за-

помнилось, и которую можно обозреть *внутренним взором*, т.е. с помощью интроспекции. Запоминание есть образование сложной системы связей, а воспроизведение — оживление этих связей, причем строго детерминированное, вызванное определенным стимулом.

Чтобы узнать, запомнил ли человек данное содержание или нет, надо испытать, воспроизводится ли это содержание при тех стимулах, при тех воздействиях, которые — насколько можно предполагать — связаны у данного человека с интересующим нас содержанием. (Такого рода *воздействиями* и являются различные вопросы, задания и т.п.) И чем разнообразнее будут эти воздействия, тем достовернее будет результат. Совершенно так же поступает и сам человек, желая узнать, запомнил ли он данное содержание. Он должен спросить себя о чем-то, к этому содержанию относящемся, должен дать себе некоторое задание и по результатам этого испытания судить о том, запомнил ли он. Неважно, конечно, что он это делает не вслух. Средства, которыми я располагаю, чтобы узнать, что я помню, принципиально говоря, те же самые, которыми располагают другие люди, определяющие запасы моей памяти. Я узнаю об этом не непосредственно, не путем интроспекции, а опосредствованно, ибо иным путем что-то узнать нельзя.

Задача психологов — превратить стихийно применяющийся каждым человеком опосредствованный путь в научно отточенный метод. А для этого надо прежде всего отказаться от мешающей и уводящей в сторону мысли о том, что здесь может оказать какую-то помощь интроспекция.

Итак, интроспекция не является средством определения собственных знаний. Совсем очевидно, что она не является средством определять собственные умения и навыки. Единственный путь для этого — попробовать *сделать*, т.е. путь опосредствованный, объективный. Внутреннее восприятие тут ничем не поможет. Если человек иногда (но далеко не всегда!) лучше, чем другие, знает, что он *умеет*, то только потому, что он чаще имел случай испробовать себя, а не потому, что у него имеется какое-то особое *орудие* для познания собственных умений.

Нетрудно убедиться также и в том, что не интроспекцией человек познает особенности своей личности: темперамент, характер, способности, интересы. Обо всем этом человек может судить очень опосредствованно, принципиально говоря, теми же способами, какими судят о нем другие люди, — в первую очередь по тому, как он ведет себя в тех или других ситуациях, как он поступает, что он делает. А наблюдать дела людей гораздо легче, чем собственные. Поэтому жизненный опыт показывает, что наиболее адекватную характеристику человека могут в огромном большинстве случаев дать другие люди, а не он сам. Глубокий смысл имеет в этой связи одно замечание К.Маркса: “В некоторых отношениях человек напоминает товар. Так как он рождается без зеркала в руках и не фихтеанским философом: “Я есмь я”, то человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека” (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 62).

Человек сначала научается судить о других людях, а потом уже о себе. Человек судит о себе в основном теми же способами, которые он выработал, учась судить о других людях. Человек не имеет особого орудия для восприятия себя как личности. Он “родится без зеркала в руках”.

Представляется поэтому странным, с точки зрения научной методологии, когда психологи, желая, например, узнать интересы школьников, спрашивают самих школьников о том, каковы их интересы. (Это спрашивание имеет разные формы, например, форму сочинений на темы “Чем я интересуюсь?” или “Мои интересы”.) Конечно, и врачи для установления диагноза задают больным разного рода вопросы, но они никогда не задают вопроса: “Какая у вас болезнь?”. Никому не приходит в голову, что установление диагноза болезни есть дело самого больного. Почему же может приходиться мысль, что установление круга интересов школьника есть дело самого школьника? Очевидно, потому, что сохраняется еще убеждение в том, что человек имеет некоторое недоступное другим людям орудие для непосредственного усмотрения своих интересов. Если бы все психологи были твердо убеждены, что установление круга интересов может быть произведено лишь опосредствованным путем, то едва ли они

стали бы возлагать эту задачу на самих школьников. Тогда сочинения и опросы, подобные вышеуказанным, применялись бы не для того, чтобы узнать, каковы интересы школьников, а для того, чтобы установить, как высказываются школьники о своих интересах, насколько адекватно они осознают их.

В последние годы в советской психологии господствовал взгляд, согласно которому самонаблюдение является хотя и не единственным и даже не основным, но все же одним из необходимых и важных методов психологии. Так именно освещается вопрос в книге С.Л.Рубинштейна “Основы общей психологии” (1946), в первых четырех изданиях моего учебника психологии для средней школы, в учебном пособии для педагогических вузов под редакцией К.Н.Корнилова, А.А.Смирнова и Б.М.Теплова (1948), в двух учебниках К.Н.Корнилова, выпущенных в 1946 г. Такую позицию защищали в последнее время Самарин и Левентуев в “Учительской газете” (от 26 мая и 9 июня 1951 г.).

Этот взгляд нельзя считать правильным. Самонаблюдение не может рассматриваться как один из методов научной психологии, хотя данные самонаблюдения (в указанном значении этого термина) и являются важным объектом изучения в психологии (как и в ряде других наук).

Прежде всего надо обратить внимание на одну терминологическую несообразность. При описании методов психологии каждый из методов называется, исходя из того, что делает исследователь: метод эксперимента, наблюдения, метод анализа продуктов деятельности и т. д. Если исследователь ведет наблюдение за игрой дошкольников “в магазин”, то мы называем это методом наблюдения, а не методом “игры в магазин”. Если исследователь изучает в психологических целях детские рисунки, то мы говорим о методе анализа продуктов деятельности, а не о методе рисования. Но если исследователь собирает и анализирует показания самонаблюдения испытуемых, то мы почему-то говорим о “методе самонаблюдения”, хотя методом работы исследователя является здесь вовсе не самонаблюдение. Не отражает ли эта терминологическая несообразность и некоторую более глубокую ошибку? Не означает ли это иногда, что,

обращаясь к самонаблюдению испытуемых, экспериментатор, в сущности, перекладывает на них свою задачу? Они, испытуемые, как бы командуются “на место происшествия”, недоступное для самого исследователя, с тем чтобы произвести там научные наблюдения, а на долю экспериментатора остается лишь систематизация и обработка результатов этих наблюдений.

Если сводить психическое к субъективному и полагать, что субъективное доступно только самонаблюдению лица, его переживающего, то такое понимание становится неизбежным. Тогда действительно в психологическом эксперименте задача научного наблюдения должна перепоручаться испытуемым, и тогда действительно не только можно, но и должно говорить о “методе самонаблюдения”. Но если отказаться от сведения психики к субъективному, если отвергнуть тезис об объективной непознаваемости психики, то не остается оснований для того, чтобы испытуемые из лиц изучаемых превращались в лиц, изучающих собственную психику. Тогда становится бессмысленным называть метод, включающий в себя использование показаний самонаблюдения испытуемых, *методом самонаблюдения*. Во многих науках — в медицине, истории литературы, истории искусства — используются показания людей о самих себе, о своих переживаниях, о своей работе, т.е. то, что называется *показаниями самонаблюдения*. Но никто еще, кажется, не говорил, что медицина или история литературы работают *методом самонаблюдения*.

Превращение самонаблюдения в особый метод исследования, специфический для психологии и только для нее, есть самое яркое проявление субъективного метода в психологии. <...>

Отказываясь считать самонаблюдение одним из методов научной психологии, мы должны самым решительным образом противопоставить нашу позицию позиции американского бихевиоризма.

Бихевиоризм отказывается от метода самонаблюдения. Но он отказывается от

него для того, чтобы отказаться от изучения психики, сознания человека. Формальный сочинитель бихевиоризма Дж. Уотсон писал: “Если бихевиоризму предстоит будущность..., то он должен полностью порвать с понятием сознания”. “Те исследователи, которые не в состоянии отказаться от “сознания”, со всеми его осложнениями, должны искать лучшего применения своим силам в какой-нибудь иной области”.

Бихевиоризм исходит все из того же идеалистического по своей сущности положения, которое лежит в основе интроспективной психологии: психика, сознание доступны только интроспективному познанию, они не могут быть изучены объективным методом. (На это обстоятельство справедливо указал в свое время С.Л. Рубинштейн.)

“Состояния сознания, — пишет Уотсон, — подобно так называемым явлениям спиритизма, не носят объективно доказуемого характера, а потому никогда не смогут стать предметом истинно научного исследования”. “С точки зрения бихевиоризма, не существует никаких доказательств “психических существований” или “психических процессов” какого бы то ни было рода”.

Сначала бихевиористы выступали под флагом механистического материализма. Но в основе их построения лежал, как мы видим, идеалистический тезис. Поэтому так просто и быстро грубый механицизм первых бихевиористов превратился в столь же грубый идеализм их продолжателей. <...>

Советская материалистическая психология прямо противоположна американскому бихевиоризму. Основная задача нашей психологии — материалистически объяснить психику, сознание человека. Бихевиоризм отказался от метода самонаблюдения для того, чтобы отказаться от сознания. Марксистская психология должна отказаться от самонаблюдения как *метода* научного исследования потому, что сознание человека может и должно быть изучено последовательно объективными методами.

Н.Н.Ланге

БОРЬБА ВОЗЗРЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ¹

Кто знаком с современной психологической литературой, с ее направлениями и тенденциями, особенно в отношении принципиальных вопросов, не может, я думаю, сомневаться, что наша наука переживает ныне тяжелый, хотя и крайне плодотворный, кризис. Этот кризис, или поворот (начало которого можно отнести еще к 70-м гг. прошлого столетия), характеризуется, вообще говоря, двумя чертами: во-первых, общей неудовлетворенностью той прежней доктриной или системой, которая может быть названа, вообще, ассоциационной² и сенсуалистической психологией, и, во-вторых, появлением значительного числа новых попыток углубить смысл психологических исследований, причем обнаружилось, однако, огромное расхождение взглядов разных психологических направлений или школ.

Ассоциационная психология была построена, главным образом, трудами Дж. и Дж.С.Миллей, А.Бена, Г.Спенсера и их предшественников в Англии. В наше время ее сторонниками, более или менее правверными, можно считать Т.Рибо и Т.Цигена, отчасти Г.Эббингауза. Воззрения этих психологов далеко не во всем совпадают. Но главные, существенные учения у них общие и характерные для ассоцианизма. Последовательный ассоцианизм рассматривает психичес-

кую жизнь как копию или отражение в сознании внешнего мира, то есть отмечает по преимуществу параллелизм фактов сознания с фактами окружающей среды. Это соответствие касается, во-первых, содержаний сознания, во-вторых, связей между этими содержаниями. Содержания сознания распадаются на два класса — ощущений и представлений, причем представления рассматриваются как копия ощущений. Последовательность в смене этих вторичных состояний, то есть их ассоциация, есть тоже копия последовательностей, в которых на нас действовали внешние раздражения. Иначе говоря, ассоцианизм сводит душевную жизнь почти исключительно к памяти, воспроизводящей или повторяющей во вторичных состояниях свойства и последовательности ощущений.

В противоположность ассоцианизму или по крайней мере в дополнение к нему новая психология выдвигает вперед своеобразие психической жизни и ее автономный характер. Эта автономность, главным образом, обнаруживается в общем *селективном* характере сознания, в том, что оно *выбирает* или *подбирает* целесообразно психические состояния. Как совершается такой отбор и в чем он состоит, разные психологи определяют весьма различно, но во всяком случае *волюнтарный* характер психики всегда подчеркивается гораздо ярче, чем в ассоцианизме. Далее, все противники ассоцианизма возражают и против сенсуализма, то есть сведения всех психических познавательных фактов лишь к ощущениям и их копиям — представлениям. Более глубокий и беспристрастный психологический анализ показывает им, что наряду с этими определенными и устойчивыми фактами мы находим в сознании состояния переходные и неопределенные, наряду с образами — мышление *без* образов и т.д. Предположение, будто все психические процессы сводятся лишь к внешним ассоциациям, оказывается тоже несостоятельным, и наряду с ассоциациями выдвигаются разные акты, интенции, разные *функции* сознания и т.п. Коротко говоря, вместо механического образа психической жизни как конгломерата отдель-

¹ Ланге Н.Н. Психический мир. М.; Воронеж, 1996. С.69—100.

² В современном употреблении — ассоциативной.

ных образов и ощущений (полипняка образов, как выражался *И.Тен*) эта жизнь рассматривается как сложная органическая функция, как процесс в слитном потоке изменений, как целесообразное построение и т.п. Механическая схема заменяется органической.

Начало этого движения новой психологии, противопологающей себя окоченевшему в отвлеченных формулах и конструкциях ассоцианизму и сенсуализму, должно отнести еще к семидесятым годам прошлого столетия. Оно было открыто, с одной стороны, *Ф.Брендано* (Психология с эмпирической точки зрения, 1874), родоначальником австрийской школы психологии (*Х.Эренфельс*, *А.Мейнонг*, *С.Витасек* и др.), с другой — *В.Вундтом*, особенно после того, как его учение об отличии ассоциативных сочетаний представлений от апперцептивных и теория аффектов получили более или менее окончательную формулировку, то есть приблизительно со второго издания его “Основ физиологической психологии” (Очерки психологии, 1880), особенно же после выхода его “Grundriss der Psychologie” (1896). Не менее важную роль в этом движении должно признать и за знаменитым двухтомным трудом *У.Джемса*, его “Принципами психологии” (1893). Поразительная яркость его психологических наблюдений, свободных от мертвого схематизма, тонкое умение подмечать своеобразие психических процессов в их отличии от свойств внешних предметов и решительность в разрушении догматических предрассудков ходячего ассоцианизма — все это внесло в психологию новую и полную жизненности струю. Далее, *К.Штумпф* в течение многих лет постоянно вносит в психологию ряд обновляющих ее идей, начиная с возрождения нативизма в области пространственных восприятий (в чем ему, впрочем, предшествовал физиолог *Э.Геринг*), затем учение о новой форме соединения представлений — их слиянии, или сплаве (*Verschmelzung*), — в отличие от ассоциации, потом теорию реального взаимодействия между физиологическим и психическим процессами взамен устарелого психофизического параллелизма, наконец, в 1907 г., плодотворные идеи о необходимости различать психические явления или

содержания от психических функций или отправлений (функциональная психология в противоположность структурной). Наряду со *Штумпфом* должен быть поставлен *Т.Липпе*, обновляющее и реформирующее значение идей которого испытывает ныне каждый психолог, в какой бы области науки он ни работал. Наконец, к этому перечню наиболее видных представителей новой психологии присоединим еще *Э.Гуссерля* <...> и новое движение в области экспериментального исследования мышления, начатое уже *А.Бине* и ныне плодотворно продолжаемое так называемой Вюрцбургской школой (*О.Кюльпе*, *А.Мессер*, *Н.Ах* и т.д.), и многих других.

В этом общем обновлении психологической науки особенно замечательно то обилие новых *основных психологических категорий*, которые вводятся разными представителями этого течения. К тому крайне ограниченному числу основных понятий, которыми пользовались ассоцианисты (ощущение, представление, ассоциация), ныне чуть не каждый психолог делает свои добавления: “поток сознания” и “переходные состояния сознания” у *Джемса*, “предметное сознание” в противоположность “сознаниям Я” у *Липпе*, его же “вчувствования”, “интенция” у *Гуссерля*, “допущение” (*Annahme*) у *Мейнонга*, “акты” у *Мессера*, “функции” у *Штумпфа*, “положения сознания” у *К.Марбе*, “психические позы” (*les attitudes*) у *А.Бине*, “подсознательное” у *Дж.Ястрова* и *П.Жане* и т.д. и т.д. В этом огромном и новом движении при явном разрушении прежних схем и еще недостаточной определенности новых категорий, при, так сказать, бродячем и хаотическом накоплении новых терминов и понятий, в которых даже специалисту не всегда легко разобраться, мы получаем такое впечатление, будто самый объект науки — психическая жизнь — изменился и открывает перед нами такие новые стороны, которых раньше мы совсем не замечали, так что для описания их прежняя психологическая терминология оказывается совершенно недостаточной.

При этом, однако, обнаруживается вторая характерная черта новых психологических направлений, на которую мы указали выше: крайнее разнообразие течений, отсутствие общепризнанной системы науки, огромные

принципиальные различия между отдельными психологическими школами. Все признают ассоцианизм и сенсуализм недостаточными, но чем заменить прежние, столь простые и ясные, хотя и узкие, психологические схемы — на это каждая “школа” отвечает по-своему. Ныне общей, то есть общепризнанной, системы в нашей науке не существует. Она исчезла вместе с ассоцианизмом. Психолог наших дней подобен Приаму, сидящему на развалинах Трои. Достаточно сравнить общие изложения психологии у *Вундта*, *Липпса*, *Джемса*, *Эббингауза*, *Йодля* и *Витасека*, чтобы в этом убедиться: каждое из этих изложений построено по совершенно иной системе, чем другие. В дальнейшем мы встретим целый ряд доказательств, подтверждающих такую общую характеристику современной психологии. Все основные психологические понятия и категории — ощущение, представление, восприятие, ассоциация, память, внимание, мышление, чувствование, воля — понимаются и толкуются ныне совершенно разно психологами разных направлений. То, что для одних является сложными явлениями, другие считают специфическими, элементарными фактами, например: сознание протяженности для *Вундта* — в противоположность взглядам на него у *Джемса* и *Штумпфа*, специфичность акта суждения для *Брентано*, *Гуссерля*, *Мейнонга* — в противоположность воззрениям *Йодля*, *Эббингауза* и других, элементарный характер волевого fiat для *Джемса* и других волюнтаристов — в противоположность эмоциональной (аффективной) теории воли у *Вундта* и ассоциационной у *Эббингауза* и т.д. В то время как некоторые для всех психологических процессов предполагают физиологические корреляты или даже все психические закономерности сводят к физиологическим (*Авенариус*, *З.Экснер*, *Циген*, отчасти и *Эббингауз*), другие признают существование особых чисто психических законностей (*Вундт*, *Джемс*, школа *Мейнонга* и др.). Одни видят задачу психологии лишь в описании содержания сознания, другие признают в сознании еще особого рода функции и акты, отличные от этих содержаний (*Штумпф*, *Гуссерль*, *Мейнонг*, *Мессер* и др.). Этот перечень принципиальных разногласий можно было бы легко продолжить на целые страницы, ибо нет ни одного почти психологического вопроса, который не был бы втянут в эту борьбу разных направлений.

Можно сказать, не боясь преувеличения, что описание любого психического процесса получает иной вид, будем ли мы его характеризовать и изучать в категориях психологической системы *Эббингауза* или *Вундта*, *Штумпфа* или *Авенариуса*, *Мейнонга* или *Бине*, *Джемса* или *Г.Мюллера*. Конечно, чисто фактическая сторона должна остаться при этом той же; однако в науке, по крайней мере в психологии, разграничить описываемый факт от его теории, то есть от тех научных категорий, при помощи которых делается это описание, часто очень трудно и даже невозможно, ибо в психологии (как, впрочем, и в физике, по мнению *П.Дюгема*) всякое описание есть всегда уже и некоторая теория.

Специальные психологические журналы приносят нам ежемесячно десятки, по-видимому, чисто фактических исследований, особенно экспериментального характера, которые кажутся для поверхностного наблюдателя независимыми от этих принципиальных разногласий в основных научных категориях, разделяющих разные психологические школы. Однако, внимательнее приглядываясь к этим исследованиям, легко убедиться, что уже в самой постановке вопросов и в том или ином употреблении психологических терминов (как то: память, ассоциация, ощущение, внимание и др.) содержится всегда то или иное понимание их, соответствующее той или иной теории, а следовательно, и весь фактический результат исследования сохраняется или отпадает вместе с правильностью или ложностью этой психологической системы. Самые, по-видимому, точные исследования, наблюдения и измерения могут, таким образом, оказаться при изменении в смысле основных психологических понятий ложными или, во всяком случае, утратившими свое значение. Мы должны помнить, что такие кризисы, разрушающие или обесценивающие целые ряды фактов, которые усердно и старательно устанавливались в специальных работах, кризисы в самых основах науки, не раз уже бывали в разных научных областях. Они действуют подобно землетрясениям, возникающим благодаря глубоким деформациям в недрах Земли. Достаточно напомнить, например, падение алхимии, несмотря на множество точных опытов у старых алхимиков, или такие же радикальные перевороты в истории медицины.

Итак, мы должны признать, что в современной психологии происходит ныне некоторый общий кризис. Он состоит в смене прежнего ассоцианизма новой психологической теорией. Этот кризис, по существу благотворный, несомненно ведет нас к более углубленному пониманию психической жизни. Но в настоящее время разыскание новых основ для нашей науки порождает сильные колебания и значительные разногласия между отдельными психологическими направлениями. Нашей задачей должна быть ныне выработка из этих борющихся теорий обновленной системы науки, которая явилась бы столь же ясной и твердой, каков был в первой половине прошлого века ассоцианизм. Задача эта должна состоять в критической оценке современных психологических направлений и попытке их соглашения в связи с тем обширным фактическим материалом, который дает нам сама психология, далее физиология и биология, зоопсихология и нервная патология и, наконец, социология и социальная психология. Некоторую попытку содействовать разрешению этой общей задачи мы даем читателю в следующих главах.

Из сказанного видно, что понимание современной психологии необходимо предполагает некоторое знакомство как с ассоциационной психологией, так и с важнейшими из современных систем, стремящихся дополнить и реформировать этот ассоцианизм. Поэтому мы даем в дальнейшем пять кратких характеристик, имеющих целью ввести читателя в принципиальное понимание современных движений в психологии. Эти очерки излагают учения ассоцианизма, психологию *Вундта*, *Джемса*, актуалистов и волюнтаристов. Не претендуя на полноту, они должны служить лишь для более ясного понимания дальнейшего.

1. Общий очерк ассоциационной психологии

Как уже сказано, эта психология возникла в английской эмпиристической философии, получила биологический и эволюционный характер у *Г.Спенсера* и была

дополнена некоторыми физиологическими основами, в частности учением о локализации психических явлений в коре большого мозга. В таком составе (например, в наше время у *Т.Цигена*) эта психология может быть изображена вкратце следующим образом.

Психическая жизнь есть совокупность дискретных душевных явлений, возникающих в нашем опыте. Носитель, или сущность, этих явлений — душа — нам неизвестна, ибо она есть метафизическое понятие. Поэтому и все попытки прежней метафизической психологии указать основные силы души, то есть ее “способности”, совершенно бесплодны. Такие способности, вроде, например, мышления, фантазии, воли, суть лишь отвлеченные слова, обозначающие общие, сходные свойства в некотором ряде душевных явлений. Они имеют столь же мало объяснительного значения, как, например, “способность” пищеварения для физиологии пищеварения. Все психические факты или явления, как бы они ни были различны, могут быть разложены на некоторые элементы, каковыми надо считать: 1) ощущения или реальные состояния разного рода, возникающие при воздействии на нас внешних раздражений, 2) представления или идеальные факты, являющиеся, в сущности, копиями, или репродукциями, ощущений, но более бледными. К ощущениям принадлежат как ощущения внешних чувств — зрительные, слуховые и т.д., так и ощущения органические — холода, тепла, голода, жажды, боли, мускульного сокращения и т.п., и, наконец, ощущения отношений, или относительные ощущения сходства, различия и т.п.¹ Сверх того, все эти ощущения могут иметь кроме своего указанного специфического содержания еще характер приятности или неприятности. Таково же различие и соответственных представлений или идеальных состояний.

Ощущения и порядок их смены в сознании зависят от порядка, в котором воздействуют на нас внешние раздражители. Представления же, то есть вторичные состояния, комбинируются в единовременные или последовательные комплексы по осо-

¹ Некоторые из психологов этого направления не считают нужным выделять эту третью группу ощущений как нечто особое, например, *Циген*. Для него само сходство и различие ощущений совпадает с сознанием этого сходства и различия. Другие же ассоцианисты признают особый класс ощущений отношения, как, например, *Спенсер*.

бым законам ассоциации. Можно различать ассоциации по смежности (в пространстве и времени) и ассоциации по сходству содержаний. Первые суть копии тех последовательностей, в которых были даны нам в опыте комплексы ощущений, вторые же могут быть сведены к первым. Именно, если некоторое представление A вызывает или внушает нам сходное с ним представление A^1 , то сходство их состоит в частичном тождестве их содержаний.

$$A = a+b+c+d.$$

$$A^1 = a+b+k+l.$$

Каждый из этих комплексов (a, b, c, d) и (a, b, k, l), как уже имеющийся в нашем прежнем опыте, объединен ассоциацией смежности. Поэтому новое появление группы (a, b, c, d) может через посредство признаков a и b вызвать и ассоциированные с ними по смежности признаки k и l ¹.

Ассоциации представлений, вообще, объяснимы физиологически, поскольку физиологической основой представлений мы можем считать “следы”, оставленные в коре полушарий соответственными ощущениями, связь же между этими “следами” обусловлена особыми, в опыте возникающими ассоциативными путями проведения нервных токов.

Из этих элементов — ощущений разного рода и соответственных им представлений — складывается вся душевная жизнь, все ее состояния суть разные комплексы или ассоциации указанных элементов. Так, восприятие любой реальной вещи есть комплекс непосредственно данных ощущений, ассоциативно восполненный некоторыми представлениями. *Память*, вообще, есть совокупность представлений, ассоциативно возбуждаемых. *Фантазия* есть тоже своего рода память, но память, в которой представления комбинируются в новые комплексы под влиянием разных эмоций. *Внимание* есть господство в сознании определенной группы представлений, причем прочие представления ими вытесняются или угнетаются. Всякое *суждение* можно рассматривать как ассоциативную связь представлений, между которыми существует сознание отношения (сходства, различия и т.д.). *Эмоции* суть совокупности органических ощущений или соответствен-

ных им представлений, соединенные с сознанием удовольствия или страдания. *Понятия* могут быть определены как ассоциация слов с рядом сходных между собою представлений и т.д.

Что касается *воли*, то есть волевых действий и сознательных поступков, при которых наши движения обусловлены нашими представлениями, то ее надо понимать как постепенно развивающееся в опыте усложнение простых рефлекторных актов, первоначально бессознательных и прирожденных. Рефлекторное движение оставляет в сознании представление об этом движении, которое ассоциируется с ощущением того раздражения, которое вызвало этот рефлекс. Таким образом, при повторении вновь того же раздражения возникает и представление или воспоминание о прежнем движении, то есть движение перестает быть слепым. Эти представления о движениях входят далее в разнообразные ассоциации со всей совокупностью других представлений, и, таким образом, между ощущением или раздражением, с одной стороны, и движением — с другой, помещаются разнообразные опытные представления, оказывающие влияние на характер и направление самих движений, что и составляет сущность волевого акта, то есть действия, определяемого сознательными мотивами личного опыта.

Наконец, *психическая личность* понимается как комплекс психических явлений, наиболее устойчивый и постоянный среди смены других впечатлений. Он складывается, главным образом, из всегда сопутствующих нам ощущений нашего тела и собственных представлений. Единство этого комплекса, конечно, весьма относительное, так же как и других опытных комплексов, соответствующих представлениям прочих опытных вещей.

Такова общая схема учений ассоциативной психологии, которую мы здесь наметили лишь в самых общих чертах ввиду ее общеизвестности, но которая у представителей этого направления, особенно у *Дж.С.Милля, Бена, Спенсера, Рибо*, разработана самым широким и последовательным образом. Эта схема у *Спенсера* дополняется учением о наследственности, так что многие стадии в психической эво-

¹ Так рассуждает последовательный ассоцианизм (например, у *Эббингауза*). У других мы встречаем утверждение двух независимых видов ассоциаций, у *Спенсера* же — даже попытку свести ассоциации смежности к ассоциациям сходства (смежность в пространстве есть сходство мест).

люции переносятся из опыта данного индивидуума на опыт его предков. Кроме того, у того же *Спенсера*, а также у *Цигена*, *Рибо*, *Экснера* и других эта схема сливается легко с основными учениями нервной физиологии, в частности с учением о локализации разных психических явлений в отдельных участках большого мозга и о существовании между последними нервных проводников, развивающихся или делающихся проводимыми лишь под влиянием опыта (ассоциационные системы волокон).

Против этой-то ассоциационной и физиологической психологии и произошел ныне тот поворот, или кризис, о котором мы сказали выше. Посмотрим теперь, что выставляет новая психология против старого ассоцианизма, в чем она видит его недостатки и чем старается их возместить.

2. Психология В. Вундта

В. Вундт, главный основатель современной экспериментальной психологии, внес существенные поправки и дополнения к ассоцианизму. Можно даже сказать, что вся его деятельность как психолога была, главным образом, борьбой против крайностей этой теории. И эта критика явилась тем более важной, что в основе ее лежат не какие-нибудь априорные соображения, а те факты, с которыми *Вундт* постоянно встречался в разнообразных формах психологического эксперимента. Полное изложение его психологических учений слишком сложно, чтобы могло найти здесь место. Но мы должны вкратце охарактеризовать, во-первых, его новое, расширенное понятие об ассоциации, во-вторых, его учение об апперцепции как процессе, выполняющем ассоциацию.

Уже в первых своих экспериментальных работах, посвященных исследованию процессов чувственного восприятия (*“Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmungen”*, 1859—1862), *Вундт*, в то время еще ассистент физиологической лаборатории *Г.Гельмгольца*, пришел к выводу (близкому к воззрениям самого *Гельмгольца*), что наше восприятие чувственных вещей есть очень сложный психологический процесс, отнюдь не состоящий только из ощущений и репродуцированных представлений (воспоминаний бывших ощущений). Восприятия чувственных вещей, их перцепции, представляют слож-

ные психологические образования, в которых участвуют особые *синтезы ощущений*, дающие в результате совсем новые качества, в синтезируемых ощущениях еще не содержащиеся. Впоследствии *Вундт* стал называть такие процессы вообще творческими синтезами психики. Важнейшими продуктами такого психологического синтеза ощущений оказались пространственные перцепции, далее, перцепции временных рядов ощущений и др. Все они, по исследованиям *Вундта*, в качествах отдельных ощущений, нами получаемых, еще не содержатся, но, как сказано, возникают лишь в процессе психического синтеза этих качеств. Таким образом, была признана своеобразная психическая деятельность уже в чувственных восприятиях, в которых ассоцианисты видели только простые, пассивные ощущения.

Именно эти процессы психического синтеза, эти связи, вносимые в ощущения и представления самой психикой, *Вундт* и назвал ассоциациями, тогда как прежняя психология понимала под этим термином лишь временные последовательности в смене воспоминаний. Термин “ассоциация” получил, таким образом, у *Вундта* гораздо более широкое значение, а временная последовательность воспоминаний оказалась лишь одним из частных случаев этих синтезов, притом не первичным, а уже вторичным; первичными же являются ассоциации между самими ощущениями. Ассоциация означает у *Вундта* всякого рода психические синтезы, порождающие новые качества в комплексах как ощущений, так и представлений, как одновременных состояний, так и последовательных, как познавательных, так и эмоциональных психических явлений. Она для *Вундта* есть общее обозначение для всех вносимых от самого субъекта психических синтезов или связей между всякого рода душевными состояниями, в результате чего эти состояния обогащаются новыми качествами. Сюда подходит, следовательно, и все то, что *Джемс* ныне называет “переходными состояниями сознания”, а *Эббингауз* — интуитивными сознаниями отношений (сходства, различия, протяженности, временных отношений и т.д.). В этих синтезах, то есть сознаниях отношений или ассоциациях разного рода, обнаруживается, следовательно, особая психическая переработка данных извне ощущений. Психическая жизнь, таким обра-

зом, перестала быть лишь отражением, пассивным воспроизведением внешней действительности, но получила, даже в простых восприятиях, особую свою реальность, исследование закономерностей которой и является собственной задачей психологии. То, что в ассоцианизме было лишь внешней склейкой, внешним сложением, у *Вундта* оказалось жизненным психическим процессом.

Нет нужды здесь входить в подробное обсуждение отдельных видов этих синтезов, или ассоциаций у *Вундта* (слияние, ассимиляция, компликация, воспризнание, воспоминание), тем более что далеко не все установленные им формы, или виды, этих ассоциаций выдержали критику последующих исследований. К сказанному достаточно лишь прибавить, что тот случай ассоциации, который прежняя психология считала основным и даже единственным, то есть ассоциация представлений по смежности, в психологии *Вундта* оказался, напротив, весьма сложным процессом. Если, например, вид знакомого вызывает в нас воспоминание его имени, то, по *Вундту*, дело не просто в том, что в прежнем опыте два впечатления (зрительное и слуховое) были одновременно восприняты, а ныне прямо одно вызывает другое, как смежное. Этот процесс репродукции предполагает то, что 1) в прошлом нашем опыте одновременные впечатления синтезировались в некоторое *цельное* восприятие предмета (в данном случае нашего знакомого), 2) при новой встрече получаемое впечатление незнакомого человека быстро меняется благодаря отдельным чертам знакомого лица и вызывает неопределенное сначала, смутное *чувство знакомости* и 3) если это узнавание несколько задерживается почему-либо, если ассимиляция нового впечатления с прежним происходит не сразу, то возникает постепенная, последовательная ассимиляция, одним из моментов которой является *имя лица*. Иначе говоря, ассоциация смежности есть задержанный процесс узнавания.

Второе существенное дополнение, которое *Вундт* внес в психологию, есть его учение об апперцепции и об апперцептивных соединениях представлений как особых

процессах, существующих наряду с ассоциациями и ассоциативными сочетаниями. Для чистого ассоцианизма, который рассматривал психическую жизнь как агломерат отдельных идей, лишь хронологически сцепленных в ряды, всегда являлось крайне трудным объяснить, чем отличаются осмысленные связи представлений от их случайных ассоциаций. Для ассоцианиста это различие было различием лишь по внешним результатам, а не психологическим: осмысленной оказывается та ассоциация, которая соответствует внешней действительности, хотя по психологической природе она совершенно одинакова с любой случайной связью. Такой симплицизм делал непонятным психологическое отличие суждений от простых ассоциаций, мышления от вихря бредовых идей, случайного набора слов от осмысленной фразы, планомерного разрешения проблем от ряда бессвязных воспоминаний. Кроме того, ассоцианизм, обращая психическую жизнь в ряд наличных переживаний, лишь с натяжкой мог объяснить единство сознания. Сознание, понимаемое атомистически, обращалось в сумму переживаний, его единство оказывалось обусловленным лишь физиологическими причинами, от фактов мыслимых субъектом связей между его переживаниями независимым. Сознание оказывалось лишь общим отвлеченным термином, обозначающим сознаваемость всех отдельных переживаний как таковых, но само не составляло реального фактора психической жизни, не имело своей особой структуры и функций и не могло поэтому оказывать какое-нибудь влияние на ход и характер этой жизни. И этот симплицизм прежней психологии тоже делал для нее непонятными некоторые очевидные факты, в которых ясно проявляются особая структура сознания, его реакции на содержание переживаний, в частности факты внимания.

В восполнение этих недостатков *Вундт* и вводит в свою психологию, во-первых, особую функцию сознания — апперцепцию, во-вторых, особые, обусловленные ею апперцептивные сочетания представлений¹.

¹ Должно заметить, что сначала, пока Вундт был еще более физиологом, чем психологом, понятие апперцепции употреблялось им в довольно неопределенной и сомнительной форме, весьма напоминающей старое учение об особых “способностях” — силах, со всеми его метафизическими несуразностями. Позднее он усиленно перерабатывал свои воззрения для устранения этого недостатка. Мы имеем в виду, конечно, его современный взгляд.

Кроме появления и исчезновения чувствований и представлений мы сознаем в себе, говорит Вундт, более или менее ясно процесс, который называем вниманием. Этот процесс состоит в том, что известное психическое содержание из всех других присутствующих в сознании становится более ясным и отчетливым. Назовем фигурально область ясного сознания фиксационным его полем, или полем внимания. Вхождение известного психического содержания в это поле внимания и есть апперцепция этого содержания, тогда как простое появление его в сознании вообще есть лишь перцепция, или, точнее, перцепирование. Содержания апперцепируются, то есть привлекают наше внимание, прежде всего, теми чувствованиями, которыми они окрашены. Такие чувствования — удовольствия и неудовольствия, напряжения и возбуждения — проникают в фиксационную часть сознания раньше, чем соответственные им содержания представлений сливаются с чувствованиями удовольствия и неудовольствия, разрешения и успокоения, характеризующими самый процесс внимания, и определяют в совокупности состав представлений, заполняющих внимание. Охарактеризовать, то есть дать точный отчет в этих мотивах внимания, в каждом данном случае, точно указать характерные для каждого представления чувствования в большинстве случаев мы совершенно не в силах по огромной их сложности. В ассоциативно воспроизводимых представлениях каждое следующее звено определяется однозначно предыдущим, в апперцептивных же последовательностях есть, конечно, тоже причинная закономерность, но здесь участвует и влияет *вся совокупность* того, что было вообще пережито данным индивидуумом, вся предшествующая история его развития, которую в каждом частном случае совершенно невозможно точно проанализировать. Апперцептивный процесс обусловлен всей индивидуальностью, в нем выражается вся психическая личность.

Должно различать два вида, или типа, апперцепции: новое содержание или внезапно для нас вступает в фиксационное поле сознания, или мы уже прежде этого вступления сознаем мотивы нашего внимания, между собою конкурирующие. Первый случай можно назвать импульсивной (пассивной) апперцепцией, второй — волевой, активной.

Первая соответствует действиям по влечению, вторая — произвольным действиям, в которых борются разные мотивы. И *Вундт* тем легче мог сблизить понятия апперцепции и воли, что для него и внешний волевой акт есть тоже, в сущности, не что иное, как апперцепция, именно апперцепция будущего действия или движения, за которой следует само реальное движение. Эту свою эмоциональную (аффективную) теорию воли *Вундт* противопоставляет интеллектуалистическим объяснениям, в которых воля строится из представлений (например, моторных, кинестетических). В основе воли лежат импульсивные чувствования или, точнее, ряды их, слитые в цельные комплексы. Такие комплексы импульсивных влечений *Вундт* называет аффектами. Воля, говорит он, не есть какая-нибудь первичная, и, однако, специфичная энергия сознания. Она не первична, ибо состоит из таких же элементов чувствований и представлений, как и другие факты в сознании. Но она специфична в том смысле, что соединения этих элементов в аффекты, влечения столь же своеобразны, как и соединения их в другие своеобразные, например, ассоциативные, сочетания. Иначе говоря, состав волевых процессов сложен, но этот состав — в смысле процесса — вполне типичен, своеобразен и несводим, например, к процессам ассоциации.

Ассоциативные сочетания представлений, как мы видели, суть пассивные переживания. Они могут являться мотивами для воли, но сами слагаются без ее участия, автоматически. Но есть другие сочетания представлений, которые возникают из процесса апперцепции, волевого по существу. Своеобразной чертой таких особых, апперцептивных сочетаний является кроме их активного характера то, что они тоже, как и сама апперцепция, обусловлены особыми сложными чувствованиями, именно чувствованиями общего единства или общего смысла в ряде частей. Эти чувствования как бы витают над цельностью данного состава представлений, и им соответствуют особые цельные представления, представления цельного смысла (*Gesamtvorstellungen*). Возьмем какой-нибудь ряд чисто ассоциационный (например, бессвязный ряд слов, первых пришедших в голову, — школа, сад, дом, твердый, мягкий, длинный, видеть и т.д.) и другой ряд в виде какой-нибудь осмысленной фразы (например, из Гете: “Весна пришла во всей сво-

ей красе, ранняя гроза прогремела в горах” и т.д.). Чем, спрашивается, различаются психологически эти два ряда? Недостаточно просто сказать, что первый ряд есть случайный набор слов, а второй имеет сам по себе смысл. Ибо случайность первого лишь кажущаяся, его происхождение было закономерно обусловлено ассоциациями. Осмысленность же второго ряда может и отсутствовать, например, для ребенка, который выучивает его просто на память. Притом и в этом втором ряде даже для понимающего его действуют тоже отчасти и ассоциативные связи. Но суть различия действительно в том, что для субъекта, понимающего вторую фразу, в ней есть кое-что, кроме ассоциаций. Именно у писателя, когда он составлял ее, должно было заранее предшествовать отдельным ее словам некоторое цельное общее представление, хотя бы еще и неопределенное. Это цельное и определило ход фразы. Для нас как читателей этой фразы этого цельного при начале ее прочтения, правда, еще не имеется, мы имеем лишь устремленное на целое чувство ожидания. Но и это ожидание достаточно для того, чтобы восприятие постепенно выясняющихся для нас частей фразы направлялось апперцептивно к получению этого цельного представления в конце прочтения фразы. В первом же ряде слов, чисто ассоциативном, это общее сочетание вообще отсутствует. В нем нет общей связности мысли, он похож на кучу камней, из которых можно построить дом, но для этого нужен кроме камней еще и общий план. Итак, суть осмысленной фразы состоит в особом соединении многого в субъективное единство, в особое общее сочетание частей, которое характерно для апперцептивных связей в их отличии от ассоциативных.

Такие и подобные им апперцептивные сочетания представлений возникают, как сказано, под влиянием воли или внимания. Они в известном смысле основываются на ассоциациях (поскольку и в последних уже даны разные отношения между представлениями), но, однако, не могут быть вполне сведены к этим последним, ибо в апперцептивных сочетаниях сами эти отношения становятся отдельными, самостоятельными содержаниями для сознания, стоящими наряду с содержаниями соотносящихся, или ассоциированных, представлений. Эти сознания отношений оказываются, таким образом, выделенными в

сознании формами мысли, а представление для них — лишь материалом. Развитие таких форм и составляет всю высшую душевную жизнь, которая в обиходной психологии называется деятельностью рассудка, фантазии и других способностей. Но все это, в сущности, лишь различные виды апперцептивных сочетаний.<...>

3. Психология У.Джемса

Другой психолог, воззрения которого оказали такое же сильное влияние на современную науку о душе, как и учения *В.Вундта*, есть *У.Джемс*. Он, как и *Вундт*, является реформатором современной психологии, и так же, как у *Вундта*, эта реформа направлена, главным образом, против ассоцианизма, против психологии *А.Бена* и *Г.Спенсера*. Но если сила *Вундта* состоит в построении некоторой системы новой психологии, в точном и последовательном проведении в ней основных начал, *Джемс* прежде всего повлиял на современную психологию необычайным мастерством в описании отдельных групп психических фактов, во всей их жизненности и непосредственности, помимо всяких теорий и искусственных построений. Он точно открыл современным психологам глаза на эту своеобразную психическую действительность, обратил нас к непосредственному опыту, показав все его неисчерпаемое богатство, которое было до тех пор закрыто теоретическими построениями. У многих после появления “Принципов психологии” *Джемса* (1890) точно спала какая-то повязка с глаз, и мы, так сказать, лицом к лицу встретились с этой непосредственной психической жизнью. Это влияние *Джемса* можно сравнить со струей свежего воздуха, которая вдруг ворвалась через открытое окно в душную комнату, перепутывая бумаги на столе и внося в мертвенную тишину теорий хаос и яркость реальной жизни.

Главным предметом ассоциационной психологии всегда было выяснение сложного состава наших идей о внешнем мире. Она видела свою задачу в том, чтобы показать, как простые идеи, соединяясь друг с другом через ассоциацию, составляют все содержание нашего знания о внешнем мире. А так как для эмпириста внешний мир есть лишь явление в сознании и совпадает со сферой

доступного нам опыта, то задача ассоциационной психологии получила следующее значение: показать, как из простых идей строится для нас картина действительного мира или, если угодно, сам действительный мир как опытный объект. В противоположность этому *Джемса* интересует не сходство между нашими идеями и действительностью, а, напротив, своеобразие и отличие фактов сознания от внешней действительности, предметом его психологических описаний является психика в ее отличиях от внешней действительности, психические переживания как таковые, помимо их реальной значимости для познания окружающей нас действительности. Он стоит в психологии на точке зрения дуализма: есть внешний материальный мир, или окружающая нас среда, и есть своеобразная психическая жизнь в нас, обусловленная отчасти этой средой, но тем не менее существенно отличная от нее. Изучение этих отличий, этого своеобразия и есть прежде всего предмет психологии. Психологическая точка зрения состоит в том, чтобы видеть в наших идеях и вообще переживаниях не то, что в них соответствует действительности, а то, что в них отлично от этой действительности, смотреть на них не как на показатели этой действительности, а именно как на наши душевные и субъективные переживания во всей их конкретной и субъективной особенности. Психолога интересует, как искажается действительность в ее субъективном переживании. Согласно с этим *Джемс* выдвигает соответствия психики не с внешним миром, как ассоцианисты, а гораздо более с субъективными физиологическими и биологическими особенностями того организма, которому принадлежит данная психическая жизнь.

Психическая жизнь есть сплошной ряд последовательно переживаемых нами качествностей, то, что *Джемс* фигурально называет *потоком сознания*. Этим сравнением он прежде всего хочет обозначить ту особен-

ность психики, которую *Вундт* именует актуальностью души, то есть то, что душевные явления — ощущения, представления, мысли, желания, чувствования — суть не какие-нибудь сохраняющиеся вещи, а лишь процессы, постоянно сменяющие друг друга состояния. Если даже тот же самый внешний предмет вторично нами воспринимается, то новое переживание его не может никогда вполне быть сходным с предыдущим восприятием, ибо в каждое психическое переживание включено влияние всей предыдущей психической жизни данного индивидуума, и, следовательно, психический поток никогда не представляет полного возвращения к пережитому, он есть всегда нечто, отчасти по крайней мере, новое, еще не бывшее. Уже это обстоятельство делает невозможным воззрение на психическую жизнь как на перетасовки и ассоциации одних и тех же сохраняющихся идей, как то было в ассоциационной психологии. Ассоцианизм ложно гипостазировывает наши переживания или представления, обращает их в вещи, тогда как в действительности они суть только процессы. Но этого мало. Как мы сказали, психическая жизнь есть постоянная смена качествностей. Это значит, что каждое переживание, как таковое, как психический факт, есть нечто простое, некоторое неделимое качество. Любое восприятие, например, этого листа бумаги сложно в том смысле, что оно зависит от разных органов чувств: от глаза и его зрения, от кожи и ее осязания и т.п., но, как психический факт, в смысле его содержания, оно есть лишь некоторая простая качествность, и, если бы я ничего не знал заранее о своем глазе и коже, не испытывал раньше по отдельности зрительных и осязательных качеств, я столь же мало мог бы отделить в восприятии листа белой бумаги осязательные элементы от зрительных, как не может во вкусе лимонада отделить кислоты от сладости тот, кто раньше не испытал по отдельности вкуса сахара и вкуса лимона¹.

¹ Это учение *Джемса* о чисто качественном составе наших переживаний и о неповторяемости их вполне усвоил в последнее время *А.Бергсон*, и его учение о “реальном времени” психической жизни есть лишь повторение воззрений *Джемса*. Но *Бергсон* основательно дополнил это учение *Джемса* тем, что признал в нашей психике еще другую сторону или другой аспект, обращенный к познанию внешнего мира с его повторяющимися качествами, с его количественными отношениями, с его математическим временем и т.д. Ибо если вместе с *Джемсом* признать лишь первый аспект, то совершенно необъяснимым будет то, как мы можем нашей лишь качественной психикой познать мир количеств, да и сама психология, если психические явления суть лишь неповторяющиеся оригиналы, будет невозможна как наука: перед ней будет лишь беспредельное число совершенно несравнимых объектов, которых невозможно даже описать ввиду того, что каждый из них есть в полном смысле слова *unicum*.

Эта постоянная смена разных качеств, составляющая поток нашего сознания, представляет, однако, цельный и непрерывный ряд благодаря тому, что все эти качества связаны между собой сознанием отношений — пространственных, временных сходств, различий и т.д. Эти сознания отношения *Джемс* называет переходными состояниями в том именно смысле, что они зависят и по своему возникновению и по своему содержанию от связываемых ими устойчивых состояний. Недостаточное исследование этих переходных состояний есть, по его мнению, главный недостаток ассоциационной психологии (упрек вряд ли верный, ибо, не говоря уже о *Г.Спенсере*, который посвятил много внимания этим переходным ощущениям отношений, мы находим у *Д.Юма* весьма разработанную теорию этой стороны сознания). Наконец, характерной чертой нашего потока сознания надо признать его селективность, то есть то, что в нем всегда имеет место подбор или отбор известных состояний и отклонение, угнетение других. Психические содержания не все имеют для нас одинаковое значение, но один важнее, интереснее, ценнее для нас, а другие менее ценны, менее значительны. Первые выделяются, вторые отступают на задний план, первые имеют для нас большую действительность, вторые — меньшую. Сознание в этом смысле может быть сравнено с полем зрения, в котором лишь фиксируемая часть видится нами ясно, а остальное — смутно и неопределенно. Или мы можем сравнить его с положением человека, окруженного густым туманом, в котором выступают для него лишь ближайшие (более интересные) предметы, а более далекие (менее интересные) постепенно и неопределенно уходят в туман, так что нельзя даже определить, где кончается граница их видимости и что находится на этом пределе. Этот селективный характер потока сознания распространяет свое влияние решительно на все наши переживания и придает им тот глубоко своеобразный и субъективный оттенок, который резко отличает их от всякого внешнего бытия, в котором все вещи имеют одинаковую степень реальности.

Итак, для ассоциационной психологии отдельные представления являлись теми душевными атомами, из которых она слагала сознание как их сумму, для *Джемса* же

первичным фактом является поток сознания как некоторая психическая реальность, отдельные же переживания суть только мимолетные состояния этого живого процесса; для ассоциационной психологии все эти переживания существуют, так сказать, на одной плоскости, для *Джемса* же иные из них выдаются, как заметные вершины в общем потоке, а другие теряются в глубине и полумраке; для первой сознание есть дискретная множественность сложных образований, для второго оно есть сплошной ряд чистых качеств; для первой отдельные представления внешним образом прижимают друг к другу, следуют лишь во времени друг за другом, для *Джемса* же каждое следующее переживание, так сказать, впитывает в себя предыдущее, получает от предыдущего особый оттенок, так что психика становится внутренним образом все содержательнее и индивидуально своеобразнее.

Столь же глубоко противоположны воззрения *Джемса* учениям ассоцианистов и во всех почти частных вопросах психологии. Не входя здесь в слишком большие подробности, укажем еще лишь на два из этих вопросов, именно, на его отношение к теории психофизического параллелизма и к теории психической эволюции. Ассоциационная психология, видящая в психических закономерностях прежде всего ассоциацию смежности, склонялась всегда, уже с самого начала своего, к мысли, что психические закономерности имеют вторичный характер, представляют лишь отражение в сознании первичных закономерностей внешней природы. Она всегда была склонна рассматривать психическую жизнь лишь как эпифеномен реального мира, как отражение этого реального мира в зеркале сознания. А с тех пор, как она вступила в тесное общение с физиологией, что произошло у *Спенсера*, а затем было дальнейшим образом развито *Т.Цигеном*, *Г.Эббингаузом* и многими другими, в ней окончательно укрепился принцип, что последовательность психических явлений зависит от последовательности физиологических явлений в мозге. Эти последние представляют реальные причинные связи, и психика на них никакого влияния оказать не может. Следовательно, и движения и действия человека и животных, рассматриваемые с физической стороны, представ-

ляют движение физических автоматов, и если бы сознание совсем угасло в них, их действия остались бы прежними. Эта “теория автомата” <...> нашла в *Джемсе* сильного противника. Он признает научную привлекательность таких воззрений, но полагает, что вероятность и практическая очевидность в отдельных случаях энергически свидетельствуют против попытки объяснить все наши действия чисто механически. Если бы сознание не оказывало никакого влияния на организм, было бы непонятно, почему оно могло развиваться в процессе эволюции и постепенно совершенствоваться вместе с развитием животных видов. Эволюция психической жизни доказывает, что последняя биологически полезна, то есть влияет как-то на физиологические процессы в организме. Она, по всей вероятности, играет роль избирательного принципа, в частности, сознание неудовольствия или боли должно влиять задерживающим образом на те движения и действия, которые вызвали это чувство, должно их угнетать или останавливать.

Существенно отличаются воззрения *Джемса* от взглядов ассоцианистов и на тот эволюционный процесс, с помощью которого образовались врожденные формы сознания. *Джемс*, как и *Спенсер*, полагает, что то, что является ныне врожденным (априорным) для индивидуального сознания, — инстинкты, логические формы мышления, сложный состав пространственных представлений и т.п. — есть результат наследственности от предыдущих поколений, для которых эти априорные формы были индивидуальным приобретением. Но процесс этого первоначального приобретения *Джемс* представляет иначе, чем *Спенсер* и ассоцианисты вообще. Для *Спенсера* оно явилось прямым приспособлением психики к окружающей среде: образовавшиеся при таком приспособлении ассоциации стали постепенно от бесчисленных повторений наследственными, причем лишь те организмы, которые имели правильные, то есть биологически полезные, ассоциации, могли выживать в этой борьбе за существование. Соответственно тому, согласно *Спенсеру*, психологический анализ состава нашей современной психики может показать нам и весь старинный процесс ее происхождения и развития.

Джемс, напротив, признает более правильной теорию *А.Вейсмана*, согласно которой индивидуальный опыт вообще не наследуется. Он не считает возможным в составе нашей психики открыть условия ее происхождения, ибо этими условиями были реальные физиологические факторы, необъяснимые ассоциационно. Способ, которым мы ныне познаем сложные объекты, вовсе не должен непременно напоминать тот способ, которым возникли первоначально элементы познания и инстинктов. *Джемс* именно полагает, что эти элементы не были прямым приспособлением психики к окружающей среде, а возникли из подбора первоначально случайных физиологических особенностей, прокинувшихся в зародышевой плазме или в природных особенностях нервной системы данного индивида, но которые, оказавшись затем полезными, подверглись отбору в борьбе за существование. По-видимому, говорит он, высшие эстетические, нравственные, умственные стороны нашей жизни возникли первоначально из воздействий побочного, случайного характера окружающей среды на зародышевую плазму, на ее молекулярное строение, проникли в наш мозг не по парадной лестнице, не через воздействие этой среды на органы чувств, а по черной лестнице эмбриологии, зародились в известном смысле не извне, а внутри дома. Но, оказавшись полезными в борьбе за существование, то есть дав тем индивидуумам, в которых они случайно прокинулись, лишние шансы жизни, они укрепились этим отбором.

Таким образом, для *Джемса* эти наследственные формы психики являются первоначально случайными идиосинкразиями и, следовательно, подлежат уже не психологическому, через ассоциации, объяснению, но лишь физиологическому или эмбриологическому.

4. Психология актов или функций

В своих последних обзорах годовых итогов психологии (за 1910 и 1911 гг.) *А.Бине*, один из самых проникательных, беспристрастных и тонких психологов нашего времени, усиленно обращает внимание на непрерывно растущий ряд новых исследований мышления без образов. Исследования эти, в которых сам *Бине* явился деятельным участником своими

работами “О психологии знаменитых счетчиков и игроков в шахматы” (1894) и “Экспериментальное изучение ума” (1903), состоят, вообще говоря, в возможно точнейшем субъективном наблюдении наших переживаний, когда мы размышляем о каком-нибудь вопросе или предмете. Такие исследования производятся обыкновенно вдвоем: “экспериментатор” задает “наблюдателю” какой-нибудь вопрос (например: “Что вы думаете делать завтра?”), а наблюдатель, ответив на вопрос (например: “Я предполагаю завтра уехать на дачу”), должен затем немедленно точно описать все свои переживания, которые испытал в этом опыте. При таких опытах обнаружилось то замечательное обстоятельство, что процесс мышления идет совершенно определенно и точно к своей цели, а отдать себе отчет, что мы при этом переживаем, крайне трудно; лишь какие-то обрывки образов мелькают в сознании (например, при словах “завтра”, “уеду”, “на дачу” и т.п.), а часто даже не обрывки образов, а неопределенные чувствования (ожидания, внимания, удивления, успокоения и пр.). *Процесс* мышления, твердый и целесообразный сам по себе, очевидно, не исчерпывается этими случайными и эскизными содержаниями, промелькнувшими в сознании, и не состоит из них; эти образы (включая и словесные), скорее, суррогаты мышления, чем его действительная природа. Иначе говоря, в нашем мышлении есть что-то иное, кроме содержания образов и представлений слов, это процесс, не исчерпывающийся подобными содержаниями сенсорного характера. Недавно было доказано, например, что возможно ожидать какое-нибудь событие, даже вполне определенное, не имея, однако, вовсе образа этого события: этот образ, значит, не составляет природы нашего ожидания. Равно возможно узнавать предмет, вовсе не относя его к прежнему опыту, узнавание вовсе не есть сравнение двух образов — настоящего и прошлого. Возможно также чувствовать, что какое-нибудь слово не подходит к данному случаю, что рассуждение ошибочно, что данное предположение невероятно, что какой-нибудь поступок скверен, не совершая при этом никаких определенных форм суждения и не отдавая себе отчета в мотивах таких оценок. *Джемс* называл такие

неопределенные факты, несводимые к содержанию образов и слов, “обертонами сознания”, сливающимися в какой-то общий “тембр данной мысли”.

Все эти новые экспериментальные исследования мысли, которые мы лишь вкратце упоминаем здесь (исследования *К.Марбе*, *Н.Аха*, *Г.Уатта*, *А.Мессера*, *К.Бюлера*, *Р.Вудвортса*, *Г.Штерринга*, *Астера*, *Дюра*, *Бове*, *А.Лука*, *Абрамовского* и др.), вместе с прежними исследованиями самого *А.Бине* относительно процессов счета у знаменитых счетчиков, процессов игры *à l’aveugle* у шахматистов и представлений смысла слов и фраз у детей и взрослых приводят к общему заключению, что ходячая психологическая теория о том, что мысль есть только совокупность образов (зрительных, слуховых, осязательных, двигательных), должна быть отвергнута. Эта теория была лишь сенсуалистическим предрассудком, фиктивной конструкцией ассоциационной психологии, которая разрушается ныне показаниями более точного психологического наблюдения. Мышление не есть только последовательный ряд образов: эти образы являются лишь значками, отдельными светлыми пунктами в каком-то психологическом процессе нечувственного характера, и этот процесс должен быть отличаться от таких содержаний.

Изложенные воззрения *Бине* являются, однако, лишь частью гораздо более обширного течения в современной психологии, которое в совокупности можно назвать *функциональной*, или *актуальной* психологией. Если ассоциационная психология сводила все психические процессы к ассоциациям представлений и, вообще, содержаний сознания, то указанное направление считает это невозможным. Кроме ассоциаций оно признает целый ряд других психических актов или функций, содержание же сознания считает лишь материалом для этих функций. Соответственно тому и задача психологии определяется, как 1) анализ содержаний сознания, 2) изучение функций сознания. Эти акты, однако, разные психологи понимают и определяют весьма различно. Одно из направлений, пользующееся ныне широким распространением, ведет свое начало от австрийского психолога *Брентано*, получило более точную формулировку у *Гуссерля*, *Мейнонга* и *Штумпфа*,

разделяется *Витасеком, Мессером, Бюлером, Ахом* и многими другими. *Ф.Брентано* (“Психология с эмпирической точки зрения”, 1874) доказывал, что *суждения* вовсе не суть ассоциации представлений, но что в них есть нечто вполне своеобразное, именно утверждение или отрицание, относящееся не к фактам сознания, то есть не к представлениям, но к их объектам, к самой действительности, которая подразумевается в суждении и составляет его действительный смысл. Если, например, представление “небо” вызывает по ассоциации представление “голубого цвета”, это есть хронологическая последовательность (или, допустим даже, одновременность) двух представлений, но здесь нет еще вовсе суждения “небо — голубого цвета”. Эта последняя связь относится к чему-то трансцендентному нашим представлениям, к действительному (или хотя бы воображаемому) *предмету, и является* связью особого рода, отличной от простой ассоциации. Такой *объективный смысл* суждений *Брентано* называет *интенцией*, интенциональным актом, то есть направленностью нашей мысли на некоторый объект, вне нашей мысли находящийся и мыслимый нами в данном представлении.

Э.Гуссерль и *А.Мейнонг* основали на этом целую теорию познания. Сущность этой теории состоит в утверждении, что ощущения и представления, а также и чувствования и желания лишь содержание или *материал*, но в этих ощущениях и представлениях мы мыслим самые объекты, и к ним, а не представлениям относятся и наши чувствования и желания. Это составляет *смысл* или объективное значение наших ощущений, представлений и желаний. Когда я воспринимаю белый цвет этой бумаги, или, когда мыслю, что $2 \times 2 = 4$, или когда желаю взять этот предмет, ощущение белого цвета получает объективное значение, моя мысль относится мною не к представлениям в моем сознании, а к действительной математической истине, мое желание имеет тоже объективный, интенциональный смысл. Все это суть особого рода интенциональные акты — познавательные, эмоциональные, волевые, в которых во всех есть особое признание, или верование в их объективное значение. Эти акты как таковые не имеют

сами по себе чувственного характера, они не могут быть разложены на ощущения и представления, они составляют особые психические функции, отличные от *содержания* сознания.

Таким образом, наряду с изучением чувственного содержания сознания, которым занималась ассоциационная и сенсуалистическая психология, возникает новая задача — изучить и описать эти функции или акты, составляющие структуру сознания. Подобные же по существу дела воззрения выставил и *К.Штумпф* в своей статье “Психические явления и функции”. Он называет *явлениями* содержания сознания — ощущения, представления, отдельные чувствования и т.п. — и отличает от них *функции* сознания — замечание явлений, их соединение в комплексы, образование понятий, восприятие объектов и суждение, душевные движения и желания. Эти функции сознания мы должны отличать от явлений или содержания сознания, ибо функция может быть одной и той же при разных содержаниях, как и одно и то же содержание сознания может являться материалом для разных функций. Такие же воззрения находим мы и у *Т.Линнса*, тоже отличающего содержание сознания от его актов. И у многих из современных американских психологов встречаются подобные же учения, например, *М.Калкинс* различает *структуральную* психологию, анализирующую содержание сознания (ощущения, представления, чувствования и т.п.), и *функциональную*, изучающую психические отправления. Особенное развитие получили эти взгляды в так называемой Вюрцбургской школе, в исследованиях *Мессера, Уатта, Аха* и других.

Заметим, однако, в заключение этого очерка, что понятие акта или функции толкуется разными представителями этого направления далеко не одинаково. Некоторые полагают, что функции сами по себе непосредственно не сознаются нами, сознаются же только содержания или явления, другие утверждают сознательность самих актов. Иные считают сознательными лишь эмоциональные акты, а умственные — предположениями научной гипотезы, другие признают и те и другие сознательными. *Линнс* оттеняет активный их характер в противоположность *пассивному* или рецептивному характеру явления. *Штумпф* —

функциональный в противоположность содержанию явлений. Бине видит в этих актах вообще *моторные* приспособления и называет их *les attitudes*, позами, готовностями (к движению). Умственная готовность (*attitude*), говорит он, кажется вполне подобной физической готовности, это — подготовка к акту, эскиз действия, оставшийся внутри нас и сознаваемый через те субъективные ощущения, которые его сопровождают. Предположим, что мы готовы к нападению, нападение не состоит только в действительных движениях и ударах, в его состав входят также известные нервные действия, определяющие ряд актов нападения и производящие их; устраним теперь внешние мускульные эффекты, останется готовность, останутся все нервные и психические предрасположения к нападению, в действительности не осуществив-

шемуся; такой готовый, наступающий жест и есть готовность (*attitude*). Она есть двигательный факт, следовательно, центробежный. Можно сказать с некоторым преувеличением, что вся психическая жизнь зависит от этой остановки реальных движений, действительные действия тогда замещаются действиями в возможности, готовностями.

Не входя здесь в критику всех этих учений, заметим только, что понятие психического акта вообще должно быть так определено, чтобы оно не повело нас назад, к старому и бесплодному учению о психических способностях, и вообще не заключало в себе ничего метафизического. Весьма возможно, однако, что в таком случае это понятие отождествится просто с понятием психического процесса, то есть закономерности в ряде психических содержаний.

Л.С.Выготский

[ПРИЧИНЫ КРИЗИСА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ]¹

Основная суть вопроса остается той же везде и сводится к двум положениям.

1. Эмпиризм в психологии на деле исходил столь же стихийно из идеалистических предпосылок, как естествознание — из материалистических, т. е. эмпирическая психология была идеалистической в основе.

2. В эпоху кризиса эмпиризм по некоторым причинам раздвоился на идеалистическую и материалистическую психологии <...>. Различие слов поясняет и Мюнстерберг как единство смысла: мы можем наряду с каузальной психологией говорить об интенциональной психологии, или о психологии духа наряду с психологией сознания, или о психологии понимания наряду с объяснительной психологией. Принципиальное значение имеет лишь то обстоятельство, что мы признаем двоякого рода психологию². Еще в другом месте Мюнстерберг противопоставляет психологию содержания сознания и психологию духа, или психологию содержаний и психологию актов, или психологию ощущений и интенциональную психологию.

В сущности, мы пришли к давно установившемуся в нашей науке мнению о глубокой двойственности ее, пронизывающей все ее развитие, и, таким образом, примкнули к бесспорному историческому поло-

жению. В наши задачи не входит история науки, и мы можем оставить в стороне вопрос об исторических корнях двойственности и ограничиться ссылкой на этот факт и выяснением *ближайших причин*, приведших к обострению и разъединению двойственности в кризисе. Это, в сущности, тот же факт тяготения психологии к двум полюсам, то же внутреннее наличие в ней “психотелеологии” и “психобиологии”, которое Дессуар назвал пением в два голоса современной психологии и которое, по его мнению, никогда не замолкнет в ней.

Мы должны теперь кратко остановиться на ближайших причинах кризиса или на его движущих силах.

Что толкает к кризису, к разрыву и что *переживает* его пассивно, только как неизбежное зло? Разумеется, мы остановимся лишь на движущих силах, лежащих *внутри* нашей науки, оставляя все другие в стороне. Мы имеем право так сделать, потому что внешние — социальные и идейные — причины и явления представлены так или иначе, в конечном счете, силами внутри науки и действуют в виде этих последних. Поэтому наше намерение есть анализ ближайших причин, лежащих в науке, и отказ от более глубокого анализа.

Скажем сразу: *развитие прикладной психологии во всем ее объеме — главная движущая сила кризиса в его последней фазе.*

Отношение академической психологии к прикладной до сих пор остается полупрезрительным, как к полуточной науке. Не все благополучно в этой области психологии — спору нет; но уже сейчас даже для наблюдателя по верхам, т.е. для методолога, нет никакого сомнения в том, что ведущая роль в развитии нашей науки сейчас принадлежит прикладной психологии: в ней представлено все прогрессивное, здоровое, с зерном будущего, что есть в психологии; она дает лучшие методологические работы. Представление о смысле происходящего и возможности реальной психологии можно составить себе только из изучения этой области.

Центр в истории науки передвинулся; то, что было на периферии, стало оп-

¹Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса// Собр. соч.: В 6 т. М.: Педагогика, 1982—1984. Т. 1. С.386—389.

²Мюнстерберг Г. Основы психотехники. М., 1922. Ч. I. С. 10.

ределяющей точкой круга. Как и о философии, отвергнутой эмпиризмом, так и о прикладной психологии можно сказать: камень, который презрели строители, стал во главу угла.

Три момента объясняют сказанное. Первый — *практика*. Здесь (через психотехнику, психиатрию, детскую психологию, криминальную психологию) психология *впервые* столкнулась с высокоорганизованной практикой — промышленной, воспитательной, политической, военной. Это прикосновение заставляет психологию перестроить свои принципы так, чтобы они выдержали высшее испытание практикой. Она заставляет усвоить и ввести в науку огромные, накопленные тысячелетиями запасы практически-психологического опыта и навыков, потому что и церковь, и военное дело, и политика, и промышленность, поскольку они сознательно регулировали и организовывали психику, имеют в основе научно неупорядоченный, но огромный психологический опыт. (Всякий психолог испытал на себе перестраивающее влияние прикладной науки.) Она для развития психологии сыграет ту же роль, что медицина для анатомии и физиологии и техника для физических наук. Нельзя преувеличивать значение новой практической психологии для *всей* науки; психолог мог бы сложить ей гимн.

Психология, которая призвана практикой подтвердить истинность своего мышления, которая стремится не столько объяснить психику, сколько понять ее и овладеть ею, ставит в принципиально иное отношение практические дисциплины во всем строе науки, чем прежняя психология. Там практика была колонией теории, во всем зависимой от метрополии; теория от практики не зависела нисколько; практика была выводом, приложением, вообще выходом за пределы науки, операцией занавучной, посленаучной, начинавшейся там, где научная операция считалась законченной. Успех или неуспех практически нисколько не отражался на судьбе теории. Теперь положение обратное; практика входит в глубочайшие основы научной операции и перестраивает ее с начала до конца; практика выдвигает постановку задач и служит верховным судом теории, критерием истины; она диктует, как конструировать понятия и как формулировать законы.

Это переводит нас прямо *ко второму моменту* — к методологии. Как это ни странно и ни парадоксально на первый взгляд, но именно практика, как конструктивный принцип науки, требует философии, т. е. методологии науки. Этому нисколько не противоречит то легкомысленное, “беззаботное”, по слову Мюнстерберга, отношение психотехники к своим принципам; на деле и практика, и методология психотехники часто паразитически беспомощны, слабосильны, поверхностны, иногда смехотворны. Диагнозы психотехники ничего не говорят и напоминают размышления мольеровских лекарей о медицине; ее методология изобретается всякий раз *ad hoc*, и ей недостает критического вкуса; ее часто называют дачной психологией, т. е. облегченной, временной, полусерьезной. Все это так. Но это нисколько не меняет того принципиального положения дела, что именно она, эта психология, создает железную методологию. Как говорит Мюнстерберг, не только в общей части, но и при рассмотрении специальных вопросов мы принуждены будем всякий раз возвращаться к исследованию принципов психотехники (1922. С. 6).

Поэтому я и утверждаю: несмотря на то что она себя не раз компрометировала, *что ее практическое значение очень близко к нулю, а теория часто смехотворна, ее методологическое значение огромно*. Принцип практики и философии — еще раз — тот камень, который презрели строители и который стал во главу угла. В этом весь смысл кризиса.

Л. Бинсвангер говорит, что не от логики, гносеологии или метафизики ожидаем мы решения самого общего вопроса — вопроса вопросов всей психологии, проблемы, включающей в себя проблемы психологии, — о субъективирующей и объективирующей психологии, — но от методологии, т. е. учения о научном методе. Мы сказали бы: от методологии психотехники, т. е. от *философии практики*. Сколь ни очевидно ничтожна практическая и теоретическая цена измерительной шкалы Бине или других психотехнических испытаний, сколь ни плох сам по себе тест, как идея, как методологический принцип, как задача, как перспектива это огромно. Сложнейшие противоречия психологической методологии

переносятся на почву практики и только здесь могут получить свое разрешение. Здесь спор перестает быть бесплодным, он получает конец. Метод — значит путь, мы понимаем его как средство познания; но путь во всех точках определен целью, куда он ведет. Поэтому практика перестраивает всю методологию науки.

Третий момент реформирующей роли психотехники может быть понят из двух первых. Это то, что психотехника *есть односторонняя* психология, она толкает к разрыву и оформляет реальную психологию. За границы идеалистической психологии переходит и психиатрия: чтобы лечить и излечить, нельзя опираться на интроспекцию; едва ли вообще можно до большего абсурда довести эту идею, чем приложив ее к психиатрии. Психотехника, как отметил И.Н.Шпильрейн, тоже осознала, что не может отделить психологических функций от физиологических, и ищет целостного понятия. Я писал об учителях (от которых психологи требуют вдохновения), что едва ли хоть один из них доверил бы управление кораблем вдохновению капитана и руководство фабрикой — воодушевлению инженера: каждый выбрал бы ученого моряка и опытного техника. И вот эти высшие требования, которые вообще только и могут быть предъявлены к науке, высшая серьезность практики будут живительны для психологии. Промышленность и войско, воспитание и лечение оживят и реформируют науку. Для отбора вагоновожатых не годится эйдетическая психология Гуссерля, которой нет дела до истины ее утверждений, для это-

го не годится и созерцание сущностей, даже ценности ее не интересуют. Все это нимало не страшит ее от катастрофы. Не Шекспир в понятиях, как для Дильтея, есть цель такой психологии, но *психотехника — в одном слове*, т.е. научная теория, которая привела бы к подчинению и овладению психикой, к искусственному управлению поведением.

И вот Мюнстерберг, этот воинствующий идеалист, закладывает основы психотехники, т.е. материалистической в высшем смысле психологии. Штерн, не меньший энтузиаст идеализма, разрабатывает методологию дифференциальной психологии и с убийственной силой обнаруживает несостоятельность идеалистической психологии.

Как же могло случиться, что крайние идеалисты работают на материализм? Это показывает, как глубоко и объективно необходимо заложены в развитии психологии обе борющиеся тенденции; как мало они совпадают с тем, что психолог сам говорит о себе, т.е. с субъективными философскими убеждениями; как невыразимо сложна картина кризиса; в каких смешанных формах встречаются обе тенденции; какими изломанными, неожиданными, парадоксальными зигзагами проходит линия фронта в психологии, часто *внутри* одной и той же системы, часто *внутри* одного термина — наконец, как *борьба двух психологий не совпадает с борьбой многих воззрений и психологических школ, но стоит за ними и определяет их*; как обманчивы внешние формы кризиса и как надо в них вычитывать стоящий за их спиной истинный смысл.

Часть 2. Современные проблемы и направления психологии

1. Проблема бессознательного в психоанализе и грузинской школе психологии установки

З. Фрейд

ПСИХОПАТОЛОГИЯ ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ¹

Забывание имен и словосочетаний

Анализируя наблюдаемые на себе самом случаи забывания имен, я почти регулярно нахожу, что недостающее имя имеет то или иное отношение к какой-либо теме, близко касающейся меня лично и способной вызвать во мне сильные, нередко мучительные аффекты. В согласии с весьма целесообразной практикой Цюрихской школы (Блейлер, Юнг, Риклин) я могу это выразить в такой форме: ускользнувшее из моей памяти имя затронуло во мне “личный комплекс”. Отношение этого имени к моей личности бывает неожиданным, часто устанавливается путем поверхностной ассоциации (двусмысленное слово, созвучие); его можно вообще обозначить как стороннее отношение. Несколько простых примеров лучше всего выяснят его природу.

а) Пациент просит меня рекомендовать ему какой-либо курорт на Ривьере. Я знаю одно такое место в ближайшем соседстве с Генуей, помню фамилию немецкого врача,

практикующего там, но самой местности назвать не могу, хотя, казалось бы, знаю ее прекрасно. Приходится попросить пациента обождать; спешу к моим домашним и спрашиваю наших дам: “Как называется эта местность близ Генуи там, где лечебница д-ра N, в которой так долго лечилась такая-то дама?” — “Разумеется, как раз ты и должен был забыть это название. Она называется — Нерви”. И в самом деле, с *нервами* мне приходится иметь достаточно дела.

б) Другой пациент говорит о близлежащей дачной местности и утверждает, что кроме двух известных ресторанов там есть еще и третий, с которым у него связано известное воспоминание; название он мне скажет сейчас. Я отрицаю существование третьего ресторана и ссылаюсь на то, что семь летних сезонов подряд жил в этой местности и, стало быть, знаю ее лучше, чем мой собеседник. Раздраженный противодействием, он, однако, уже вспомнил название: ресторан называется Hochwarner. Мне приходится уступить и признаться к тому же, что все эти семь лет я жил в непосредственном соседстве с этим самым рестораном, существование которого я отрицал. Почему я позабыл в данном случае и название, и сам факт? Я думаю, потому, что это название слишком отчетливо напоминает мне фамилию одного венского коллеги и затрагивает во мне опять-таки “профессиональный комплекс”.

в) Однажды на вокзале в Рейхенгалле я собираюсь взять билет и не могу вспомнить, как называется прекрасно известная мне ближайшая большая станция, через которую я так часто проезжал. Приходится самым серьезным образом искать ее в

¹Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989. С. 216—218, 236, 247, 249—251, 257—259, 264, 287—288.

расписании поездов. Станция называется Rosenheim. Тотчас же я соображаю, в силу какой ассоциации название это у меня ускользнуло. Часом раньше я посетил свою сестру, жившую близ Рейхенгалля; имя сестры *Роза*, стало быть, это тоже был “Rosenheim” (“жилище Розы”). Название было у меня похищено “семейным комплексом”.

г) Прямо-таки грабительское действие семейного комплекса я могу проследить еще на целом ряде примеров.

Однажды ко мне на прием пришел молодой человек, младший брат одной моей пациентки; я видел его бесчисленное множество раз и привык, говоря о нем, называть его по имени. Когда я затем захотел рассказать о его посещении, оказалось, что я забыл его имя — вполне обыкновенное, это я знал — и не мог никак восстановить его в своей памяти. Тогда я пошел на улицу читать вывески, и как только его имя встретилось мне, я с первого же разу узнал его. Анализ показал мне, что я провел параллель между этим посетителем и моим собственным братом, параллель, которая вела к вытесненному вопросу: сделал ли бы мой брат в подобном случае то же или же поступил бы как раз наоборот? Внешняя связь между мыслями о чужой и моей семье установилась благодаря той случайности, что и здесь и там имя матери было одно и то же — Амалия. Я понял затем и замещающие имена, которые навязались мне, не выясняя дела: Даниэль и Франц. Эти имена — так же как и имя Амалия — встречаются в шиллеровских “Разбойниках”, с которыми связывается шутка венского фланера Даниэля Шпитцера.

д) В другой раз я не мог припомнить имени моего пациента, с которым я знаком еще с юных лет. Анализ пришлось вести длинным обходным путем, прежде чем удалось получить искомое имя. Пациент сказал раз, что боится потерять зрение; это вызвало во мне воспоминание об одном молодом человеке, который ослеп вследствие огнестрельного ранения; с этим соединилось, в свою очередь, представление о другом молодом человеке, который стрелял в себя, — фамилия его та же, что и первого пациента, хотя они

не были в родстве. Но нашел я искомое имя тогда, когда установил, что мои опасения были перенесены с этих двух юношей на человека, принадлежащего к моему семейству.

Непрерывный ток “самоотношения” (“Eigenbeziehung”) идет, таким образом, через мое мышление, ток, о котором я обычно ничего не знаю, но который дает о себе знать подобного рода забыванием имен. Я словно принужден сравнивать все, что слышу о других людях, с собой самим, словно при всяком известии о других приходят в действие мои личные комплексы. Это ни в коем случае не может быть моей индивидуальной особенностью; в этом заключается скорее общее указание на то, каким образом мы вообще понимаем других. Я имею основание полагать, что у других людей происходит совершенно то же, что и у меня.

Лучший пример в этой области сообщил мне некий господин Ледерер из своих личных переживаний. Во время своего свадебного путешествия он встретился в Венеции с одним малознакомым господином и хотел его представить своей жене. Фамилию его он забыл, и на первый раз пришлось ограничиться неразборчивым бормотанием. Встретившись с этим господином вторично (в Венеции это неизбежно), он отвел его в сторону и рассказал, что забыл его фамилию, и просил вывести его из неловкого положения и назвать себя. Ответ собеседника свидетельствовал о прекрасном знании людей: “Охотно верю, что вы не запомнили моей фамилии. Я зовусь так же, как вы: Ледерер!”. Нельзя отделаться от довольно неприятного ощущения, когда встречаешь чужого человека, носящего твою фамилию. Я недавно почувствовал это с достаточной отчетливостью, когда на прием ко мне явился некий S. Freud. (Впрочем, один из моих критиков уверяет, что он в подобных случаях испытывает как раз обратное.)

е) Действие “самоотношения” обнаруживается также в следующем примере, сообщенном Юнгом¹:

“Y. безнадежно влюбился в одну даму, вскоре затем вышедшую замуж за X. Несмотря на то, что Y. издавна знает X. и даже находится с ним в деловых сноше-

¹См. Dementia praecox. S. 52.

ниях, он все же постоянно забывает его фамилию, так что не раз случалось, что когда надо было написать X. письмо, ему приходилось справляться о его фамилии у других”.

Впрочем, в этом случае забывание мотивируется прозрачнее, нежели в предыдущих примерах “самоотношения”. Забывание представляется здесь прямым результатом нерасположения господина Y. к своему счастливому сопернику; он не хочет о нем знать: “и думать о нем не хочу”. <...>

Обмолвки

<...> м) Целый ряд примеров я заимствую у моего коллеги д-ра В. Штекеля из статьи в “Berliner Tageblatt” от 4 января 1904 года под заглавием “Unbewusste Geständnisse” (“Бессознательные признания”).

“Неприятную шутку, которую сыграли со мной мои бессознательные мысли, раскрывает следующий пример. Должен предупредить, что в качестве врача я никогда не руководюсь соображениями заработка и — что разумеется само собой — имею всегда в виду лишь интересы больного. Я пользуюсь больной, которая пережила тяжелую болезнь и ныне выздоравливает. Мы провели ряд тяжелых дней и ночей. Я рад, что ей лучше, рисую ей прелести предстоящего пребывания в Аббации и прибавляю: “Если вы, на что я надеюсь, не скоро встанете с постели”. Причина этой обмолвки, очевидно, эгоистический бессознательный мотив — желание дольше лечить эту богатую больную, желание, которое совершенно чуждо моему сознанию и которое я отверг бы с негодованием”.

н) Другой пример (д-р В. Штекель). “Моя жена нанимает на послеобеденное время француженку и, столковавшись с ней об условиях, хочет сохранить у себя ее рекомендации. Француженка просит оставить их у нее и мотивирует это так: “Je cherche encore pour les après-midi, pardon, les avants-midi”¹. Очевидно, у нее есть намерение посмотреть еще, не найдет ли она место на лучших условиях, — намерение, которое она действительно выполнила”.

о) (Д-р Штекель). “Я читаю одной даме вслух книгу Левит, и муж ее, по просьбе которого я это делаю, стоит за дверью и слушает. По окончании моей проповеди, которая произвела заметное впечатление, я говорю: “До свидания, *mesye*”. Посвященный человек мог бы узнать отсюда, что мои слова были обращены к мужу и что говорил я ради него”.

п) Д-р Штекель рассказывает о себе самом: одно время он имел двух пациентов из Триеста, и, здороваясь с ними, он постоянно путал их фамилии. “Здравствуйте, г-н Пелони”, — говорил он, обращаясь к Асколи, и наоборот. На первых порах он не был склонен приписывать этой ошибке более глубокую мотивировку и объяснял ее рядом общих черт, имевшихся у обоих пациентов. Он легко убедился, однако, что перепутывание имен объяснялось здесь своего рода хвастовством, желанием показать каждому из этих двух итальянцев, что не один лишь он приехал к нему из Триеста за медицинской помощью. <...>

Описки

<...> г) Цитирую по д-ру В. Штекелю следующий случай, достоверность которого также могу удостоверить:

“Прямо невероятный случай описки и очитки произошел в редакции одного распространенного еженедельника. Редакция эта была публично названа “продажной”, надо было дать отпор и защититься. Статья была написана очень горячо, с большим пафосом. Главный редактор прочел статью, автор прочел ее, конечно, несколько раз — в рукописи и в гранках; все были очень довольны. Вдруг появляется корректор и обращает внимание на маленькую ошибку, никем не замеченную. Соответствующее место ясно гласило: “Наши читатели засвидетельствуют, что мы всегда самым *корыстным* образом отстаивали <...> общественное благо” <...>. Само собой понятно, что должно было быть написано: “самым *бескорыстным* образом”. <...> Но истинная мысль со стихийной силой прорвалась и сквозь патетическую фразу. <...>

¹ “Я ищу еще место на послеобеденное, пардон, на дообеденное время”.

Забывание впечатлений и намерений

<...> Я буду сообщать о бросающихся в глаза случаях забывания, которые я наблюдал по большей части на себе самом. Я отличаю забывание впечатлений и переживаний, т. е. забывание того, что знаешь, от забывания намерений, т. е. неисполнения чего-то. Результат всего этого ряда исследований один и тот же: во всех случаях в основе забывания лежит мотив неохоты (*Unlustmotiv*).

А. Забывание впечатлений и знаний

а) Летом моя жена подала мне безобидный по существу повод к сильному неудовольствию. Мы сидели визави за столом с одним господином из Вены, которого я знал и который, по всей вероятности, помнил и меня. У меня были, однако, основания не возобновлять знакомства. Жена моя, однако, расслышавшая лишь громкое имя своего визави, весьма скоро дала понять, что прислушивается к его разговору с соседями, так как время от времени обращалась ко мне с вопросами, в которых подхватывалась нить их разговора. Мне не терпелось; наконец, это меня рассердило. Несколько недель спустя я пожаловался одной родственнице на поведение жены; но при этом не мог вспомнить ни одного слова из того, что говорил этот господин. Так как вообще я довольно злопамятен, не могу забыть ни одной детали рассердившего меня эпизода, то очевидно, что моя амнезия в данном случае мотивировалась известным желанием считаться, щадить жену. Недавно еще произошел со мной подобный же случай: я хотел в разговоре с близким знакомым посмеяться над тем, что моя жена сказала всего несколько часов тому назад; оказалось, однако, что я бесследно забыл слова жены. Пришлось попросить ее же напомнить мне их. Легко понять, что эту забывчивость надо рассматривать как аналогичную тому расстройству способности суждения, которому мы подвержены, когда дело идет о близких нам людях.

б) Я взялся достать для приехавшей в Вену иногородней дамы маленькую железную шкатулку для хранения докумен-

тов и денег. В тот момент, когда я предлагал свои услуги, предо мной с необычайной зрительной яркостью стояла картина одной витрины в центре города, в которой я видел такого рода шкатулки. Правда, я не мог вспомнить название улицы, но был уверен, что стоит мне пройти по городу, и я найду лавку, потому что моя память говорила мне, что я проходил мимо нее бесчисленное множество раз. Однако, к моей досаде, мне не удалось найти витрину со шкатулками, несмотря на то, что я исходил эту часть города во всех направлениях. Не остается ничего другого, думал я, как разыскать в справочной книге адреса фабрикантов шкатулок, чтобы затем, обойдя город еще раз, найти искомый магазин. Этого, однако, не потребовалось; среди адресов, имевшихся в справочнике, я тотчас же опознал забытый адрес магазина. Оказалось, что я действительно бесчисленное множество раз проходил мимо его витрины, и это было каждый раз, когда я шел в гости к семейству М., долгие годы жившему в том же доме. С тех пор как это близкое знакомство сменилось полным отчуждением, я обычно, не отдавая себе отчета в мотивах, избегал и этой местности, и этого дома. В тот раз, когда я обходил город, ища шкатулки, я исходил в окрестностях все улицы, и только этой одной тщательно избегал, словно на ней лежал запрет. Мотив неохоты, послуживший в данном случае виной моей неориентированности, здесь вполне осязателен. Но механизм забывания здесь не так прост, как в прошлом примере. Мое нерасположение относится, очевидно, не к фабриканту шкатулок, а к кому-то другому, о котором я не хочу ничего знать; от этого другого оно переносится на данное поручение и здесь порождает забвение. <...> Впрочем, в данном случае имелась налицо и более прочная, внутренняя связь, ибо в числе причин, вызвавших разлад с жившим в этом доме семейством, большую роль играли деньги. <...>

Б. Забывание намерений

Ни одна другая группа феноменов не пригодна в такой мере для доказательства нашего положения о том, что слабость внимания сама по себе еще не может объяснить ошибочное действие, как забывание

намерений. Намерение — это импульс к действию, уже встретивший одобрение, но выполнение которого отодвинуто до известного момента. Конечно, в течение создавшегося таким образом промежутка времени может произойти такого рода изменение в мотивах, что намерение не будет выполнено, но в таком случае оно не забывается, а пересматривается и отменяется. То забывание намерений, которому мы подвергаемся изо дня в день во всевозможных ситуациях, мы не имеем обыкновения объяснять тем, что в соотношении мотивов выявилось нечто новое; мы либо оставляем его просто без объяснения, либо стараемся объяснить его психологически, допуская, что ко времени выполнения уже не оказалось необходимого для действия внимания, которое, однако, было необходимым условием возникновения самого намерения и которое, стало быть, в то время имелось в достаточной для совершения этого действия степени. Наблюдение над нашим нормальным отношением к намерениям заставляет нас отвергнуть это объяснение как произвольное. Если я утром принимаю решение, которое должно быть выполнено вечером, то возможно, что в течение дня мне несколько раз напоминали о нем; но возможно также, что в течение дня оно вообще не доходило больше до моего сознания. Когда приближается момент выполнения, оно само вдруг приходит мне в голову и заставляет меня сделать нужные приготовления для того, чтобы исполнить задуманное. Если я, отправляясь гулять, беру с собой письмо, которое нужно отправить, то мне, как нормальному и не нервному человеку, нет никакой надобности держать его всю дорогу в руке и высматривать все время почтовый ящик, куда бы его можно было опустить; я кладу письмо в карман, иду своей дорогой и рассчитываю на то, что один из ближайших почтовых ящиков привлечет мое внимание и побудит меня опустить руку в карман и вынуть письмо. Нормальный образ действия человека, принявшего известное решение, вполне совпадает с тем, как держат себя люди, которым было сделано в гипнозе так называемое “постгипнотическое внушение на долгий срок”¹. Обычно этот феномен изображается следу-

ющим образом: внушенное намерение дремлет в данном человеке, пока не подойдет время его выполнения. Тогда оно просыпается и заставляет действовать.

В двоякого рода случаях жизни даже и дилетант отдает себе отчет в том, что забывание намерений никак не может быть рассматриваемо как элементарный феномен, не поддающийся дальнейшему разложению, и что оно дает право умозаключить о наличности непризнанных мотивов. Я имею в виду любовные отношения и военную дисциплину. Любовник, опоздавший на свидание, тщетно будет искать оправдания перед своей дамой в том, что он, к сожалению, совершенно забыл об этом. Она ему непременно ответит: “Год тому назад ты бы не забыл. Ты меня больше не любишь”. Если бы он даже прибег к приведенному выше психологическому объяснению и пожелал бы оправдаться множеством дел, он достиг бы лишь того, что его дама, став столь же проникательной, как врач при психоанализе, возразила бы: “Как странно, что подобного рода деловые препятствия не случались раньше”. Конечно, и она тоже не подвергает сомнению возможность того, что он действительно забыл; она полагает только, и не без основания, что из ненамеренного забвения можно сделать тот же вывод об известном нежелании, как и из сознательного уклонения.

Подобно этому, и на военной службе различие между упущением по забывчивости и упущением намеренным принципиально игнорируется — и не без основания. Солдату *нельзя* забывать ничего из того, что требует от него служба. И если он все-таки забывает, несмотря на то, что требование ему известно, то потому, что мотивам, побуждающим его к выполнению данного требования службы, противопоставляются другие, противоположные. Вольноопределяющийся, который при рапорте захотел бы оправдаться тем, что *забыл* почистить пуговицы, может быть уверен в наказании. Но это наказание ничтожно в сравнении с тем, какому он подвергся бы, если бы признался себе самому и своему начальнику в мотиве своего упущения: “Эта проклятая служба мне вообще противна”. Ради этого уменьшения наказания,

¹ Ср. *Bernheim*. Neue Studien über Hypnotismus, Suggestion und Psychotherapie, 1892.

по соображениям как бы экономического свойства, он пользуется забвением как отговоркой, или же оно осуществляется у него в качестве компромисса.

Служение женщине, как и военная служба, требует, чтобы ничто относящееся к ним не было забываемо, и дает, таким образом, повод полагать, что забвение допустимо при неважных вещах; при вещах важных оно служит знаком того, что к ним относятся легко, стало быть, не признают их важности. И действительно, наличие психической оценки здесь не может быть отрицаема. Ни один человек не забудет выполнить действия, представляющиеся ему самому важными, не навлекая на себя подозрения в душевном расстройстве. Наше исследование может поэтому распространяться лишь на забывание более или менее второстепенных намерений; совершенно безразличным не может считаться никакое намерение, ибо тогда оно наверное не возникло бы вовсе.

Так же как и при рассмотренных выше нарушениях функций, я и здесь собрал и попытался объяснить случаи забывания намерений, которые я наблюдал на себе самом; я нашел при этом, как общее правило, что они сводятся к вторжению неизвестных и непризнанных мотивов, или, если можно так выразиться, к *встречной воле*. В целом ряде подобных случаев я находился в положении, сходном с военной службой, испытывал принуждение, против которого еще не перестал сопротивляться, и демонстрировал против него своей забывчивостью. К этому надо добавить, что я особенно легко забываю, когда нужно поздравить кого-нибудь с днем рождения, юбилеем, свадьбой, повышением. Я постоянно собираюсь это сделать и каждый раз все больше убеждаюсь в том, что мне это не удастся. Теперь я уже решился отказаться от этого и воздать должное мотивам, которые этому противятся. Однажды, когда я был еще в переходной стадии, я заранее сказал одному другу, просившему меня отправить также и от его имени к известному сроку поздравительную телеграмму, что я забуду об обеих телеграммах; и не удивительно, что пророчество это оправдалось. В силу мучительных переживаний, которые мне пришлось испытать в связи с этим, я не способен выразить свое участие, когда это приходится по необхо-

димости делать в утрированной форме, ибо употребить выражение, действительно отвечающее той небольшой степени участия, которое я испытываю, непозволительно. С тех пор как я убедился в том, что не раз принимал мнимые симпатии других людей за истинные, меня возмущают эти условные выражения сочувствия, хотя, с другой стороны, я понимаю их социальную полезность. Соболезнование по случаю смерти изъято у меня из этого действительного состояния; раз решившись выразить его, я уже не забываю сделать это. <...>

Действия, совершаемые “по ошибке”

<...> а) В прежние годы, когда я посещал больных на дому еще чаще, чем теперь, нередко случалось, что, придя к двери, в которую мне следовало постучать или позвонить, я доставал из кармана ключ от моей собственной квартиры, с тем чтобы опять спрятать его, едва ли не со стыдом. Сопоставляя, у каких больных это бывало со мной, я должен был признать, что это ошибочное действие, — вынуть ключ вместо того, чтобы позвонить, — означало известную похвалу тому дому, где это случилось. Оно было равносильно мысли “здесь я чувствую себя как дома”, ибо происходило лишь там, где я полюбил больного. (У двери моей собственной квартиры я, конечно, никогда не звоню.)

Ошибочное действие было, таким образом, символическим выражением мысли, в сущности не предназначавшейся к тому, чтобы быть серьезно, сознательно принятой, так как на деле психиатр прекрасно знает, что больной привязывается к нему лишь на то время, пока ожидает от него чего-нибудь, и что он сам если и позволяет себе испытывать чрезмерно живой интерес к пациенту, то лишь в целях оказания психической помощи.

б) В одном доме, в котором я шесть лет кряду дважды в день в определенное время стою у дверей второго этажа, ожидая, пока мне отворят, мне случилось за все это долгое время два раза (с небольшим перерывом) взойти этажом выше, “забраться чересчур высоко”. В первый раз я испытывал в это время честолюбивый “сон наяву”, грезил о том, что “возношусь все выше и выше”. Я не услышал даже, как отворилась

соответствующая дверь, когда уже начал всходить на первые ступеньки третьего этажа. В другой раз я прошел слишком далеко, также “погруженный в мысли”; когда я спохватился, вернулся назад и попытался схватить владевшую мною фантазию, то нашел, что я сердился по поводу (воображаемой) критики моих сочинений, в которой мне делался упрек, что я постоянно “захожу слишком далеко”, упрек, который у меня мог связаться с не особенно почетительным выражением: “вознесся слишком высоко”. <...>

Комбинированные ошибочные действия

<...> а) Один мой друг рассказывает мне следующий случай: “Несколько лет тому назад я согласился быть избранным в члены бюро одного литературного общества, предполагая, что общество поможет мне добиться постановки моей драмы, и регулярно, хотя и без особого интереса, принимал участие в заседаниях, происходящих каждую пятницу. Несколько месяцев тому назад я получил обещание, что моя пьеса будет поставлена в театре в Ф., и с тех пор я стал регулярно забывать о заседаниях этого общества. Когда я прочел вашу книгу об этих вещах, я сам устыдился своей забывчивости, стал упрекать себя — некрасиво, мол, манкировать теперь, когда я перестал нуждаться в этих людях, — и решил в следующую пятницу непременно не позабыть. Все время я вспоминал об этом намерении, пока, наконец, не оказался перед дверью зала заседаний, но, к моему удивлению, двери были закрыты, заседание уже состоялось. Я ошибся днем: была уже суббота!”

б) Следующий пример представляет собой комбинацию симптоматического действия и закладывания предметов; он дошел до меня далекими окольными путями, но источник вполне достоверен.

Одна дама едет со своим шурином, знаменитым художником, в Рим. Живущие в Риме немцы горячо чествуют художника и между прочим подносят ему в подарок античную золотую медаль. Дама недовольна тем, что ее шурином недостаточно ценит эту красивую вещь. Смененная своей сестрой и вернувшись домой, она, раскладывая свои вещи, замечает, что неизвестно каким образом захватила с собой медаль. Она тотчас же пишет об этом шурина и уведомляет его, что на следующий день отошлет увезенную ею вещь в Рим. Однако на следующий день медаль так искусно была заложена куда-то, что нет возможности найти ее и отослать; и тогда дама начинает смутно догадываться, что означала ее рассеянность: желание оставить вещь у себя.

Не стану утверждать, чтобы подобные случаи комбинированных ошибочных действий могли нам дать что-либо новое, что не было бы нам известно уже из примеров отдельных ошибочных действий, но смена форм, ведущих, однако, все к тому же результату, создает еще более выпуклое впечатление о наличии воли, направленной к достижению определенной цели, и гораздо более резко противоречит взгляду, будто ошибочное действие является чем-то случайным и не нуждается в истолковании. Обращает на себя внимание также и то, что в этих примерах сознательному намерению никак не удастся помешать успеху ошибочного действия. Моему другу так и не удалось посетить заседание общества, дама оказывается не в состоянии расстаться с медалью. Если один путь оказывается прегражденным, тогда то неизвестное, что противится нашим намерениям, находит себе другой выход. Для того, чтобы преодолеть неизвестный мотив, требуется еще нечто другое, кроме сознательного встречного намерения: нужна психическая работа, доводящая до сознания неизвестное.

З. Фрейд

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОНЯТИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В ПСИХОАНАЛИЗЕ¹

Мне хотелось бы кратко и насколько возможно ясно изложить, в каком смысле следует употреблять выражение “бессознательное” в психоанализе, и только в психоанализе.

Представление — или всякий другой психический элемент в определенный момент может быть в *наличности* в моем сознании, а в последующий может оттуда *исчезнуть*, через некоторый промежуток времени оно может совершенно неизменным снова всплыть, как мы говорим, в нашей памяти, без каких-либо предшествующих новых чувственных восприятий. Учитывая это явление, мы вынуждены принять, что представление сохранялось в нашей душе и в этот промежуток времени, хотя было скрыто от сознания. Но в каком оно было виде, сохраняясь в душевной жизни и оставаясь скрытым от сознания, относительно этого мы не можем делать никаких предположений.

В этом пункте мы можем встретить философское возражение, что скрытое представление не может рассматриваться как объект психологии, но только как физическое предрасположение к повторному протеканию тех же психических явлений, в данном случае того же представления. Но мы на это ответим, что такая теория переступает область собственно психоло-

гии, что она просто обходит проблему, устанавливая идентичность понятий “сознательного” и “психического”, и что она, очевидно, не вправе оспаривать у психологии право объяснять собственными средствами одно из ее обыденнейших явлений — память.

Итак, мы назовем представление, имеющееся в нашем сознании и нами воспринимаемое, — “сознательным”, и только таковое заслуживает смысла этого выражения — “сознательное”; наоборот, скрытые представления, если мы имеем основание признать, что они присутствуют в душевной жизни, как это наблюдается в памяти, мы должны обозначить термином “бессознательные”.

Следовательно, бессознательное представление есть такое представление, которого мы не замечаем, но присутствие которого мы должны тем не менее признать на основании посторонних признаков и доказательств.

Это следовало бы считать совершенно неинтересной описательной или классифицирующей работой, если бы она не останавливала нашего внимания ни на чем другом, кроме явлений памяти или ассоциаций, относящихся к бессознательным промежуточным членам. Но хорошо известный эксперимент после “гипнотического внушения” показывает нам, насколько важно различать сознательное от бессознательного, и поднимает значение этого различия. При этом эксперименте, как производил его Bernheim, субъект приводится в гипнотическое состояние и затем пробуждается из него. В то время, когда он, в гипнотическом состоянии, находился под влиянием врача, ему было приказано произвести известное действие в назначенное время, например, спустя полчаса. После пробуждения субъект снова находится, по всей видимости, в полном сознании и обычном душевном состоянии, воспоминание о гипнотическом состоянии отсутствует, и, несмотря на это, в заранее назначенный момент в душе его выдвигается импульс сделать то или другое, и действие выполняется сознательно, хотя и без понимания, почему это делается. Едва ли возможно иначе объяснить это явление, как предположением, что в душе этого челове-

¹ З.Фрейд, психоанализ и русская мысль. М.: Республика, 1994. С. 29—34.

ка приказание оставалось в скрытой форме или бессознательным, пока не наступил данный момент, когда оно перешло в сознание. Но оно всплыло в сознании не во всем целом, а только как представление о действии, которое требуется выполнить. Все другие ассоциированные с этим представлением идеи — приказание, влияние врача, воспоминание о гипнотическом состоянии — остались еще и теперь бессознательными.

Но мы можем еще большему научиться из этого эксперимента. Это нас приведет от чисто описательного к *динамическому* пониманию явления. Идея внушенного в гипнозе действия в назначенный момент стала не только объектом сознания, она стала *деятельной*, и это является наиболее важной стороной явления: она перешла в действие, как только сознание заметило ее присутствие. Так как истинным побуждением к действию было приказание врача, то едва ли можно допустить что-нибудь иное, кроме предположения, что идея приказания стала также *деятельной*.

Тем не менее эта последняя воспринята была не в сознании, не так, как ее производное — идея действия, она осталась бессознательной и была в то же самое время *действующей и бессознательной*.

Постгипнотическое внушение есть продукт лаборатории, искусственно созданное явление. Но если мы примем теорию истерических явлений так, как она была установлена сначала Р. Janet и разработана затем Breuer'ом, к нашим услугам будет огромное количество естественных фактов, которые еще яснее и отчетливее покажут нам психологический характер постгипнотического внушения.

Душевная жизнь истерических больных полна действующими, но бессознательными идеями; от них происходят все симптомы. Это действительно характерная черта истерического мышления — над ним властвуют бессознательные представления. Если у истерической женщины рвота, то это, может быть, произошло от мысли, что она беременна. И об этой мысли она может ничего не знать, но ее легко открыть в ее душевной жизни при помощи технических процедур психоанализа и сделать эту мысль для нее сознательной. Если вы видите у нее жесты и подергивания, подражающие “припадку”, она ни в каком случае не

сознает своих произвольных действий и наблюдает их, быть может, с чувством безучастного зрителя. Тем не менее анализ может доказать, что она исполняет свою роль в драматическом изображении одной сцены из ее жизни, воспоминание о которой становится бессознательно деятельным во время приступа. То же господство деятельных, бессознательных идей анализом вскрывается как самое существенное в психологии всех других форм невроза.

Из анализа невротических явлений мы узнаем, таким образом, что скрытая или бессознательная мысль не должна быть непременно слабой и что присутствие такой мысли в душевной жизни представляет косвенное доказательство ее принудительного характера, такое же ценное доказательство, как и доставляемое сознанием.

Мы чувствуем себя вправе, для согласования нашей классификации с этим расширением наших познаний, установить основное различие между различными видами скрытых и бессознательных мыслей. Мы привыкли думать, что всякая скрытая мысль такова вследствие своей слабости и что она становится сознательной, как только приобретает силу. Но мы теперь убедились, что существуют скрытые мысли, которые не проникают в сознание, как бы сильны они ни были. Поэтому мы предлагаем скрытые мысли первой группы называть *предсознательными*, тогда как выражение *бессознательные* (в узком смысле) сохранить для второй группы, которую мы наблюдаем при неврозах. Выражение *бессознательное*, которое мы до сих пор употребляли только в описательном смысле, получает теперь более широкое значение. Оно обозначает не только скрытые мысли вообще, но преимущественно носящие определенный динамический характер, а именно те, которые держатся вдали от сознания, несмотря на их интенсивность и активность.

Прежде чем продолжать мое изложение, я хочу коснуться еще двух возражений, которые тут могут возникнуть. Первое может быть сформулировано так: вместо того, чтобы устанавливать гипотезу о бессознательных мыслях, о которых мы ничего не знаем, не лучше ли было бы принять, что сознание делимо, что отдельные мысли или иные душевные явления могут образовать особую область сознатель-

ного, выделившуюся из главной области сознательной психической деятельности и ставшую чуждой для последней. Хорошо известны патологические случаи, как случай д-ра Azam'a, как будто очень подходят для доказательства, что делимость сознания не является созданием фантазии.

Я позволю себе возразить относительно этой теории, что она строит свое основание просто на неправильном употреблении слова "сознательное". Мы не имеем никакого права настолько распространять смысл этого слова, что им обозначается такое сознание, о котором обладатель его ничего не знает. Если философы затрудняются поверить в существование бессознательной мысли, то существование бессознательного сознания кажется мне еще менее приемлемым. Случаи, в которых описывается, как у д-ра Azam'a, деление сознания, могли бы скорее рассматриваться как блуждания сознания, причем последнее, что бы оно собою ни представляло, — колеблется между двумя различными психическими комплексами, которые попеременно становятся то сознательными, то бессознательными.

Другое возражение, которое можно было бы предположить, состоит в том, что мы применяем к нормальной психологии выводы, вытекающие главным образом из изучения патологических состояний. Это возражение мы можем устранить фактом, который нам известен благодаря психоанализу. Известные функциональные нарушения, очень часто встречающиеся у здоровых, как, например, оговорки, ошибки памяти и речи, забывание имен и т. п., легко могут быть объяснены влиянием сильных бессознательных мыслей, совершенно так же, как и невротические симптомы. Мы приведем еще второй, более убедительный аргумент при дальнейшем изложении.

Сопоставляя предсознательные и бессознательные мысли, мы будем вынуждены покинуть область классификации и составить мнение о функциональных и динамических отношениях в деятельности психики. Мы нашли *действующее предсознательное*, которое без труда переходит в сознание, и *действующее бессознательное*, которое остается бессознательным и кажется отрезанным от сознания.

Мы не знаем, идентичны ли были вначале эти два рода психической деятельности,

или они противоположны по своей сущности, но мы можем спросить, почему они сделались различными в потоке психических явлений. На этот вопрос психология немедленно дает нам ясный ответ. Продукт действующего бессознательного никаким образом не может проникнуть в сознание, но для достижения этого необходима затрата некоторого усилия. Если мы попробуем это на себе, в нас появляется ясное чувство *обороны*, которое необходимо преодолеть, а если мы вызовем его у пациента, то получим недвусмысленные признаки того, что мы называем *сопротивлением*. Из этого мы узнаем, что бессознательные мысли исключены из сознания при помощи живых сил, сопротивляющихся их вхождению, тогда как другие мысли, предсознательные, не встречают на этом пути никаких препятствий. Психоанализ не оставляет сомнений в том, что отдаление бессознательных мыслей вызывается исключительно только тенденциями, которые в них воплотились. Ближайшая и наиболее вероятная теория, которую мы можем установить при такой стадии наших знаний, заключается в следующем. Бессознательное есть закономерная и неизбежная фаза процессов, которые проявляет наша психическая деятельность; каждый психический акт начинается как бессознательный и может или остаться таковым, или, развиваясь далее, дойти до сознания, смотря по тому, натолкнется он в это время на сопротивление или нет. Различие между предсознательной и бессознательной деятельностью не очевидно, но возникает только тогда, когда на сцену выступает чувство "обороны". Только с этого момента различие между предсознательными мыслями, появляющимися в сознании и имеющими возможность всегда туда вернуться, и бессознательными мыслями, которым это воспрещено, получает как теоретическое, так и практическое значение. Грубую, но довольно подходящую аналогию этих предполагаемых отношений сознательной деятельности к бессознательной представляет область обыкновенной фотографии. Первая стадия фотографии — негатив; каждое фотографическое изображение должно проделать "негативный процесс", и некоторые из этих негативов, хорошо проявившиеся, будут употреблены для "позитивного процесса", который заканчивается изготовлением портрета.

Но различие между предсознательной и бессознательной деятельностью и признание разделяющей их перегородки не является ни последним, ни наиболее значительным результатом психоаналитического исследования душевной жизни. Существует психический продукт, который встречается у самых нормальных субъектов и тем не менее является в высшей степени поразительной аналогией с наиболее дикими проявлениями безумия, и для философов он оставался не более понятным, чем само безумие. Я разумею сновидения. Психоанализ углубляется в анализ сновидений; толкование сновидений — это наиболее совершенная из работ, выполненных до настоящего времени молодой наукой. Типический случай образования построения сновидения может быть описан следующим образом: вереница мыслей была пробуждена дневной духовной деятельностью и удержала кое-что из своей действительности, благодаря чему она избежала общего понижения интереса, который приводит к сну и составляет духовную подготовку для сна. В течение ночи этой веренице мыслей удастся найти связь с какими-либо бессознательными желаниями, которые всегда имеются в душевной жизни сновидца с самого детства, но бывают обыкновенно *вытеснены* и исключены из его сознательного существа. Поддержанные энергией, исходящей из бессознательного, эти мысли, остатки дневной деятельности, могут стать снова деятельными и всплыть в сознании в образе сновидения. Таким образом, происходят тройного рода вещи.

1. Мысли проделали превращение, переодевание и искажение, которые указывают на участие бессознательных союзников.

2. Мыслям удалось овладеть сознанием в такое время, когда оно не должно было бы им быть доступно.

3. Кусочек бессознательного всплыл в сознании, что для него иначе было бы невозможно.

Мы овладели искусством отыскивать *“дневные остатки”* и *скрытые мысли сновидений*; сравнивая их с явным содержанием сновидения, мы можем судить о превращениях, которые они проделали, и о тех способах, какими совершались эти превращения.

Скрытые мысли сновидения ничем не отличаются от продуктов нашей обычной сознательной душевной деятельности. Они заслуживают названия предсознательных и действительно могут стать сознательными в известный момент бодрствования. Но благодаря соединению с бессознательными стремлениями, которое они совершили ночью, они были ассимилированы последними, приведены до известной степени в состояние бессознательных мыслей и подчинены законам, управляющим бессознательной деятельностью. Мы имеем тут случай наблюдать то, чего не могли бы предполагать на основании рассуждений или из какого-либо другого источника эмпирических знаний, — что законы бессознательной душевной деятельности во многом отличаются от законов сознательной деятельности. Подробным изучением мы достигаем знания особенностей *бессознательного* и можем надеяться, что более глубокое исследование явлений, образующих сновидения, даст нам еще больше.

Это исследование закончено едва наполовину, и изложение полученных результатов пока невозможно без того, чтобы не затронуть в высшей степени запутанную проблему снотолкования. Но я не хотел бы закончить настоящую статью, не указав, что изменением и успехом в нашем понимании бессознательного мы обязаны психоаналитическому изучению сновидений.

Бессознательное казалось нам вначале только загадочной особенностью определенного психического процесса; теперь оно значит для нас больше, оно служит указанием на то, что этот процесс входит в сущность известной психической категории, которая известна нам по другим важным характерным чертам, и что оно принадлежит к системе психической деятельности, заслуживающей нашего полного внимания.

Систему, которую мы узнаем по тому признаку, что отдельные явления, ее составляющие, не доходят до сознания, мы обозначаем термином *“бессознательного”*, за недостатком лучшего и более точного выражения. Я предлагаю для обозначения этой системы буквы *Ubw*, как сокращение слова *“Unbewusst”*, бессознательное. Это третий и наиболее важный смысл, который приобрело в психоанализе выражение *“бессознательное”*.

К.Г.Юнг

[СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКОГО БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА]¹

Бессознательные процессы не фиксируются прямым наблюдением, но их продукты, переходящие через порог сознания, могут быть разделены на два класса. Первый содержит познаваемый материал сугубо личностного происхождения; эти программы являются индивидуальными приобретениями или результатами инстинктивных процессов, формирующих личность как целое. Далее следуют забытые или подавленные содержания и творческие процессы. Относительно их ничего особенного сказать нельзя. У некоторых людей подобные процессы могут протекать осознанно. Есть люди, сознающие нечто, не осознаваемое другими. Этот класс содержаний я называю подсознательным разумом или *личностным* бессознательным, потому что, насколько можно судить, оно всецело состоит из личностных элементов; элементов, составляющих человеческую личность как целое.

Есть и другой класс содержаний психики с очевидностью неизвестного происхождения; все события из этого класса не имеют своего источника в отдельном индивидууме. Данные содержания имеют характерную особенность — они мифологичны по сути. Специфика здесь выражается в том, что содержания эти принадлежат как бы типу, не воплощающему свойства отдельного разума или психического бытия человека, но, скорее, типу, не-

сущему в себе свойства *всего человечества, как некоего общего целого*. Когда я впервые столкнулся с подобными явлениями, то был несколько удивлен и, убедившись, что наследственными факторами их не объяснишь, решил, что разгадка кроется в расовых признаках. Чтобы решить вопрос, я отправился в Соединенные Штаты и исследовал сны чистокровных негров, после чего, к великой радости, убедился, что искомые признаки ничего общего с так называемым кровным или расовым наследованием не имеют, как не имеют и личностного индивидуального происхождения. Они принадлежат человечеству в целом и, таким образом, являются *коллективными* по природе.

Эти коллективные паттерны, или типы, или образцы, я назвал *архетипами*, используя выражение Бл. Августина. Архетип означает *типос* (печать — *imprint* — отпечаток), определенное образование архаического характера, включающее равно как по форме, так и по содержанию *мифологические мотивы*. В чистом виде мифологические мотивы появляются в сказках, мифах, легендах и фольклоре. Некоторые из них хорошо известны: фигура Героя, Освободителя, Дракона (всегда связанного с Героем, который должен победить его), Китом или Чудовищем, которые проглатывают героя. Мифологические мотивы выражают психологический механизм интроверсии сознательного разума в глубинные пласты бессознательной психики. Из этих пластов актуализируется содержание безличностного, мифологического характера, другими словами, архетипы, и поэтому я называю их безличностными или *коллективным бессознательным*. Я глубоко понимаю, что даю здесь лишь слабый эскиз понятия о коллективном бессознательном, требующим отдельного рассмотрения, но хочу привести пример, иллюстрирующий символическую основу явления и технику вычленения специфики коллективного бессознательного от личностного. Когда я поехал в Америку исследовать бессознательные явления у негров, я считал, что все коллективные паттерны наследуются расовыми признаками либо являются “априорными категориями воображения”,

¹ Юнг К.Г. Аналитическая психология. СПб., 1994. С. 30—38.

как их совершенно независимо от меня назвали французы Губерт и Маусс. Один негр рассказал мне сон, в котором появилась фигура человека, распятого на колесе. Нет смысла описывать весь сон, так как он не имеет отношения к разбираемой проблеме. Разумеется, он содержал личностный смысл, равно как и намеки на безличностные идеи, но нас здесь интересует только мотив. Негр был с юга, необразованный, с низким интеллектом. Наиболее вероятным было предположить, что исходя из христианской основы, привитой неграм, он должен был увидеть человека, распятого на *кресте*. Крест — символ личностного постижения. Но маловероятно предположить, что во сне он мог увидеть человека, распятого на *колесе*. Подобный образ весьма необычен. Конечно, я не могу доказать, что по “счастливой” случайности, он не увидел нечто подобное на картине или не услышал от кого-либо, но если ничего такого у него не было, то мы имеем дело с *архетипическим образом*, потому что распятие на колесе — *мифологический мотив*. Это древнее солнечное колесо, и распятие означает жертву богу-солнцу, чтобы умиловить его, так как и человеческие жертвы и жертвы животных издавна приносились в целях повышения плодородия земли, т. е. солнце-колесо — очень архаичная идея, древнейшая из существовавших когда-либо у религиозных людей. Ее следы можно обнаружить в мезолите и палеолите, в чем убеждают родезийские скульптуры. Как показывает современная наука, изобретение колеса относится к бронзовому веку; в палеолите колеса как такового еще не существовало (оно не было изобретено). Родезийское колесо-солнце по возрасту сродни самым ранним наскальным изображениям животных, и поэтому является первым изображением, вероятно, архетипического образа-солнца. Но этот об-

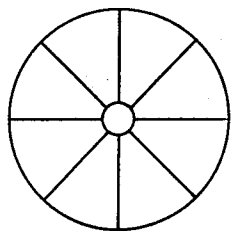


Рис.1

раз не является натуралистическим изображением, так как он всегда разделен на четыре или восемь частей (рис. 1). Этот образ, разделенный круг, является символом, который можно обнаружить на протяжении всей истории человечества, а также и в снах наших современников. Можно предположить, что изобретение колеса началось с этого образа. Многие изобретения возникли из мифологических предчувствий и первобытных образов. К примеру, искусство алхимии — мать современной химии. Наш сознательный научный разум начался в колыбели бессознательного ума. Человек на колесе в сновидении негра является повторением греческого мифологического мотива Иксиона, который за свою обиду на людей и богов был привязан Зевсом к бесконечно вращающемуся колесу. Я привожу этот пример мифологического мотива во сне лишь для того, чтобы проиллюстрировать идею коллективного бессознательного. Один пример, разумеется, еще не доказательство. Но в данном случае нельзя предполагать, что негр изучал греческую мифологию, и исключается возможность того, что он мог видеть какие-либо изображения греческих мифологических фигур. Тем более, что изображения Иксиона крайне редки. Я мог бы предоставить вам убедительные и подробные доказательства существования этих мифологических структур в бессознательном разуме. Но за недостатком времени я сначала раскрою вам значение сновидений и снов-сериалов, а затем предоставлю все исторические параллели, символизм идей и образов которых редко знаком даже специалистам. Мне пришлось работать годы, собирая материал. Когда мы займемся техникой анализа сновидений, я более подробно остановлюсь на разборе мифологического материала, а сейчас лишь хочу предварительно заметить, что в слое бессознательного содержатся мифологические паттерны и что бессознательное формирует содержания, которые невозможно предписать индивиду и которые, более того, могут оказаться в крайнем противоречии с личностной психологией сновидца. Поразительными порой оказываются и детские сновидения, символика которых подчас поражает глубиной мысли настолько, что невольно воскликнешь

сам себе: “Да как это возможно, чтобы ребенок мог такое увидеть во сне?”.

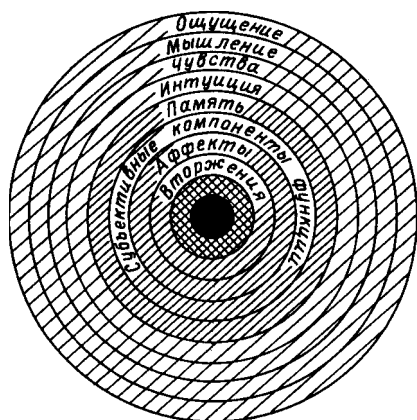
В действительности все достаточно просто. Наш разум имеет свою историю, подобно тому, как ее имеет наше тело. Возможно, кому-то и покажется удивительным, что человек имеет аппендикс. А знает ли он, что должен его иметь? Он просто рождается с ним, и все. Миллионы людей не знают, что имеют зубную железу, однако они ее имеют. Так и наш бессознательный разум, подобно телу, является хранилищем реликтов и воспоминаний о прошлом. Исследование структуры коллективного бессознательного может привести к таким открытиям, какие делаются и в сравнительной астрономии. Не следует думать, что здесь прячется что-то мистическое. Хотя стоит мне заговорить о коллективном бессознательном, как меня сразу же стараются обвинить в обскурантизме. А речь идет всего лишь о новой области науки, и допущение существования коллективных бессознательных процессов граничит с тривиальным здравым смыслом. Возьмем ребенка: он не рождается с готовым сознанием, но его разум не есть *табула раса* (*tabula rasa*). У младенца наличествует определенный мозг, и мозг английского ребенка будет действовать не так, как у австралийца, но в контексте жизненных путей современного гражданина Англии. Сам мозг рождается с определенной структурой, работает современным образом, но этот же самый мозг имеет и свою историю. Он складывается в течение миллионов лет и содержит в себе историю, результатом которой является. Естественно, что он функционирует со следами этой истории, в точности подобным телу, и если поискать в основах мозговой структуры, то можно обнаружить там следы архаического разума.

Идея коллективного бессознательного действительно очень проста. Если бы это было не так, можно было бы говорить о чуде. Но я вовсе не торгую чудесами, а исхожу из опыта. С моим опытом вы бы пришли к таким же выводам по поводу этих архаических мотивов. Случайно вступив в мифологию, я всего-навсего прочел больше книг, нежели, возможно, вы.

Так вот, однажды, когда я работал в клинике, случился пациент с диагнозом

психоза и весьма своеобразными видениями. Он рассказал мне об этих видениях и предлагал при этом “взглянуть тоже”. Чуть позже я натолкнулся на книгу одного исследователя из Германии (Albrecht Dieterich, “Eine Mithras-liturgie”), опубликовавшего главу о магическом папирусе. Я прочел ее с большим интересом и на седьмой странице обнаружил видение моего лунатика “слово в слово”. Это меня потрясло. Как могло оказаться, чтобы мой клиент мог увидеть подобное? И это был не просто один образ, но серия, и в книге буквально все повторялось. Данный случай я опубликовал в “Символах трансформации”.

Наиболее глубоко лежащий слой, в который мы можем проникнуть в исследовании бессознательного, — это то место, где человек уже не является отчетливо выраженной индивидуальностью, но где его разум смешивается и расширяется до сферы общечеловеческого разума, не сознательного, а бессознательного, в котором мы все одни и те же. Подобно анатомической схожести тел, имеющих два глаза, два уха, одно сердце и т.д., с несущественными индивидуальными различиями, разумы также схожи в своей основе. Это легко понять, изучая психологию первобытных людей. Наиболее ярким фактом в мышлении первобытных является отсутствие различия между индивидуумами, совпадение субъекта с объектом, как определил Леви-Брюль, мистическое участие (*participation mystique*). Первобытное мышление выражает основную структуру нашего разума, тот психологический пласт, который в нас составляет коллективное бессознательное, тот низлежащий уровень, который одинаков у всех. Поскольку базовая структура мозга и разума одна и та же у всех, то функционирование на этом уровне не несет в себе каких-либо различий. И здесь мы не осознаем происходящее с вами или со мной. На низлежащем коллективном уровне царит целостность, и никакой анализ здесь невозможен. Если же вы начинаете думать о сопричастности, как о факте, означающем, что в своей основе мы идентичны друг другу во всех своих проявлениях, то неизбежно приходите к весьма специфическим теоретическим выводам. Дальнейшие рассуждения на этот счет







-  Эктопсихическая сфера
-  Эндопсихическая сфера
-  Личностное бессознательное
-  Коллективное бессознательное

Рис.2. Структура психического бытия человека

нежелательны и даже таят в себе опасность. Но некоторые из этих выводов вы должны использовать на практике, поскольку они помогают в объяснении множества вещей, составляющих жизнь человека.

Я хочу подытожить сказанное, используя диаграмму (рис. 2).

На первый взгляд изображенное здесь может показаться сложным, но, в сущности, все выглядит достаточно просто. Представьте, что наша ментальная сфера выглядит наподобие светящегося глобуса. Поверхность, из которой выходит свет, является доминирующей функцией личности. Если вы человек, адаптирующийся в окружающем мире, главным образом, с помощью мышления, то ваша поверхность и будет поверхностью мыслящего человека. Ведь вы осваиваете мир вещей и событий путем мышления, и, следовательно, то, что вы при этом демонстрируете, и есть ваше мышление. Если же вы принадлежите к другому типу, то налицо будет проявление другой функции.

На диаграмме в качестве периферической функции выступает *ощущение*. С его помощью человек получает информацию о внешнем мире. Второй круг — *мышление*: на основании информации, полученной от органов чувств, человек дает предмету имя. Затем идет *чувство*, которое будет сопутствовать его наблюдениям. И,

в конце концов, человек осознает, откуда берутся те или иные явления и что может произойти с ними в дальнейшем. Это *интуиция*, с помощью которой мы “видим в темной комнате”. Эти четыре функции формируют эктопсихическую систему.

Следующая сфера в диаграмме представляет сознательный ЭГО-комплекс, к которому обращены функции. Начнем по порядку: память, функция, контролируемая волей и находящаяся под контролем ЭГО-комплекса. Субъективные компоненты функций могут быть подавлены или усилены силой воли. Эти компоненты не так контролируемы, как память, хотя и она, как вы знаете, несколько ненадежна. Теперь мы переходим к аффектам и инвазиям, которые контролируются одной только силой. Единственно, что вы можете сделать, это пресечь их. Сожмите кулаки, чтобы не взорваться, ведь они могут оказаться сильнее вашего ЭГО-комплекса.

Разумеется, никакая психическая система не может быть отражена в такой грубой диаграмме. Это, скорее, шкала оценок, показывающая, как энергия или интенсивность ЭГО-комплекса, манифестирующая себя в волевом усилии, уменьшается по мере приближения к темной сфере — *бессознательному*. Прежде всего мы вступаем в личностное подсознание, некий порог в сфере *бессознательного*. Это часть психики, содержащая те элементы, которые могут быть осознанными. Многие вещи именуются бессознательными, но это относительно. Есть люди, для которых осознано практически все, что может осознать человек. Конечно, в нашем цивилизованном мире есть много неосознанных вещей, хотя индусы, китайцы, к примеру, осознают то, к чему наши психоаналитики идут долгим, сложным путем. Более того, живущий в естественных, природных условиях человек удивительным образом осознает то, о чем городской житель просто не догадывается, а если и вспоминает, то лишь под влиянием психоанализа. Я обнаружил это еще в школе. Я жил в деревне, среди крестьян, и знал то, чего не знали другие мальчишки в городе. Просто мне представился случай и это во многом помогло мне. Анализируя сны или симптомы фантазий невротиков или обычных людей, вы проникаете в сферу бессознательного, вы переступаете этот искусственный порог.

Весьма примечательно то, что человек может развить свое сознание до такой степени, что может сказать: “Ничто человеческое мне не чуждо”. (*Nihil humanum a me alienum puto*).

В конце концов мы подходим к ядру, которое вообще не может быть осознано — сфере архетипического разума. Его возможные содержания появляются в форме образов, которые могут быть понятны только в сравнении с их историческими параллелями. Если вы не распознаете определенный материал как исторический и не проведете параллели, то не сможете собрать все содержания в сознании, и последние останутся проектированными <...>. Содержания *коллективного бессознательного* не контролируются волей и ведут себя так, словно никогда в нас и не существовали — их можно обнаружить у окружающих, но

только не в самом себе. К примеру, плохие абиссинцы нападают на итальянцев; или, как в известном рассказе Анатоля Франса: два крестьянина живут в постоянной вражде. И когда у одного из них спрашивают, почему он так ненавидит своего соседа, он отвечает: “Но ведь он на другом берегу реки!”.

Как правило, когда коллективное бессознательное констеллируется в больших социальных группах, то результатом становится публичное помешательство, ментальная эпидемия, которая может привести к революции или войне и т. п. Подобные движения очень заразительны — заражение происходит потому, что во время активизации коллективного бессознательного человек перестает быть самим собой. Он не просто участвует в движении, он и *есть* само движение.

Д. Н. Узнадзе

ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ¹

Постановка проблемы установки

1. Иллюзия объема. Возьмем два разных по весу, но совершенно одинаковых в других отношениях предмета — скажем, два шара, которые отчетливо отличались бы друг от друга по весу, но по объему и другим свойствам были бы совершенно одинаковы. Если предложить эти шары испытуемому с заданием сравнить их между собой по объему, то, как правило, последует ответ: более тяжелый шар — меньше по объему, чем более легкий. Причем иллюзия эта обычно выступает тем чаще, чем значительнее разница по весу между шарами. Нужно полагать, что иллюзия здесь обусловлена тем, что с увеличением веса предмета обычно увеличивается и его объем, и вариация его по весу, естественно, внушает субъекту и соответствующую вариацию его в объеме.

Но экспериментально было бы продуктивнее разницу объектов по весу заменить разницей их по объему, т. е. предлагать повторно испытуемому два предмета, отличающихся друг от друга по объему, причем один (например, меньший) — в правую, а другой (большой) — в левую руку. Через определенное число повторных воздействий (обычно через 10—15 воздействий) субъект получает в руки пару равных по объему шаров с заданием сравнить их между собой. И вот оказывается, что

испытуемый не замечает, как правило, равенства этих объектов: наоборот, ему кажется, что один из них явно больше другого, причем в преобладающем большинстве случаев в направлении *контраста*, т. е. бóльшим кажется ему шар в той руке, в которую в предварительных опытах он получал меньший по объему шар. При этом нужно заметить, что явление это выступает в данном случае значительно сильнее и чаще, чем при предложении неодинаковых по весу объектов. Бывает и так, что объект кажется большим в другой руке, т. е. в той, в которую испытуемый получал больший по объему шар.

В этих случаях мы говорим об *ассимилятивном* феномене. Так возникает иллюзия объема.

Но объем воспринимается не только гаптически, как в этом случае; он оценивается и с помощью зрения. Спрашивается, как обстоит дело в этом случае.

Мы давали испытуемым на этот раз тахистоскопически пару кругов, из которых один был явно больше другого, и испытуемые, сравнив их между собою, должны были указать, какой из них больше. После достаточного числа (10—15) таких однородных экспозиций мы переходили к критическим опытам — экспонировали тахистоскопически два равновеликих круга, и испытуемый, сравнив их между собою, должен был указать, какой из них больше.

Результаты этих опытов оказались следующие: испытуемые воспринимали их иллюзорно; причем иллюзии, как правило, возникали почти всегда по контрасту. Значительно реже выступали случаи прямого, ассимилятивного характера. Мы не приводим здесь данных этих опытов². Отметим только, что число иллюзий доходит почти до 100% всех случаев.

2. Иллюзия силы давления. Но, наряду с иллюзией объема, мы обнаружили и целый ряд других аналогичных с ней феноменов и прежде всего иллюзию давления (1929 г.).

Испытуемый получает при посредстве барестезиометра одно за другим два раздражения — сначала сильное, потом

¹ Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. М.: Наука, 1966. С. 140—152, 164—169, 180—183.

² Ср.: Usnadze D. Ueber die Gewichtsteuschung und ihre Analoga. Psychol. For. B. XIV, 1931.

сравнительно слабое. Это повторяется 10—15 раз. Опыты рассчитаны на то, чтобы упрочить в испытуемом впечатление данной последовательности раздражений. Затем следует так называемый критический опыт, который заключается в том, что испытуемый получает для сравнения вместо разных два одинаково интенсивных раздражения давления.

Таблица 1

Реакция	+	-	=	?
Иллюзия давления, % ...	45,6	25,0	15,0	14,4

- + число случаев контраста;
 - число ассимиляций;
 - = число адекватных оценок;
 - ? число неопределенных ответов.
- То же значение имеют эти знаки и во всех нижеследующих таблицах.

Результаты этих опытов показывают, что испытуемому эти впечатления, как правило, кажутся не одинаковыми, а разными, а именно: давление в первый раз ему кажется более слабым, чем во второй раз. Таблица 1, включающая в себя результаты этих опытов, показывает, что число таких восприятий значительно выше, чем число адекватных восприятий.

Нужно заметить, что в этих опытах, как и в предыдущих, мы имеем дело с иллюзиями как противоположного, так и симметричного характера: чаще всего встречаются иллюзии, которые сводятся к тому, что испытуемый оценивает предметы критического опыта, т. е. равные экспериментальные раздражители как неодинаковые, а именно: раздражение с той стороны, с которой в предварительных опытах он получал более сильное впечатление давления, он расценивает как более слабое (иллюзия контраста). Но бывает в определенных условиях и так, что вместо контраста появляется феномен ассимиляции, т. е. давление кажется более сильным как раз в том направлении, в котором и в предварительных опытах действовало более интенсивное раздражение.

Мы находим, что более 60% случаев оценки действующих в критических опытах равных раздражений давления нашими испытуемыми воспринимается иллюзорно. Следовательно, не подлежит

сомнению, что явления, аналогичные с иллюзиями объема, имели место и в сфере восприятия давления, существенно отличающегося по структуре рецептора от восприятия объема.

3. Иллюзия слуха. Наши дальнейшие опыты касаются слуховых впечатлений. Они протекают в следующем порядке: испытуемый получает в предварительных опытах при помощи так называемого “падающего аппарата” (Fallaparat) слуховые впечатления попарно: причем первый член пары значительно сильнее, чем второй член той же пары. После 10—15 повторений этих опытов следуют критические опыты, в которых испытуемые получают пары равных слуховых раздражений с заданием сравнить их между собой.

Результаты этих опытов суммированы в табл. 2, которая показывает, что в данном случае число иллюзий доходит до 76%. Следует заметить, что здесь, как, впрочем, и в опытах на иллюзию давления (табл. 1), число ассимилятивных иллюзий выше, чем это бывает обыкновенно; зато, конечно, значительно ниже число случаев контраста, которое в других случаях нередко поднимается до 100%. Нужно полагать, что здесь играет роль то, что в обоих этих случаях мы имеем дело с последовательным порядком предложения раздражений, т. е. испытуемые получают раздражения одно за другим, но не одновременно, с заданием сравнить их между собой, и нами замечено, что число ассимиляций значительно растет за счет числа феноменов контраста.

Таблица 2

Реакция	+	-	=	?
Слуховая ассимиляция, % ...	57,0	19,0	1,0	3,0

Ниже мы попытаемся объяснить, почему это бывает так.

Цифры, полученные в этих опытах, не оставляют сомнения, что случаи феноменов, аналогичных с феноменом иллюзий объема, имеют место и в области слуховых восприятий.

4. Иллюзия освещения. Еще в 1930 г. я имел возможность высказать предположение¹, что явления начальной переоценки степени освещения или затемнения при

¹ См. *Узнадзе Д.* Об основном законе смены установки // Психология. 1930. Вып. 9.

светлостной адаптации могут относиться к той же категории явлений, что и описанные нами выше иллюзии восприятия. В дальнейшем это предположение было проверено в моей лаборатории следующими опытами: испытуемый получает два круга для сравнения их между собой по степени их освещенности, причем один из них значительно светлее, чем другой. В предварительных опытах (10—15 экспозиций) круги эти экспонируются испытуемым в определенном порядке: сначала темный круг, а затем — светлый. В критических же опытах показываются два одинаково светлых круга, которые испытуемый сравнивает между собой по их освещенности. Результаты опытов, как показывает таблица 3, не оставляют сомнения, что в критических опытах, под влиянием предварительных, круги не кажутся нам одинаково освещенными: более чем в 73% всех случаев они представляются нашим испытуемым значительно разными. Итак, феномен наш выступает и в этих условиях.

Таблица 3

Реакция	+	-	=	?
Иллюзия освещения, % ...	56,6	16,6	21,6	6,2

5. Иллюзия количества. Следует отметить, что при соответствующих условиях аналогичные явления имеют место и при сравнении между собой количественных отношений. Испытуемый получает в предварительных опытах два круга, из которых в одном мы имеем значительно большее число точек, чем в другом. Число экспозиций колеблется и здесь в пределах 10—15. В критических опытах испытуемый получает опять два круга, но на этот раз число точек в них одинаковое. Испытуемый, однако, как правило, этого не замечает, и в большинстве случаев ему кажется, что точек в одном из этих кругов заметно больше, чем в другом, а именно больше в том круге, в котором в предварительных опытах он видел меньшее число этих точек.

Таким образом, феномен той же иллюзии имеет место и в этих условиях.

6. Иллюзия веса. *Фехнер* в 1860 г., а затем *Г. Мюллер* и *Шуман* в 1889 г. обратили внимание еще на один, аналогичный нашим, феномен, ставший затем известным под названием *иллюзии* веса. Он заключа-

ется в следующем: если давать испытуемому задачу повторно, несколько раз подряд, поднять пару предметов заметно неодинакового веса, причем более тяжелый правой, а менее тяжелый левой рукой, то в результате выполнения этой задачи у него вырабатывается состояние, при котором и предметы одинакового веса начинают ему казаться неодинаково тяжелыми, причем груз в той руке, в которую предварительно он получал более легкий предмет, ему начинает казаться чаще более тяжелым, чем в другой руке.

Мы видим, что по существу то же явление, которое было указано нами в ряде предшествующих опытов, имеет место и в области восприятия веса.

7. Попытки объяснения этих феноменов. *Теория Мюллера.* Если просмотрим все эти опыты, увидим, что в сущности всюду в них мы имеем дело с одним и тем же явлением: все указанные здесь иллюзии имеют один и тот же характер — они возникают в совершенно аналогичных условиях и, следовательно, должны представлять собой разновидности одного и того же феномена. Поэтому теория Мюллера, построенная специально с целью объяснения одного из указанных явлений, именно иллюзии веса, не может в настоящее время считаться удовлетворительной. Она имеет в виду специфические особенности восприятия веса и, конечно, для объяснения иллюзий других чувственных модальностей должна оказаться несостоятельной.

В самом деле, Мюллер рассуждает следующим образом: когда мы даем испытуемому в руки несколько раз по паре неодинаково тяжелых предметов, то, в конце концов, у него вырабатывается привычка для поднимания первого, т. е. более тяжелого члена пары мобилизовать более сильный мускульный импульс, чем для поднимания второго члена пары. Если же теперь, после повторения этих опытов достаточное число раз (10—15 раз), дать тому же испытуемому в каждую руку по предмету одинакового веса, то предметы эти будут казаться ему опять неодинаково тяжелыми. Ввиду того, что у него выработалась привычка правой рукой поднимать более тяжелый предмет, он мобилизует при поднимании тяжести этой рукой более сильный импульс, чем при поднимании другой рукой. Но раз в данном

случае фактически приходится поднимать предметы одинакового веса, то, понятно, мобилизованный в правой руке импульс к более тяжелому “быстрее и легче отрываёт” тяжесть с подставки, чем это имеет место с левой стороны, и тяжесть справа легче “летит вверх”, чем тяжесть слева.

Психологическую основу иллюзии, следовательно, следует полагать, согласно этой теории, в переживании быстроты поднимания тяжести: когда она как бы “летит вверх”, она кажется легкой, когда же, наоборот, она поднимается выше медленно, то она как бы “прилипает к подставке” и переживается как более тяжелый предмет. Такова теория Мюллера.

Мы видим, что решающее значение, согласно этой теории, имеет впечатление “взлета вверх” или “прилипания” тяжести к подставке: без этих впечатлений мы не чувствовали бы различия между обеими тяжестями — иллюзия бы не имела места.

Но ведь явления этого рода мы можем переживать лишь в случаях поднимания тяжестей, т. е. там, где имеет смысл говорить о впечатлениях “взлета вверх” или “прилипания к подставке”. Между тем, по существу то же явление, как мы видели, имеет место и в ряде случаев, где о впечатлениях этого рода и речи не может быть. Так, мы имеем дело с иллюзиями объема, силы давления, слуха, освещения, количества, словом, с иллюзиями, которые по существу нужно трактовать как разновидности одного и того же явления, не имеющего существенной или вовсе никакой связи с какими-нибудь определенными периферическими процессами. Оставаясь одним и тем же феноменом, в тактильной сфере она становится иллюзией давления, в зрительной и гаптической — иллюзией объема, в мускульной — иллюзией веса и т. д. По существу же она остается одним и тем же феноменом, для понимания сущности которого особенности отдельных чувственных модальностей, в которых он проявляется, существенной роли не играют. Поэтому совершенно ясно, что для объяснения этого феномена мы должны отвлечься от теории Мюллера и искать его в другом направлении.

И вот прежде всего возникает вопрос: что находим мы общего, в условиях наших опытов, в деятельности отдельных сенсорных модальностей, что можно было бы признать общей основой, на которой вырастают констатированные нами аналогичные друг другу явления иллюзии?

Теория “обманутого ожидания”. В психологической литературе мы встречаем теорию, которая, казалось бы, вполне отвечает поставленному здесь нами вопросу. Это — теория “обманутого ожидания”. Правда, при ее разработке упомянутые нами аналоги иллюзии веса были еще неизвестны: они были впервые опубликованы нами в связи с проблемой об основах данной иллюзии позднее¹. Тем больше внимания заслуживает эта теория сейчас, когда наличие этих аналогов определенно указывает, что в основе интересующих здесь нас феноменов должно лежать нечто, имеющее по существу лишь формальное значение и потому могущее оказаться годным для объяснения тех случаев, которые, касаясь материала различных чувственных модальностей, столь сильно отличаются друг от друга со стороны содержания.

Теория “обманутого ожидания” пытается объяснить иллюзию веса следующим образом: в результате повторного поднимания тяжестей (или же для объяснения наших феноменов мы могли бы сейчас добавить — повторного воздействия зрительного, слухового или какого-либо другого впечатления) у испытуемого вырабатывается *ожидание*, что в определенную руку ему будет дан всегда более тяжелый предмет, чем в другую, и когда в критическом опыте он не получает в эту руку более тяжелого предмета, чем в другую, его ожидание оказывается обманутым, и он, недооценивая вес полученного им предмета, считает его более легким. Так возникает, согласно этой теории, впечатление контраста веса, а в соответствующих условиях и другие обнаруженные нами аналоги этого феномена.

Нет сомнения, что теория эта имеет определенное преимущество перед мюллеровской, поскольку она в основе признает возможность проявления наших феноменов всюду, где только может идти речь об “обманутом ожидании”, следовательно, не

¹ См. *Узнадзе Д.* Об основном законе смены установки.

только в одной, но и во всех наших чувственных сферах. Наши опыты именно и показывают, что интересующая здесь нас иллюзия не ограничивается сферой одной какой-нибудь чувственной модальности, а имеет значительно более широкое распространение.

Тем не менее принять эту теорию не представляется возможным. Прежде всего она мало удовлетворительна, поскольку не дает никакого ответа на существенный в нашей проблеме вопрос — вопрос о том, почему, собственно, в одних случаях возникает впечатление контраста, а в других — ассимиляции. Нет никаких оснований считать, что субъект действительно “ожидает”, что он и в дальнейшем будет получать то же соотношение раздражителей, какое он получал в предварительных опытах. На самом деле такого “ожидания” у него не может быть, хотя бы после того, как выясняется после одной—двух экспозиций, что он получает совсем не те раздражения, которые он, быть может, действительно “ожидал” получить. Ведь в наших опытах иллюзии возникают не только после одной—двух экспозиций, но и далее.

Но и независимо от этого соображения теория “обманутого ожидания” все же должна быть проверена и притом проверена, если возможно, экспериментально; лишь в этом случае можно будет судить окончательно о ее приемлемости.

Мы поставили специальные опыты, которые должны были разрешить интересующий здесь нас вопрос о теоретическом значении переживания “обманутого ожидания”. В данном случае мы использовали состояние гипнотического сна, поскольку оно предоставляет в наше распоряжение выгодные условия для разрешения поставленного вопроса. Дело в том, что факт рапорта, возможность которого представляется в состоянии гипнотического сна, и создает нам эти условия.

Мы гипнотизировали наших испытуемых и в этом состоянии провели на них предварительные опыты. Мы давали им в руки обычные шары — один большой, другой — малый и заставляли их сравнивать эти шары по объему между собой. По окончании опытов, несмотря на факты обычной постгипнотической амнезии, мы все же специально внушали испытуемым, что они должны основательно забыть все, что с ними

делали в состоянии сна. Затем отводили испытуемого в другую комнату, там будили его и через некоторое время, в бодрствующем состоянии, проводили с ним наши критические опыты, т. е. давали в руки равные по объему шары с тем, чтобы испытуемый сравнил их между собой.

Наши испытуемые почти во всех случаях находили, что шары эти не равны, что шар слева (т.е. в той руке, в которую в предварительных опытах во время гипнотического сна они получали больший по объему шар) заметно меньше, чем шар справа.

Таким образом, не подлежит сомнению, что иллюзия может появиться и под влиянием предварительных опытов, проведенных в состоянии гипнотического сна, т. е. в состоянии, в котором и речи не может быть ни о каком “ожидании”. Ведь совершенно бесспорно, что наши испытуемые не имели ровно никакого представления о том, что с ними происходило во время гипнотического сна, когда над ними проводились критические опыты, и “ожидать” они, конечно, ничего не могли. Бесспорно, теория “обманутого ожидания” оказывается несостоятельной для объяснения явлений наших феноменов.

8. Установка как основа этих иллюзий. Что же, если не “ожидание”, в таком случае определяет поведение человека в рассмотренных выше экспериментах? Мы видим, что везде, во всех этих опытах, решающую роль играет не то, что специфично для условий каждого из них, — не сенсорный материал, возникающий в особых условиях этих задач, или что-нибудь иное, характерное для них, — не то обстоятельство, что в одном случае речь идет, скажем, относительно объема, гаптического или зрительного, а в другом — относительно веса, давления, степени освещения или количества. Нет, решающую роль в этих задачах играет именно то, что является общим для них всех моментом, что объединяет, а не разъединяет их.

Конечно, на базе столь разнородных по содержанию задач могло возникнуть одно и то же решение только в том случае, если бы все они в основном касались одного и того же вопроса, чего-то общего, представленного в своеобразной форме в каждом отдельном случае. И действительно, во всех этих задачах вопрос сво-

дится к определению количественных отношений: в одном случае спрашивается относительно взаимного отношения объемов двух шаров, в другом — относительно силы давления, веса, количества. Словом, во всех случаях ставится на разрешение вопрос как будто об одной и той же стороне разных явлений — об их количественных отношениях.

Но эти отношения не являются в наших задачах отвлеченными категориями. Они в каждом отдельном случае представляют собой вполне конкретные данности, и задача испытуемого заключается в определении именно этих данностей. Для того, чтобы разрешить, скажем, вопрос о величине кругов, мы сначала предлагаем испытуемому несколько раз по два неравных, а затем, в критическом опыте, по два равных круга. В других задачах он получает в предварительных опытах совсем другие вещи: два неодинаково сильных впечатления давления, два неодинаковых количественных впечатления, а в критическом опыте — два одинаковых раздражения. Несмотря на всю разницу материала, вопрос остается во всех случаях по существу один и тот же: речь идет всюду о характере отношения, которое мыслится внутри каждой задачи. Но отношение здесь не переживается в каком-нибудь обобщенном образе. Несмотря на то, что оно имеет *общий* характер, оно дается всегда в каком-нибудь *конкретном* выражении. Но как же это происходит?

Решающее значение в этом процессе, нужно полагать, имеют наши *предварительные* экспозиции. В процессе повторного предложения их у испытуемого вырабатывается какое-то *внутреннее состояние*, которое подготавливает его к восприятию дальнейших экспозиций. Что это внутреннее состояние действительно существует и что оно действительно подготовлено повторным предложением предварительных экспозиций, в этом не может быть сомнения: стоит произвести критическую экспозицию сразу, без предварительных опытов, т.е. предложить испытуемому вместо неравных сразу же равные объекты, чтобы увидеть, что он их воспринимает адекватно. Следовательно, несомненно, что в наших опытах эти равные объекты он воспринимает по типу предварительных экспозиций, а именно как неравные.

Как же объяснить это? Мы видели выше, что об “ожидании” здесь говорить нет оснований: нет никакого смысла считать, что у испытуемого вырабатывается “ожидание” получить те же раздражители, какие он получал в предварительных экспозициях.

Но мы видели, что и попытка объяснить все это вообще как-нибудь иначе, ссылаясь еще на какие-нибудь известные психологические факты, тоже не оказывается продуктивной. Поэтому нам остается обратиться к специальным опытам, которые дали бы ответ на интересующий здесь нас вопрос. Это наши гипнотические опыты, о которых мы только что говорили.

Результаты этих опытов даны в табл. 4 (в процентах).

Таблица 4

Реакция	+	-	=
16 испытуемых, % ...	82	17	1

Мы видим, что результаты эти в основном точно те же, что и в обычных наших опытах (табл. 1), а именно: несмотря на то, что испытуемый, вследствие постгипнотической амнезии, ничего не знает о предварительных опытах, не знает, что в одну руку он получал больший по объему шар, а в другую меньший, одинаковые шары критических опытов он все же воспринимает как неодинаковые: иллюзия объема и в этих условиях остается в силе.

О чем же говорят нам эти результаты? Они указывают на то, что, бесспорно, не имеет никакого значения, *знает испытуемый что-нибудь о предварительных опытах или он ничего о них не знает*: и в том, и в другом случае в нем создается какое-то состояние, которое в полной мере обуславливает результаты критических опытов, а именно, равные шары кажутся ему неравными. Это значит, что в результате предварительных опытов у испытуемого появляется состояние, которое, несмотря на то, что его ни в какой степени нельзя назвать сознательным, все же оказывается фактором, вполне действенным и, следовательно, вполне реальным фактором, направляющим и определяющим содержание нашего сознания. Испытуемый ровно ничего не знает о том, что в предварительных опытах он получал в руки шары неодинакового объема, он вообще ничего не знает

об этих опытах, и, тем не менее, показания критических опытов самым недвусмысленным образом говорят, что их результаты зависят в полной мере от этих предварительных опытов.

Можно ли сомневаться после этого, что в психике наших испытуемых существует и действует фактор, о наличии которого в сознании и речи не может быть, — состояние, которое можно поэтому квалифицировать как *внесознательный* психический процесс, оказывающий в данных условиях решающее влияние на содержание и течение сознательной психики.

Но значит ли это, что мы допускаем существование области “бессознательного” и, таким образом, расширяя пределы психического, находим место и для отмеченных в наших опытах психических актов? Конечно, нет! Ниже, когда мы будем говорить специально о проблеме бессознательного, мы покажем, что в принципе в широко известных учениях о бессознательном обычно не находят разницы между сознательными и бессознательными психическими процессами. И в том, и в другом случае речь идет о фактах, которые, по-видимому, лишь тем отличаются друг от друга, что в одном случае они сопровождаются сознанием, а в другом — лишены такого сопровождения; по существу же содержания эти психические процессы остаются одинаковыми: достаточно появиться сознанию, и бессознательное психическое содержание станет обычным сознательным психическим фактом.

Но в нашем случае речь идет не о такого рода различии между сознательными душевными явлениями и теми специфическими процессами, которые, будучи лишены сознания, протекают вне его пределов. Здесь вопрос касается двух различных областей психической жизни, из которых каждая представляет собой особую, самостоятельную ступень развития психики и является носителем специфических особенностей. В нашем случае речь идет о ранней, досознательной ступени психического развития, которая находит свое выражение в констатированных выше экспериментальных фактах и, таким образом, становится доступной научному анализу.

Итак, мы находим, что в результате предварительных опытов в испытуемом

создается некоторое специфическое состояние, которое не поддается характеристике как какое-нибудь из явлений сознания. Особенностью этого состояния является то обстоятельство, что оно предваряет появление определенных фактов осознания или предшествует им. Мы могли бы сказать, что это состояние, не будучи сознательным, все же представляет своеобразную тенденцию к определенным содержаниям сознания. Правильнее всего было бы назвать это состояние *установкой* субъекта, и это потому, что, во-первых, это не частичное содержание сознания, не изолированное психическое содержание, которое противопоставляется другим содержаниям сознания и вступает с ними во взаимоотношения, а некоторое *целостное состояние* субъекта; во-вторых, это не просто какое-нибудь из содержаний его психической жизни, а момент ее *динамической определенности*. И, наконец, это не какое-нибудь определенное, частичное содержание сознания субъекта, а целостная *направленность* его в определенную сторону на определенную активность. Словом, это, скорее, *установка* субъекта как целого, чем какое-нибудь из его отдельных переживаний, — *его основная, его изначальная реакция на воздействие ситуации, в которой ему приходится ставить и разрешать задачи*.

Но если это так, тогда все описанные выше случаи иллюзии представляются нам как проявление деятельности установки. Это значит, что в результате воздействия объективных раздражителей, в нашем случае, например, шаров неодинакового объема, в испытуемом в первую очередь возникает не какое-нибудь содержание сознания, которое можно было бы формулировать определенным образом, а скорее, некоторое специфическое состояние, которое лучше всего можно было бы характеризовать как *установку* субъекта в определенном направлении.

Эта установка, будучи целостным состоянием, ложится в основу совершенно определенных психических явлений, возникающих в сознании. Она не следует в какой-нибудь мере за этими психическими явлениями, а, наоборот, можно сказать, предваряет их, определяя состав и течение этих явлений.

Для того, чтобы изучить эту установку, было бы целесообразно наблюдать ее дос-

таточно продолжительное время. А для это-то было бы важно *закрепить, зафиксировать* ее в необходимой степени. Этой цели служит *повторное* предложение испытуемому наших экспериментальных раздражителей. Эти повторные опыты мы обычно называем *фиксирующими* или просто *установочными*, а самую установку, возникающую в результате этих опытов, *фиксирующей установкой*.

Чтобы подтвердить высказанные здесь нами предположения, дополнительно были проведены следующие опыты. Мы давали испытуемому нашу обычную *предварительную* или, как мы будем называть в дальнейшем, *установочную* серию — два шара неодинакового объема.

Новый момент был введен лишь в критические опыты. Обычно в качестве критических тел испытуемые получали в руки шары, по объему равные меньшему из установочных. Но в этой серии мы пользовались в качестве критических шарами, которые по объему были больше, чем больший из установочных. Это было сделано в одной серии опытов. В другой серии критические шары заменялись другими фигурами — кубами, а в оптической серии опытов — рядом различных фигур.

Результаты этих опытов подтвердили высказанное нами выше предположение: испытуемым эти критические тела казались неравными — иллюзия и в этих случаях была налицо.

Раз в критических опытах в данном случае принимала участие совершенно новая величина (а именно шары, которые отличались по объему от установочных, были больше, чем какой-нибудь из них), а также ряд пар других фигур, отличающихся от установочных, и, тем не менее, они воспринимались сквозь призму выработанной на другом материале установки, то не подлежит сомнению, что материал установочных опытов не играет роли и установка вырабатывается лишь на основе *соотношения*, которое остается постоянным, как бы ни менялся материал и какой бы чувственной модальности он ни касался.

Еще более яркие результаты получим мы в том же смысле, если проведем на этот раз не критические, как выше, а уста-

новочные опыты при помощи нескольких фигур, значительно отличающихся друг от друга по величине¹.

Например, предлагаем испытуемому тахистоскопически, последовательно друг за другом, ряд фигур: сначала треугольники — большой и малый, затем квадраты, шестиугольники и ряд других фигур попарно в том же соотношении.

Словом, установочные опыты построены таким образом, что испытуемый получает повторно лишь определенное соотношение фигур: например, справа — большую фигуру, а слева — малую; сами же фигуры никогда не повторяются, они меняются при каждой отдельной экспозиции.

Надо полагать, что при такой постановке опытов, когда постоянным остается лишь соотношение (большой—малый), а все остальное меняется, у испытуемых вырабатывается установка именно на это соотношение, а не на что-нибудь другое. В критических же опытах они получают пару равных между собой фигур (например, пару равных кругов, эллипсов, квадратов и т.п.), которые они должны сравнить между собой.

Каковы же результаты этих опытов? Остановимся лишь на тех из них, которые представляют непосредственный интерес с точки зрения поставленного здесь вопроса. Оказывается, что, несмотря на непрерывную меняемость установочных фигур, при сохранении нетронутыми их соотношений, факт обычной нашей иллюзии установки остается вне всякого сомнения. Испытуемые в ряде случаев не замечают равенства критических фигур, причем господствующей формой иллюзии и в этом случае является феномен контраста.

Нужно, однако, отметить, что в условиях абстракции от конкретного материала, т.е. в предлагаемых вниманию читателя опытах, действие установки оказывается, как правило, менее эффективным, чем в условиях ближайшего сходства или полного совпадения установочных и критических фигур. Это, однако, вовсе не означает, что в случаях совпадения фигур установочных и критических опытов мы не имеем дела с задачей оценки соотношения этих фигур. Задача по существу и в

¹ См. *Ходжава З.* Фактор фигуры в действии установки // Труды Тбилис. гос. ун-та, 1941. Т. XVIII.

этих случаях остается та же. Но меньшая эффективность этих опытов в случаях полной абстракции от качественных особенностей релятов становится понятной сама собою.

Подводя итоги сказанному, мы можем утверждать, что вскрытые нами феномены самым недвусмысленным образом указывают на наличие в нашей психике не только сознательных, но и *досознательных* процессов, которые, как выясняется, мы можем характеризовать как область наших *установок*. <...>

<...> Но если допустить, что, помимо обычных явлений сознания, у нас имеется и нечто другое, что, не являясь содержанием сознания, все же определяет его в значительной степени, то тогда перед нами открывается возможность судить об явлениях или фактах, подобных *Einsicht*, с новой точки зрения, а именно: открывается возможность обосновать наличие этого “другого” и, что особенно важно, вскрыть в нем определенное реальное содержание.

Если признать, что живое существо обладает способностью реагировать в соответствующих условиях активацией установки, если считать, что именно в ней — в этой установке — мы находим новую сферу своеобразного отражения действительности, о чем мы будем говорить подробнее ниже, то тогда станет понятным, что именно в этом направлении и следует искать ключ к пониманию действительного отношения живого существа к условиям среды, в которой ему приходится строить свою жизнь.

Основные условия деятельности

Мы должны исходить из мысли о наличии двух основных условий, без которых акты поведения человека или какого-либо другого живого существа были бы невозможны. Это прежде всего наличие какой-либо *потребности* у субъекта поведения, а затем и *ситуации*, в которой эта потребность могла бы быть удовлетворена. Это — основные условия возникновения всякого поведения и прежде всего установки к нему. Нам необходимо ближе познакомиться с этими условиями.

1. Потребность. В науке нередко приходится встречаться с термином “потребность”. Особенно часто используется он в экономических науках. Здесь, однако, мы не думаем лишь о том значении, которое мыслится в понятии потребности специально с позиций экономических наук. В данном случае мы имеем в виду самое широкое значение этого слова — не только экономическое. Если представить себе, что организм испытывает нужду в чем-нибудь, например, в экономическом благе, в какой-нибудь другой ценности — практической или теоретической безразлично, в самой активности или, наоборот, в отдыхе и т.п., то во всех этих случаях можно говорить, что мы имеем дело с той или иной потребностью. Словом, как потребность можно квалифицировать всякое состояние психофизического организма, который, нуждаясь в изменениях окружающей среды, дает импульсы к необходимой для этой цели активности.

При этом нужно помнить, что активность должна быть понимаема в данном случае не только как прием, гарантирующий нам средства удовлетворения потребностей, а одновременно и как источник, дающий возможность непосредственного их удовлетворения.

Дело в том, что необходимо различать два основных рода потребностей — потребности *субстанциональные* и потребности *функциональные*.

В первом случае мы имеем в виду потребности, для удовлетворения которых необходимо что-нибудь субстанциональное, нечто, по получении чего потребность оказывается удовлетворенной. Так, например, состояние голода представляет собой пример определенной субстанциональной потребности: для того, чтобы утолить голод, необходимо иметь, например, хлеб.

Но эта категория еще не исчерпывает всех имеющихся у нас потребностей. Как мы только что отметили, в живом организме намечается стремление к тому или иному виду активности. В организме констатируется не нужда в чем-либо субстанциональном: он стремится к активности как таковой, он нуждается просто в самой деятельности. Это значит, что естественное состояние живого организма вовсе не заключается в неподвижности. Наоборот, живой организм находится в состоянии

постоянной подвижности. Он прекращает ее лишь временно и условно. Это — тогда, когда организм принужден обратиться к отдыху, хотя, впрочем, и здесь абсолютной приостановки деятельности у него никогда не бывает: органические процессы и в этих случаях, как и во всех других, продолжают быть активными. В зависимости от условий, в которых приходится жить организму в каждый данный момент, у него появляется потребность к деятельности и функционированию в том или ином направлении. Этого рода потребности мы и называем *функциональными* потребностями¹.

Эти две основные группы исчерпывают все богатства потребностей, имеющих у животных. Но они же служат основными категориями и тех потребностей, какие появляются у человека по мере развития условий его социальной, его культурной жизни. Культура порождает у него ряд новых потребностей, и чем дальше она развивается, тем обширнее становится их круг. В качестве примера потребности, которую можно было бы считать чисто человеческой, можно назвать *теоретическую* потребность. Правда, в литературе мы нередко имеем случаи, когда речь заходит относительно таких, как я думаю, чисто человеческих признаков у животных, в частности у обезьян, каким является, например, любознательность. Но, строго говоря, нет оснований антропоморфизировать даже признаки высших обезьян. Сейчас я хочу лишь отметить, что, бесспорно, в качестве своеобразной группы потребностей, выработавшихся у человека, можно назвать группу *теоретических* потребностей.

Но являются ли эти последние чем-либо новым, с точки зрения той основной группировки потребностей, которую мы наметили выше? Субстанциональной считать теоретическую потребность или функциональной?

Если мы вдумаемся в понятие теоретической потребности, мы найдем, что речь идет здесь о случаях, в которых субъект, стоящий перед теоретическим разрешением задачи, *останавливается*, прекращает соответствующие манипуляции, к которым он прибегает в процессе работы над

задачей, и обращает ее, эту задачу, в специальный объект своего размышления. Вот, собственно, перед нами момент объективации (о чем мы будем говорить ниже), за которым начинается процесс теоретического отношения к задаче².

Спрашивается: что мы имеем здесь? К какой категории можно отнести потребность, которую мы стремимся удовлетворить в этом случае?

Конечно, говорить здесь о функциональных потребностях вряд ли имеются основания. Акты теоретической мысли направлены, несомненно, не на цель удовлетворения той или иной функциональной потребности. Они, эти акты, нужны для вполне определенных целей, скажем, для разрешения вопроса о том, в чем, собственно, заключается задача или какие правила было бы целесообразнее всего применить при ее решении. Нет сомнения, что задача теоретического отношения к предмету стоит несравненно ближе именно к этой категории потребностей, чем к категории функциональных потребностей. При разрешении задач последней категории нет никакой нужды в теоретической работе: наличная в этих случаях потребность вовсе не требует процессов осознания, часто необходимых в случаях удовлетворения потребностей субстанциональных. И в этом нет ничего удивительного, поскольку при удовлетворении субстанциональных потребностей всегда может возникнуть вопрос, как и в какой степени данный материал способен удовлетворить наличную потребность. А это — уже вопрос, который требует осознания в теоретическом плане, прежде чем взяться за его практическое разрешение.

Таким образом, теоретические потребности возникают лишь в помощь нашим субстанциональным потребностям. Поскольку они рассчитаны всегда на то, чтобы обеспечить удовлетворение этих последних, мы могли бы сказать, что теоретические потребности представляют собой лишь дальнейшее осложнение субстанциональных потребностей. Не касаясь сейчас высших ступеней развития теоретического мышления, мы можем утверждать, что оно — на начальных стадиях своего разви-

¹ См. *Узнадзе Д.Н.* Психология ребенка, 1946.

² См. *Узнадзе Д.Н.* Проблема внимания // Психология. 1947. Вып. 4.

тия во всяком случае — ничего иного не представляет, как форму дальнейшего осложнения процесса удовлетворения субстанциональных потребностей.

Правда, мы знаем немало случаев действий, направленных на удовлетворение функциональных потребностей. Но это бывает обычно лишь при возникновении какого-нибудь из препятствий, затрудняющих нас при выполнении актов, необходимых для удовлетворения этих потребностей. Однако возникающая в данном случае задача — определить, что же является причиной этих затруднений, — это уже задача вовсе не функционального характера. Она является самостоятельной задачей, разрешение которой требуется в данном случае в интересах субъекта, настроенного на удовлетворение функциональных потребностей, но — не непосредственно, а лишь косвенно, как необходимое условие для достижений его прямых целей.

Коротко говоря, в данном случае мы имеем дело с ситуацией, в которой для осуществления прямых целей субъекта — удовлетворения его функциональных потребностей — предварительно требуется разрешение теоретической задачи — выяснения причин, затрудняющих осуществление этих целей.

Таким образом, потребности теоретического характера могут иметь место и в случаях удовлетворения функциональных потребностей, но от этого сами они далеко еще не становятся потребностями функционального содержания.

Итак, мы находим, что одним из основных условий активности субъекта является наличие в нем какой-нибудь определенной потребности, которая может быть субстанциональной или функциональной. На человеческой ступени развития мы становимся свидетелями выступления нового вида потребностей, т. е. *теоретической* потребности. Но анализ показывает, что она относится, скорее, к категории субстанциональных, чем функциональных потребностей.

2. Ситуация. Необходимым условием появления установки в определенном направлении, кроме потребности, является и наличие соответствующей ей *ситуации*. Если ее нет, то нет и установки: без наличия факта совместного и согласованного

воздействия ситуации и потребности на субъект нет основания к тому, чтобы в этом последнем образовалась установка и чтобы, следовательно, он был готов к действию.

Конечно, потребность может существовать и вне ситуации, делающей возможным ее удовлетворение. Но в таком случае она не имеет законченного, индивидуально определенного характера. Она получает его лишь в результате воздействия наличной ситуации, могущей принести ей удовлетворение: потребность конкретизируется, она становится индивидуально определенной потребностью, удовлетворение которой возможно в конкретных условиях данной ситуации лишь при наличии этой последней. Пока такой ситуации нет, потребность продолжает оставаться неиндивидуализированной. Но достаточно появиться определенной ситуации, нужной для удовлетворения этой потребности, чтобы в субъекте возникла конкретно очерченная установка и он почувствовал бы в себе импульс к деятельности в совершенно определенном направлении.

Таким образом, для возникновения установки необходимо наличие соответствующей ситуации, в условиях которой она принимает вполне определенный, конкретный характер. Следовательно, объективным фактором, определяющим установку, следует считать именно такого рода ситуацию.

Мы видим, что установка создается не на основе наличия одной только потребности или одной только объективной ситуации: для того, чтобы она возникла как установка к определенной активности, нужно, чтобы потребность совпала с наличием ситуации, включающей в себя условия для ее удовлетворения.

Здесь было бы интересно коснуться учения Левина о “побуждающем характере” определенного круга представлений (*Aufforderungscharakter*). Характер этот выступает, по его мнению, в случаях наших отношений к вещам и явлениям, в которых мы нуждаемся. Когда у нас возникает какая-нибудь потребность, то объекты или явления, имеющие к ней отношение, приобретают некоторую силу по отношению к нам: они заставляют нас действовать в определенном направлении, они призывают нас к определенным актам

деятельности: хлеб влечет голодного к тому, чтобы он схватил и съел его; постель влечет усталого лечь в нее. Но эта побуждающая, эта направляющая сила обнаруживается только в тех случаях, в которых субъект имеет соответствующую потребность. Достаточно ее удовлетворить, чтобы вещи и явления потеряли эту силу.

Это учение Левина интересно в том отношении, что оно представляет собой результат правильного наблюдения, согласно которому вещи и явления, когда они выступают компонентами ситуации удовлетворения какой-нибудь актуальной потребности, действительно становятся как бы силой по отношению к субъекту этой потребности: они как бы тянут его к себе в буквальном смысле слова. Но это бывает лишь в тех случаях, когда соответствующая потребность определенно имеется у субъекта. Левин в этом случае дает фактическое наблюдение, которое соответствует предположению о возникновении установки в определенном направлении лишь у субъекта, имеющего определенную потребность, и при наличии ситуации, необходимой для ее удовлетворения.

Итак, мы видим, что для возникновения установки в определенном направлении требуются условия субъективного и объективного характера: нужно наличие как потребности, так и ситуации, в которой она может быть удовлетворена.

Это — два основных условия, которые абсолютно необходимы для того, чтобы могла возникнуть какая-нибудь определенная установка. Конечно, вне субъективных и объективных условий вообще никакой активности не бывает. Но в данном случае мы утверждаем не только это. Здесь мы хотели бы обратить внимание и на то обстоятельство, что необходимым и действительным условием возникновения установки следует считать как бы некоторое единство обоих этих условий. В нашем случае это единство осуществляется в следующем: потребность, которая имеется в субъекте, становится вполне определенной конкретной потребностью лишь после того, как выясняется объективная ситуация в форме какой-нибудь конкретной ситуации, предоставляющей субъекту возможность удовлетворения данной потребности; оба момента — и ситуация, и потребность — определяются

как конкретные факты в связи друг с другом. <...>

Разновидности состояния установки

1. Фиксированная установка. При наличии потребности, которая должна быть удовлетворена, и соответствующей ситуации живой организм обращается к определенной целенаправленной деятельности. Но как мы убедились, эта деятельность, в первую очередь, зарождается в форме установки, которая в дальнейшем раскрывается в виде доступных наблюдателю внутренних и внешних актов поведения. Сейчас перед нами стоит вопрос, как и в каких формах происходит этот процесс зарождения установки.

В наших опытах дело начинается, как правило, рядом экспозиций экспериментальных объектов (установочные опыты) с тем, чтобы затем перейти к критическим экспозициям и показать, как подействовали на них предшествовавшие им установочные опыты.

В чем же заключается роль этих установочных опытов? Выше мы уже говорили относительно феномена фиксации, который является результатом повторного предложения этих опытов испытуемому.

Мы полагаем, что в итоге многократного повторения этих опытов у испытуемого фиксируется установка, возникающая при каждой отдельной экспозиции. Повторение в данном случае, по-видимому, играет решающую роль, оно дает возможность зафиксировать возникающую при каждой отдельной экспозиции установку. Поэтому эти повторные установочные опыты можно было бы назвать фиксирующими.

Другое дело, как возможно, чтобы повторение в данном случае играло роль фактора, содействующего процессу фиксации. Этого вопроса здесь мы не будем касаться. Отметим только, что однократной экспозиции установочных объектов в большинстве случаев не бывает достаточно для того, чтобы соответствующая этой экспозиции установка осталась у испытуемого до такой степени доминирующей, чтобы предлагаемые затем равные объекты воспринимались на ее основе и, следовательно, казались бы неравными. Поэтому число экспозиций должно быть увеличено

настолько, чтобы можно было говорить о достаточно фиксированной установке.

Фиксация установки может происходить и в следующих условиях: скажем, в условиях какой-нибудь определенной ситуации у меня появилась соответствующая этим условиям установка, которая, повлияв на акт моего поведения, сыграла свою роль и затем прекратила свое действие. Но что же фактически происходит с ней после этого? Исчезает ли она совершенно бесследно, будто ее никогда и не было, или она каким-то образом продолжает существовать, сохраняя способность все же оказывать некоторое влияние на наше поведение?

Если верно экспериментально подкрепленное выше положение о том, что установка представляет собой целостную модификацию личности или субъекта вообще, то тогда не вызывает сомнений, что она, сыграв свою роль, сейчас же должна уступить место другой, новой, актуально действующей установке. Но это еще не значит, что она-то сама окончательно и раз навсегда выходит из строя. Наоборот, в случае, если субъект попадает в ту же ситуацию с теми же намерениями, что и раньше, в нем должна возобновиться и прежняя установка заметно быстрее, чем это нужно было бы для возникновения новой установки в условиях совершенно новой ситуации. Это дает нам право считать, что раз активированная установка, вообще говоря, не пропадает, то она сохраняет в себе готовность снова актуализироваться, лишь только вступят в силу подходящие для этого условия.

Само собой разумеется, готовность эта не всегда одинакова. Нужно полагать, что она зависит в значительной мере от степени прочности установки, которая измеряется числом повторных установочных опытов: чем чаще повторяются эти опыты (в пределах оптимума для каждого данного испытуемого), тем прочнее фиксируется установка и тем более сильная способность актуализации вырабатывается в ней.

С другой стороны, в наших опытах окончательно выясняется и то, что существуют единичные случаи действия установки, которые и помимо всякого повторения оставляют по себе значительный след; установки, лежащие в их основе,

фиксируются и независимо от повторения установочных опытов и, таким образом, приобретают значительно большую способность к актуализации.

Во всех этих случаях достаточно, чтобы начала действовать ситуация, похожая на актуальную, чтобы это оказалось достаточным для активирования установки и направления субъекта в соответствующую сторону.

Таким образом, мы видим, что бывают случаи, в которых, вследствие частых повторений установочных опытов или высокого личностного их веса, установка становится до такой степени легко возбудимой, что она актуализируется и в условиях воздействия неадекватных раздражителей, закрывая этим возможность проявления адекватной установки.

Конечно, нет никакой необходимости, чтобы в условиях действия фиксированной установки адекватная данной ситуации форма установки всегда ступшевыалась и заменялась другой, близкой к ней, но все же отличной от нее фиксированной установкой. Дело в том, что ничто не мешает нам допустить, что могут иметь место и такие случаи, когда субъекту приходится иметь дело с ситуацией, вполне тождественной с той, в которой выработалась данная форма фиксированной установки. В таких случаях, конечно, актуализированная фиксированная установка будет вполне совпадать с той, которую для данного случая мы должны считать адекватной.

Таким образом, в обычных, не экспериментальных условиях жизни мы встречаемся не только с случаями замены адекватной для данной ситуации установки близкой к ней фиксированной, но и с такими, в которых фиксированная установка оказывается вполне тождественной адекватной.

С другой стороны, могут иметь место и случаи, в которых к активности пробуждаются не те установки, которые фиксировались когда-нибудь в течение жизни данного индивидуума, а те, которые сделались фиксированными в истории его вида. Мне не раз приходилось в другой связи указывать на факты проявления такого рода активности, например, в жизни ребенка — на факты, относительно которых нельзя сказать, что они обусловлены потребностью получить именно средства, реализуемые

этой активностью. В жизни ребенка часты случаи, когда он обращается к деятельности исключительно потому, что в нем проявляется сильное стремление к ней: в нем пробуждается потребность функционировать, быть активным. Эта потребность, которую я называю функциональной тенденцией, нужно полагать, является наследственно приобретенной формой фиксированной установки¹.

2. Диффузная установка. Но установочные опыты не являются обязательно и во всех случаях фиксированными. В некоторых случаях они играют совершенно другую роль. Дело в том, что бывает редко, чтобы для возникновения какой-нибудь индивидуально определенной установки было бы достаточно одного-единственного случая воздействия ситуации на субъекта. Нужно полагать, что на начальных стадиях зарождения какой-нибудь новой установки она определяется как индивидуально очерченный факт, не сразу. Становится необходимым более или менее длительный процесс для того, чтобы установка определилась как таковая, чтобы она дифференцировалась, вычленилась как состояние, специфически адекватное для наличных условий поведения.

Мы полагаем, следовательно, что при первом своем зарождении установка яв-

ляется сравнительно еще не дифференцированным, не индивидуализированным состоянием. И вот для того, чтобы она дифференцировалась как определенная, адекватная для данных условий, становится необходимым повторное предложение соответствующих раздражений. В таких случаях повторение установочных опытов имеет совершенно определенную, отличную от фиксационных, цель — она направлена на дифференциацию установки.

Это бывает особенно необходимо для зарождения новых, еще не знакомых субъекту установок. Когда в таких случаях начинает действовать на субъекта какой-нибудь новый, впервые ему встречающийся объект, то вызываемая им установка должна носить диффузный, мало определенный характер. Мы можем сказать, что она недостаточно еще дифференцировалась и в результате этого субъект не может точно идентифицировать этот объект. Только с течением времени, по мере увеличения числа повторных воздействий того же объекта, вызываемая им установка постепенно дифференцируется и определяется как установка, специфичная именно для данного случая.

Следовательно, установочные опыты бывают не только *фиксирующими*, но и *дифференцирующими*.

¹ Ср.: *Узнадзе Д.Н.* Психология ребенка, 1946.

А.Г. АСМОЛОВ

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПУТЕЙ К ИЗУЧЕНИЮ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА: БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ, УСТАНОВКА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ¹

Может ли анализ сферы бессознательного на основе такой категории советской психологии, как категория деятельности, углубить представления о природе неосознаваемых явлений? И есть ли вообще необходимость в привлечении к анализу сферы бессознательного этой категории?

Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем провести мысленный эксперимент и взглянем глазами участников первого симпозиума по проблеме бессознательного (1910) на прошедший по этой же проблеме симпозиум в Тбилиси (1979). По-видимому, Г. Мюнстерберг, Т. Рибо, П.Жане, Б. Харт не почувствовали бы себя на этом симпозиуме чужими. Г. Мюнстерберг, как и в Бостоне (1910), разделит бы всех участников на три группы: широкую публику, врачей и психофизиологов. Представители первой группы говорят о космическом бессознательном и о сверхчувственных способах общения сознаний. Врачи обсуждают проблему роли бессознательного в патологии личности, прибегая к различным вариантам представлений о раздвоении сознания, расщепления “я”. Физиологи же утверждают, что бессознательное есть не что иное как продукт деятельности мозга. Лишь положения двух теорий оказались бы

совершенно неожиданными для Г. Мюнстерберга. Это — теория установки Д.Н. Узнадзе и теория деятельности Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и А.Р. Лурия. Принципиальная новизна состоит прежде всего в исходном положении этих концепций: *для того, чтобы изучить мир психических явлений, нужно выйти за их пределы и найти такую единицу анализа психического, которая сама бы к сфере психического не принадлежала.*

Если это требование не соблюдается, то мы возвращаемся к ситуации бостонского симпозиума. Дело в том, что пытаться понять природу неосознаваемых явлений либо только из них самих, либо исходя из анализа физиологических механизмов или субъективных явлений сознания — это все равно, что пытаться понять природу стоимости из анализа самих денежных знаков <...>. В натуре индивида можно, разумеется, обнаружить те или иные динамические силы, импульсы, побуждающие к поведению. Однако, как показывает весь опыт развития общепсихологической теории деятельности (см. А.Н. Леонтьев, 1983; С.Л. Рубинштейн, 1973), лишь анализ системы деятельности индивида, реализующей его жизнь в обществе, может привести к раскрытию содержательной характеристики многоуровневых психических явлений. С предельной четкостью эта мысль выражена А.Н. Леонтьевым. Он пишет: “Включенность живых организмов, системы процессов их органов, их мозга в предметный, предметно-дискретный мир приводит к тому, что система этих процессов наделяется содержанием, отличным от их собственного содержания, содержанием, принадлежащим самому предметному миру.

Проблема такого “наделения” порождает предмет психологической науки!”.

Любые попытки понять содержание и функции сознания, бессознательного, установки вне контекста реального процесса жизни, взаимоотношений субъекта в мире с самого начала обесмысливают анализ этих уровней отражения действительности. Рассматривать сознание, бессознательное и установку вне анализа деятельности — это значит сбрасывать со счетов

¹ Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. М.; Воронеж, 1996. С. 373—395.

ключевой для понимания механизмов управления любой саморазвивающейся системы вопрос, поставленный Н.А. Бернштейном: “...для чего существует то или иное приспособление в организме...”? <...>. Психика в целом, сознание и бессознательное в частности представляют собой возникшие в ходе приспособления к миру функциональные органы деятельности субъекта. Эволюция деятельности живых существ привела к появлению сознания и бессознательного, как качественно отличающихся уровней ориентировки в действительности. Для обслуживания деятельности они с необходимостью появились; вне деятельности их просто не существует. Поэтому-то логическая операция их изъятия из процесса взаимоотношений субъекта с действительностью перекрывает дорогу к изучению закономерностей осознаваемых и неосознаваемых психических явлений. Одним из следствий подобной операции является то, что исследователи бессознательного до сих пор ограничиваются чисто отрицательной характеристикой этой сферы психических явлений. “Что такое бессознательное?” — спрашиваете вы и получаете из всех психологических словарей ответ, который, если отбросить многочисленные вариации, сводится к следующему: “Бессознательное — характеристика любой активности или психической структуры, которую индивид не осознает” (Инглиш, 1958, с. 569).

Подобный ответ — это не только безобидная тавтология, подчиненная формуле “бессознательное — это то, что не осознается”. В этом определении полностью отсутствует указание на то, что детерминирует неосознаваемые явления. За данной дефиницией бессознательного проступает хорошо известный образ обитающего в сознании гомункулюса, который пристально разглядывает одни развертывающиеся в психической жизни события, а на другие закрывает глаза. Приблизиться же к пониманию природы бессознательного можно лишь при том условии, что будут выделены детерминирующие бессознательное различные обстоятельства жизнедеятельности человека — побуждающие субъекта предметы потребностей (мотивы), преследуемые субъектом цели, имеющиеся в ситуации средства достижения этих целей, многочисленные, не связанные прямо с ре-

шаемой человеком задачей, изменения стимуляции и т.п. О необходимости выделения детерминирующих неосознаваемых процессы явлений действительности прозорливо писал С.Л. Рубинштейн: “...Бессознательное влечение — это влечение, предмет которого не осознан. Осознать свое чувство — значит не просто испытать связанное с ним волнение, а именно соотносить его с причиной и объектом, его вызвавшим”. (Рубинштейн, 1956, с. 160). Тем самым, как минимум, в определение бессознательного должны быть включены те детерминанты, принадлежащие предметному миру, которые определяют содержание этой формы отражения действительности. Тогда первоначальная дефиниция бессознательного примет следующий вид: “Бессознательное представляет собой совокупность психических процессов, детерминируемых такими явлениями действительности, о влиянии которых на его поведение субъект не отдает себе отчета”. Подчеркнем, что в эту первоначальную характеристику бессознательного указание на то, что субъект не отдает себе отчета о детерминантах поведения, вводится лишь как указание на тот рабочий прием, через который психолог узнает о бессознательном, а не раскрывающая природу этой формы отражения особенность. Для выявления сущностной позитивной характеристики бессознательного необходимо обратиться прежде всего к двум специфическим чертам бессознательного. Первая из этих черт — *нечувствительность к противоречиям*: в бессознательном действительность переживается субъектом через такие формы уподобления, отождествления себя с другими людьми и явлениями, как непосредственное эмоциональное вчувствование, идентификация, эмоциональное заражение, объединение в одну группу порой совершенно различных явлений через “сопричастие” (классический пример Л. Леви-Брюля о том, что индейцы бразильского племени бероро отождествляют себя с попугаями араара), а не познается им через выявления логических противоречий и различий между объектами по тем или иным существенным признакам. И вторая черта — *вневременной характер* бессознательного: в бессознательном прошлое, настоящее и будущее сосуществуют, объединяются друг с другом

в одном психическом акте, а не находятся в отношении линейной необратимой последовательности. Причудливые сцепления событий в сновидениях и фантазмах; спрессованность прошлого, настоящего и будущего в некоторых клинических симптомах и проявлениях повседневной жизни в одно, не знающее причинных связей видение мира — все это отнюдь не мистические, а реальные факты. И весь вопрос заключается в том, как подойти к этим фактам.

Если исходно взять за образец закономерности сознания, в частности, подчиненность некоторых видов понятийного рационального мышления формальной логике, то указанные факты будут восприняты как еще один аргумент в пользу чисто негативной дефиниции бессознательного по отношению к сознанию: в сфере сознания господствует логика; бессознательное — царство алогичного, иррационального и т.п. Подобное восприятие указанных выше феноменов исходит из такой типичной установки позитивистского мышления, как эгоцентризм в познании сложных социально-культурных и психических явлений. Ведь именно эгоцентризм, и в первую очередь, такая его форма как “европоцентризм”, заставляет принимать логику европейского мышления за образец и превращать ее в натуральную, естественную характеристику сознания, при этом благополучно забывая, что сама эта формальная логика есть культурное приобретение. А если логика не дана сознанию от природы, а задана культурой, то правомерно и применительно к сознанию допустить наличие нескольких сосуществующих логик. Несмотря на фундаментальные исследования Л.С. Выготского, А.Р. Лурия (1930) и Леви-Брюля (1930), посвященные анализу мышления в разных культурах, шоры европоцентризма вынуждают одномерно плоско трактовать не только закономерности бессознательного, но и сознания. Однако на этом приключения позитивистской мысли, попавшей в рабство эгоцентризма, не заканчиваются. Изучению качественного своеобразия бессознательного препятствует еще одна форма научного эгоцентризма, названная нами “эволюционный снобизм”. Исходя из “эволюционного снобизма”, исследователи нередко расценивают формы психического отражения,

предшествующие сознанию, как более примитивные, архаичные и т.п. Так, даже если на словах признается, что функционирование бессознательного не просто алогично, а подчинено иной логике, то эта логика интерпретируется как архаичная. Таким образом, вновь осуществляется возврат к чисто негативному пониманию бессознательного по отношению к сознанию. Из-за “эволюционного снобизма” такие проявления бессознательного в детском мышлении, как его аутистический характер, слабость интроспекции, нечувствительность к противоречиям, воспринимаются как алогичность инфантильных форм мышления, их примитивность, в отличие от форм понятийного мышления и т.п. А эти инфантильные формы — не примитивнее и не грубее. Они — другие, иные, чем те, которые присущи сознанию.

Если мы с самого начала нацелим свои поиски на выявление качественного своеобразия неосознаваемых форм психического отражения и сумеем преодолеть косность научного эгоцентризма, то увидим, что указанные выше феномены и такие характеристики бессознательного, как отсутствие противоречий и вневременной характер, свидетельствуют не об ущербности, алогичности бессознательного, а об *иной его логике*, или, точнее, об *иных логиках*, стоящих за всеми этими проявлениями. Причем, иных логиках не в смысле их архаичности и таинственности в стиле С. Леклера, а иных логиках функционирования бессознательного в деятельности субъекта, обеспечивающих полновесный адаптивный эффект.

Существует ли такой критерий, который бы позволил отнести самые различные проявления бессознательного к одному общему классу явлений, выявить их функциональное значение в процессе регуляции деятельности субъекта и дать их позитивную характеристику по отношению к сознанию? Давайте повнимательнее взглянемся в такие, казалось бы, не связанные друг с другом феномены, как аутизм детского мышления, слабость интроспекции, нечувствительность к противоречиям. Давайте прибавим к этому пестрому ряду такие факты, как особая продуктивность неоречевленной (неосознаваемой, предречевой) мысли, проявляющаяся во “внезапных” решениях...; неоднократно подвергав-

шаяся изучению в клинике шизофрении (Б.В. Зейгарник и др.) причудливость, множественность, разнообразие, “странность” смысловых связей (легкое увязывание всего со всем, феномен “смысловой опухоли” и т.п.) как бы высвобождаемых в условиях распада нормально вербализуемой мыслительной деятельности; оправданность применяемой иногда очень оригинальной методики и т.н. “мозгового штурма”, при которых нахождение оригинальных решений обсуждаемой проблемы достигается путем стимуляции генеза множества “неодуманных до конца”, не оречевленных полностью проектов решения и т.п. За всеми этими феноменами просматривается один, позволяющий отнести их к общему классу, критерий. И слабость интроспекции, и нечувствительность к противоречиям, и запрет на рефлексивность в методике “мозгового штурма”, и аутизм... — звенья одной цепи, главным стержнем которой является *отсутствие противопоставленности в неосознаваемых формах психического отражения субъекта и окружающей его действительности. В неосознаваемом психическом отражении мир и субъект образуют одно неделимое целое.* На наш взгляд, слитность субъекта и мира в неосознаваемом психическом отражении представляет собой сущностную характеристику всей сферы бессознательного, конкретными выражениями, проявлениями которой служат перечисленные выше факты. Так, например, причина слабости интроспекции ребенка лежит в невыделенности его Я из окружающей действительности. Нечувствительность к противоречиям как в инфантильных формах мышления, так и в сновидениях имеет в своей основе ту же самую причину — отсутствие противопоставления в этих формах психической реальности субъекта и окружающего его мира. Ведь действительность сама по себе не знает логических противоречий. Причина эффективности методики “мозгового, штурма” — своеобразное уравнивание в неосознаваемых формах психического отражения самых невероятных, “безумных” вариантов и привычных вариантов решения задачи вследствие установки на полное снятие любого контроля по отношению к своим высказываниям и таким образом слияния своего Я с процессом решения задачи. Перечень феноменов, глубинная при-

чина которых лежит в нерасчлененности субъекта и действительности, можно было бы продолжить. Но уже из сказанного следует, что выделенная нами характеристика бессознательного позволяет объяснить сходство внешне не связанных между собою явлений и дать общую позитивную характеристику неосознаваемой формы психического отражения. Качественное отличие этой формы психического отражения от сознания проявится еще более явно, если мы напомним, что сознание представляет собой “...отражение предметной действительности в ее отделенности от наличных отношений к ней субъекта... В сознании образ действительности не сливается с переживанием субъекта: в сознании отражаемое выступает как “предстоящее субъекту” [А.Н.Леонтьев]. Та же характеристика сознания красочно описывается Д.Н. Узнадзе при анализе специфики механизма объективации. Функция присущего только человеку механизма объективации, по выражению Д.Н. Узнадзе, проявляется в том, что человек видит, что существует мир и он в этом мире. Итак, отраженные в сознании предметы и явления мира отделены от наличных отношений субъекта к действительности; отраженные в бессознательном события окружающего мира слиты в одном узле с наличными отношениями субъекта в действительности, образуют одно нераздельное целое с этими отношениями. Каждый из этих уровней психического отражения вносит свой вклад в регуляцию деятельности субъекта; каждый из этих уровней приспособлен для решения своего специфического класса жизненных задач. Так, благодаря слитости субъекта с миром в бессознательном, субъект произвольно воспринимает мир и запоминает его, не отдавая себе отчета об этом. Однако регуляцией произвольных непреднамеренных актов, а также автоматизированных видов поведения тип жизненных задач, для которых необходимо бессознательное, функция бессознательного не исчерпывается. Упоминаемые выше проявления продуктивности доречевого мышления недвусмысленно говорят о том, что бессознательное, не зная “логики” сознания, именно в силу этого незнания открыто бесконечному количеству “иных логик” действительности, которые еще пока не стали достоянием цивилизации.

При анализе сферы бессознательного в контексте общепсихологической теории деятельности открывается возможность ввести содержательную характеристику этих качественно отличных классов неосознаваемых явлений, раскрыть функцию этих явлений в регуляции деятельности и проследить их генезис. Если, опираясь на положения школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и А.Р. Лурия, бросить взгляд на историю становления взглядов о бессознательном, то мы увидим, что разные аспекты проявлений бессознательно разрабатывались при анализе четырех следующих проблем: проблемы передачи опыта из поколения в поколение и функции этого опыта в социально-типическом поведении личности как члена той или иной общности; проблемы мотивационной детерминации поведения личности; проблемы произвольной регуляции высших форм поведения и автоматизации различных видов деятельности субъекта; проблемы поиска диапазона чувствительности органов чувств. На основании анализа этих проблем представляется, на наш взгляд, возможным выделить четыре особых класса проявлений бессознательного: надындивидуальные надсознательные явления; неосознаваемые побудители поведения личности (неосознаваемые мотивы и смысловые установки); неосознаваемые регуляторы способов выполнения деятельности (операциональные установки и стереотипы); неосознаваемые резервы органов чувств (подпороговые субсенсорные раздражители).

Далее мы попытаемся выделить те направления, в которых шло исследование этих классов неосознаваемых явлений, дать краткое описание основных особенностей каждого класса и показать, что в каждом из этих классов проявляется основная черта бессознательного — слитость субъекта и мира в неосознаваемом психическом отражении.

1. Надындивидуальные надсознательные явления

Начнем с описания надындивидуальных надсознательных явлений, поскольку, во-первых, эти явления всегда были покрыты туманом таинственности и служили почвой для самых причудливых мифоло-

гических построений; во-вторых, именно на примере этих явлений наиболее рельефно открывается социальный генезис сферы бессознательного в целом.

С нашей точки зрения, реальный факт существования класса надсознательных надындивидуальных явлений предстает в разных ипостасях во всех направлениях, затрагивающих проблему передачи опыта человечества из поколения в поколение или пересекающуюся с ней проблему дискретности — непрерывности сознания.

Для решения этой фундаментальной проблемы привлекались такие понятия, как “врожденные идеи” (Р.Декарт), “архетипы коллективного бессознательного” (К.Юнг), “космическое бессознательное” (Судзуки), “космическое сознание” (Э.Фромм), “бессознательное как речь Другого” (Ж.Лакан), “коллективные представления” (Э.Дюркгейм, Л.Леви-Брюль) и “бессознательные структуры” (К.Леви-Стросс, М.Фуко).

Принципиально иной ход для решения этой проблемы предлагается в исследованиях выдающегося мыслителя В.И. Вернадского. Если все указанные авторы, будь то Р. Декарт, Э. Фромм или К. Юнг, в качестве точки отсчета для понимания надындивидуальных надсознательных явлений избирают отдельного *индивида*, то В.И. Вернадский видит источник появления нового пласта реальности в коллективной бессознательной работе *человечества*. Он называет этот пласт реальности — ноосферой. Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера переходит в новое состояние — в *ноосферу*, отмечает В.И. Вернадский. Однако и идеи В.И. Вернадского о ноосфере, несмотря на подчеркивание им социального, материального характера возникновения ноосферы, до сих пор с большим трудом пробивают себе дорогу в мышлении современных ученых и порой воспринимаются как изящная фантазия.

А вопросы о природе надындивидуальных надсознательных явлений так и остаются только вопросами. Как проникнуть во все эти надындивидуальные бессознательные структуры? Каково их происхождение? В большинстве случаев ответ на эти вопросы очень близок к их сказочному решению в “Синей птице” Мориса Метерлинка. В этой волшебной сказке добрая

фея дарит детям чудодейственный алмаз. Стоит лишь повернуть этот алмаз, и люди начинают видеть скрытые души вещей. Как и в любой настоящей сказке, в этой сказке есть большая правда. Окружающие людей предметы человеческой культуры действительно имеют “душу”. И “душа” эта — не что иное, как поле значений, существующих в форме опредмеченных в процессе деятельности в орудиях труда схем действия, в форме ролей, понятий, ритуалов, церемоний, различных социальных символов, норм, социальных образцов поведения.

Надсознательные явления, действительно, имеют социальное происхождение. В их основе лежит объективно существующая и являющаяся продуктом совместной деятельности человечества система *значений* (А.Н. Леонтьев), опредмеченных в той или иной культуре в виде различных схем поведения, социальных норм и т.п. *Надсознательные явления представляют собой усвоенные субъектом как членом той или иной группы образцы типичного для данной общности поведения и познания, влияние которых на его деятельность актуально не осознается субъектом и не контролируется им.* Эти образцы (например, этнические стереотипы), усваиваясь через такие механизмы социализации, как подражание и идентификация, определяют особенности поведения субъекта именно как представителя данной социальной общности, то есть социально-типические особенности поведения, в проявлении которых субъект и группа выступают как одно неразрывное целое. В советской психологии представления о “надсознательном” и его роли в творческой деятельности развиваются М.Г. Ярошевским (1978), который показывает, что творческая активность ученого детерминируется присутствием его научной группы или науке его времени в целом надсознательными категориальными установками аппарата познания, воплощающимися в выдвигаемых ученых гипотезах и проектах их решения.

Таким образом, идеи о потоке сознания, об архетипах коллективного бессознательного и т.п. имеют вполне земную основу. За всеми этими представлениями стоит реальный факт существования надиндивидуального надсознательного, имеющего четко прослеживаемый социальный

генезис и представляющего собой усваиваемые субъектом образцы поведения и познания, порожденные всей совокупной деятельностью человечества.

2. Неосознаваемые побудители деятельности (неосознаваемые мотивы и смысловые установки личности)

Неосознаваемые побудители деятельности личности всегда были центральным предметом исследования в традиционном психоанализе. Они принимают участие в регуляции деятельности, выступая в виде смысловых установок. Не пересказывая здесь развиваемых нами представлений об иерархической уровневой природе установок как механизмов стабилизации, “цементирования” деятельности личности, напомним лишь, что в соответствии с основными структурными единицами деятельности (деятельность, действие, операция) выделяются уровни смысловых, целевых и операциональных установок, а также уровень психофизиологических механизмов установки (Асмолов, 1979). Общая функция установок любого уровня в регуляции деятельности характеризуется тремя следующими моментами: а) установка определяет устойчивый целенаправленный характер протекания деятельности и выступает как механизм стабилизации деятельности личности, позволяющий сохранить ее направленность в непрерывно изменяющихся ситуациях; б) установка освобождает субъекта от необходимости принимать решения и произвольно контролировать протекание деятельности в стандартных, ранее встречавшихся ситуациях; в) (фиксированная) установка может выступать в качестве фактора, обуславливающего инерционность, косность динамики деятельности и затрудняющего приспособление к новым ситуациям.

Таковы основные особенности функции установок любого уровня в регуляции деятельности. И об этих особенностях мы можем сегодня говорить как о научно обоснованном факте, благодаря фундаментальным исследованиям Д.Н. Узнадзе и его школы. Что же касается специфических проявлений смысловых, целевых и опера-

циональных установок в деятельности, то они определяются прежде всего тем, какое содержание — личностный смысл или значение (А.Н. Леонтьев) — выражает установка в деятельности субъекта. И здесь еще раз хочется выделить одно положение, без которого мы будем постоянно путаться при рассмотрении в одной связке категорий “установка” и “бессознательное”, “установка” и “сознание”, “установка” и “деятельность”. Для более явного выявления связи между всеми этими категориями необходимо всегда помнить весьма полезное, введенное в лингвистике, различие: план содержания и план выражения. Установка как готовность к реагированию есть своего рода носитель, *форма выражения* того или иного содержания в деятельности субъекта. Если фактор, приводящий к актуализации установки, осознается субъектом, то установка, соответственно, выражает в деятельности это осознаваемое содержание. В тех же случаях, когда какой-либо объективный фактор деятельности, например, мотив деятельности, не осознается, то актуализируемая им смысловая установка выражает в деятельности неосознаваемое содержание, в случае смысловой установки — вытесняемый субъектом личностный смысл происходящих событий.

Итак, *ко второму классу проявлений бессознательного относятся неосознаваемые мотивы и смысловые установки — побуждения и нереализованные предрасположенности к действиям, детерминируемые тем желаемым будущим, ради которого осуществляется деятельность и в свете которого различные поступки и события приобретают личностный смысл.* О существовании этого класса явлений стало известно благодаря исследованиям отсроченного постгипнотического внушения, приводящего к выполнению действия, импульс которого не известен самому совершившему это действие после выхода из гипнотического состояния человеку. Подобные явления в психопатологии описывались как раздвоение сознания, симптомы отчуждения частей собственного тела, выполняемых в сомнамбулическом состоянии действий при истерии, определяемые “отщепленными” от сознания личности побуждениями. Эти явления были обозначены термином “подсознательное” (П. Жане). Впоследствии для объяснения природы

этих явлений, а затем и для понимания разнородных мотивационных структур личности в целом основателем психоанализа З. Фрейдом было введено понятие бессознательное в узком смысле слова — “динамическое вытесненное бессознательное”. Под бессознательным понимались нереализованные влечения, которые из-за их конфликта с социальными запросами общества не допускались в сознание или изгонялись, отчуждались из него с помощью такого защитного механизма психики как вытеснение. Будучи вытеснены из сознания личности, эти влечения образуют сферу бессознательного — скрытые аффективные комплексы, предрасположенности к действиям, активно воздействующие на жизнь личности и проявляющиеся порой в непрямых символических формах (юморе, сновидениях, забывании имен и намерений, обмолвках и т.п.). Существенная и часто выпускаемая из виду черта динамических проявлений бессознательного состоит в том, что осознание личностью причинной связи нереализованных влечений с приведшими к их возникновению в прошлом травматическими событиями не приводит к исчезновению переживаний, обусловленных этими влечениями (например, страхов), так как узанное субъектом воспринимается им как нечто безличное, чуждое, происходящее не с ним. Эффекты бессознательного в поведении устраняются только в том случае, если вызвавшие их события переживаются личностью совместно с другим человеком (например, в психоаналитическом сеансе) или с другими людьми (групповая психиатрия), а не только узнаются ею. Особо важное значение для понимания этого класса проявлений бессознательного и приемов его перестройки имеют феномены и механизмы бессознательного в межличностных отношениях, связанных с установлением эмоциональной интеграции, психологического слияния взаимодействующих людей в одно нераздельное целое. К этим феноменам относятся эмпатия, первичная идентификация (неосознанное эмоциональное отождествление с притягательным объектом, например, младенца с матерью), трансфер (возникающий в психоаналитическом сеансе перенос нереализованных стремлений пациента на психоаналитика), <...> проекция (неосознанное наделение другого человека присущи-

ми данной личности желаемыми или нежелаемыми свойствами). Во всех этих проявлениях бессознательного побуждающий субъекта мир и сам субъект представляют одно неразрывное целое.

Личностные смыслы, “значения-для-меня” тех или иных событий мира составляют как бы сердцевину описываемого класса неосознаваемых явлений — класса неосознаваемых мотивов и смысловых установок. Явления этого класса не могут быть преобразованы под влиянием тех или иных односторонних вербальных воздействий. Это положение, основанное на целом ряде фактов, полученных в экспериментальных исследованиях А.Н. Леонтьева и А.В. Запорожца (1945), Е.В. Субботского (1977) и других, в свою очередь, вплотную подводит нас к особенности смысловых образований, определяющей методические пути их исследования. Эта особенность состоит в том, что *изменение смысловых образований всегда опосредствовано изменением самой деятельности субъекта*. Именно учет этой важнейшей особенности смысловых образований (системы личностных смыслов и выражающих их в деятельности смысловых установок) позволяет пролить свет на некоторые метаморфозы в развитии психоанализа, объяснение которых выступает как своего рода проверка предлагаемой нами классификации.

Во-первых, неэффективность психотерапии, ограничивающейся чисто вербальными односторонними воздействиями, то есть той терапии, которую столь ядовито высмеял еще З. Фрейд в своей работе “О “диком” психоанализе” (1923), как раз и объясняется тем, что по самой своей природе смысловые образования нечувствительны к вербальным воздействиям, несущим чисто информативную нагрузку. Повторяем, что смыслы изменяются только в ходе реорганизации деятельности, в том числе и деятельности общения, в которой происходит “речевая работа” (Ж. Лакан). Не случайно поэтому Жак Лакан, выдвинувший лозунг “Назад к Фрейду”, перекликается в этом пункте с основоположником психоанализа, замечая: “Функция языка заключается не в информации, а в побуждении. Именно ответа другого я ищу в речи. Именно мой вопрос констатирует меня как субъекта”. Иными словами, только деятельность, в том числе и деятельность общения, выражаю-

щая те или иные смыслообразующие мотивы и служащая основой для эмоциональной идентификации с Другим, может изменить личностные смыслы пациента. Во-вторых, в неэффективности влияния указанного типа вербальных воздействий на сферу смыслов — воздействий, которыми часто подменяется диалог между психоаналитиком и пациентом, — следует искать, на наш взгляд, одну из причин явно наметившегося сдвига от индивидуальных методов к групповым методам психотерапии, например, к таким методам, как психодрама, Т-группы и т.п., в которых так или иначе реконструируется деятельность, приводящая в конечном итоге к изменению личностных смыслов и выражающих их в деятельности смысловых установок.

Подытоживая представления о природе неосознаваемых побудителей деятельности, об их сущности, перечислим основные особенности динамических смысловых систем личности:

1) производность от деятельности субъекта и его социальной позиции в системе общественных отношений;

2) интенциональность (ориентированность на предмет деятельности: смысл всегда кому-то или чему-то адресован, смысл всегда есть смысл чего-то);

3) независимость от осознания (личностный смысл может быть осознан субъектом, но самого по себе осознания недостаточно для изменения личностного смысла);

4) невозможность воплощения в значениях (Л.С. Выготский, М.М. Бахтин) и неформализуемость (Ф.В. Бассин).

5) феноменально смысловые образования проявляются в виде кажущихся случайными, немотивированными “отклонениями” поведения от нормативного для данной ситуации (например, обмолвки, лишние движения и т.п.).

3. Неосознаваемые регуляторы способов выполнения деятельности (операциональные установки и стереотипы)

В основе регуляции произвольных и автоматизированных актуально неконтролируемых способов выполнения деятельности субъекта (операций) лежат

такие проявления бессознательного, как неосознаваемые операциональные установки и стереотипы. Они возникают в процессе решения различных задач (перцептивных, мнемических, моторных, мыслительных) и детерминируются неосознанно предвосхищаемым образом событий и способов действия, опирающимся на прошлый опыт поведения в подобных ситуациях. Динамика возникновения этих актуально-неосознаваемых форм психического отражения красочно описывалась в психологии сознания как переход содержания сознания из фокуса сознания на его периферию (В. Вундт). Для обозначения разных стадий этих проявлений бессознательного в регуляции деятельности привлекались два круга терминов, фиксирующих либо неосознаваемую подготовку субъекта к действию с опорой на прошлый опыт — “бессознательные умозаключения” (Г. Гельмгольц), “преперцепция” (В. Джемс), “предсознательное” (З. Фрейд), “гипотеза” (Дж. Брунер), “вероятностное прогнозирование” (И.М. Фейгенберг) и т.п.; либо непроизвольный контроль уже развертывающейся активности субъекта — “динамический стереотип” (И.П. Павлов), “схема” (Ф. Бартлетт), “акцептор действия” (П.К. Анохин), и т.п. *Функция этих проявлений бессознательного состоит в том, что субъект может одновременно перерабатывать информацию о действительности на нескольких различных уровнях и сразу совершать целый ряд актов поведения* (запоминать и отыскивать решения задач, не ставя осознанных целей решать и запоминать; обходить препятствия, не утруждая себя отчетом об их существовании; “делать семь дел сразу” и т.п.).

Пожалуй, одна из первых попыток вывести общий закон, которому подчиняются неосознаваемые явления этого класса, принадлежит Клапареду. Он сформулировал закон осознания, суть которого заключается в следующем: чем больше мы пользуемся тем или иным действием, тем меньше мы его осознаем. Но стоит на пути привычного действия появиться препятствию, как возникает потребность в осознании, которая и является причиной того, что действие вновь попадает под контроль со стороны сознания. Однако закон Клапареда описывает лишь феноменальную динамику этого класса явлений. Объяснить

же возникновение осознания появлением потребности в осознании — это то же самое, что объяснить происхождение крыльев у птиц появлением потребности летать (Выготский, 1956).

Кардинальный шаг в развитии представлений о сущности неосознаваемых регуляторов деятельности был сделан в советской психологии. Не излагая здесь всего массива экспериментальных и теоретических исследований этого пласта бессознательного, укажем только на те два направления, в которых велись эти исследования.

В генетическом аспекте изучение “предсознательного” было неразрывно связано с анализом проблемы развития произвольной регуляции высших форм поведения человека. “Произвольность в деятельности какой-либо функции является всегда оборотной стороной ее осознания”, — писал один из идейных вдохновителей и родоначальников этого направления Л.С. Выготский. В свете изложенного выше понимания бессознательного как формы психического отражения, в которой субъект и мир представляют одно нераздельное целое, особенно очевидной становится необходимость столь жесткого увязывания Л.С. Выготским между собой произвольности и осознанности деятельности человека. Ведь произвольность всегда предполагает контроль со стороны субъекта за своим поведением при наличии намерения осуществить желаемый им акт поведения, подчинить то или иное поведение, например, запоминание своей власти. Но для такого контроля, как минимум, необходимо как бы бросить взгляд на свое собственное поведение со стороны, противопоставить себя окружающей действительности. Там, где нет произвольного контроля, там нет противопоставления себя миру, а тем самым нет осознания. Проблема произвольности — осознанности поведения была подвергнута глубокому анализу в известных работах по произвольной и непроизвольной регуляции деятельности (А.В. Запорожец, П.И. Зинченко).

В функциональном плане изучение неосознаваемых регуляторов деятельности непосредственно вписывается в проблему автоматизации различных видов внешней и внутренней деятельности. Так, А.Н. Леонтьевым проанализирован процесс превращения в ходе обучения действия, на-

правляемого осознаваемой предвидимой целью, в операцию, условия осуществления которой только “презентируются” субъекту. В основе осознания, таким образом, лежит изменение места предметного содержания в структуре деятельности, являющееся следствием процесса автоматизации — деавтоматизации деятельности. Это положение радикально отличается от представлений о динамике осознания в интроспективной психологии сознания. Если интроспективный психолог ищет причину изменения состояний сознания внутри самого сознания, то для представителей деятельного подхода к “физиологии активности” ключ к изменению состояний сознания — в самом движении деятельности, ее развитии, ее автоматизации и дезавтоматизации. В ходе процесса автоматизации происходит стирание грани между субъектом и объектом, растворение субъекта в деятельности. Н.А. Бернштейн приводит яркий пример такого слияния субъекта с миром, происходящего в процессе автоматизации деятельности, обращаясь к фрагменту из произведения Л.Н. Толстого “Анна Каренина”: “Чем далее Левин косил, тем чаще и чаще чувствовал он минуты забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой... полное жизни тело, и как бы по волшебству, без мысли о ней, работа, правильная и отчетливая, делалась сама собой”.

В основе функционирования автоматизированных форм поведения лежат операциональные установки и стереотипы. Проведенные с позиции представлений об уровневой природе установки как механизма стабилизации деятельности исследования позволили экспериментально выявить две существенно отличающиеся неосознаваемые формы регуляции автоматизированного поведения. Было показано, что традиционно изучавшиеся классическим методом фиксации установки Д.Н. Узнадзе относятся к так называемым *установкам на целевой признак*, то есть признак сравниваемых установочных объектов, который с самого начала осознается субъектом. Установки на целевой признак лежат в основе “сознательных операций” (А.Н. Леонтьев), которые возникли вследствие автоматизации действия. Такого рода сознательные операции возникают в ходе неоднократных повторений

действия, например, при обучении вождению автомобиля, косье или письму. Содержание цели действия, вначале осознаваемое субъектом, занимает в строении другого, более сложного действия место условия его выполнения. Вследствие изменения места цели в структуре деятельности, сдвига цели на условие, происшедшего при автоматизации действия, данное действие превращается в сознательную операцию. По своему происхождению сознательные операции появляются вследствие автоматизации действий; по способу регуляции сознательные операции — потенциально произвольно контролируемые; по уровню отражения — вторично неосознаваемые (при появлении затруднений в ходе их осуществления могут осознаваться); по динамике протекания — гибкие, лабильны. Таковы черты сознательных операций. Установки на целевой признак, регулирующие протекания сознательных операций, если говорить в терминологии Д.Н. Узнадзе, исходно принадлежат плану объективации. Иными словами, основной массив экспериментальных исследований школы Д.Н. Узнадзе посвящен изучению особенностей именно этих лишь *вторично неосознаваемых установок*, установок на целевой признак. От вторично неосознаваемых установок на целевой признак принципиально отличаются *операциональные установки на неосознаваемый признак* (иногда говорят “иррелевантный признак”). Эти установки регулируют *приспособительные операции*. Приспособительные операции относятся к реактивному иерархически самому низкому уровню реагирования в структуре деятельности субъекта. Они возникают в процессе непроизвольного подражания или прилаживания, подгонки к предметным условиям ситуации, например, приспособления ребенка к языковым условиям, в результате которого усваиваются различные грамматические формы, используемые в речевом общении. Приспособительные операции характеризуются тремя следующими свойствами: по способу регуляции приспособительные операции — непроизвольны; по уровню отражения — изначально неосознаваемы; по динамике протекания — косные, ригидны. В экспериментальном исследовании М.Б. Михалевской было выявлено, что установки, выработанные на побочный

неосознаваемый признак, существенно отличаются от установок на целевой признак по выраженности иллюзии фиксированной установки. Оказалось, что установочный эффект, обусловленный установкой на неосознаваемый признак, гораздо сильнее и потому дольше сохраняется, чем эффект установки на целевой признак. Полученные данные представляют троякий интерес. Во-первых, четко выявлена зависимость основных свойств установки от места установочного признака в структуре деятельности. Во-вторых, показано, что за установками на целевой признак, изучаемыми в школе Д.Н. Узнадзе, стоит иная психологическая реальность, чем за установками на операциональный иррелевантный признак. Эти факты, тем самым, подтверждают положение о существовании разных установок по параметру степени осознанности того признака, на который они фиксируются, и, тем самым, переводят в плоскость экспериментальных исследований старую дискуссию о неосознаваемых и осознаваемых установках. В-третьих, в будущем выделенные установочные эффекты могут быть использованы в качестве лакмусовой бумажки того, с каким уровнем деятельности в экспериментах мы имеем дело — с действием, автоматизировавшимся в сознательную операцию, то есть с пластом активной регуляции в деятельности, или же с приспособительной операцией, выражающей пласт реактивной адаптации субъекта к действительности.

4. Неосознаваемые резервы органов чувств

При анализе проблемы определения порогов ощущения, диапазона чувствительности человека к разным внешним раздражителям были обнаружены факты воздействия на поведение таких раздражителей, о которых он не мог дать отчета (И.М. Сеченов, Г.Т. Фехнер). Для обозначения разных аспектов этих субъективно неосознаваемых подпороговых раздражителей предложены понятия “предвнимание” (У. Найссер) и “субсенсорная область” (Г.В. Гершуни). Процессы “предвнимания” связаны с переработкой информации за пределами произвольно контролируемой деятельности, которая, непосредственно не

затрагивая цели и задачи субъекта, снабжает его полным неизбирательным отображением действительности, обеспечивая приспособительную реакцию на те или иные еще не распознанные изменения ситуации (например, так называемый феномен “шестого чувства” — что-то остановило, что-то заставило вздрогнуть и т.п.). Психофизиологической основой процессов предвнимания являются субсенсорные раздражители. Субсенсорной областью названа зона раздражителей (неслышимых звуков, невидимых световых сигналов и т.п.), вызывающих непроизвольную объективно регистрируемую реакцию и способных осознаваться при придании им сигнального значения. Изучение процессов предвнимания и субсенсорных раздражителей позволяет выявить резервные возможности органов чувств человека, зависящие от целей и смысла решаемых им задач. На примере анализа проявлений этого класса неосознаваемых психических процессов явно выступает адаптивная функция бессознательного в целенаправленной деятельности человека.

Развитие представлений о природе бессознательного, специфике его проявлений, и функций в регуляции поведения человека является необходимым условием создания целостной объективной картины психической жизни личности.

* * *

Самое важное и вместе с тем очевидное, к чему мы приходим при анализе сферы бессознательного с позиций деятельностного подхода, заключается в том, что три пути к изучению психики человека вовсе не представляют собой трех параллельных прямых, которым не суждено пересечься в пространстве научного мышления современной психологической науки. Сегодня совершенно ясно, что благодаря взаимопроникновению подходов, связанных с исследованием бессознательного, деятельности и установки, каждый из них в буквальном смысле слова обретает свое второе дыхание. Деятельностный подход, если он и дальше будет настороженно относиться к богатейшей феноменологии бессознательного, окажется не в состоянии объяснить многие факты, касающиеся закономерностей развития и функционирования мотивационно-смысловой сферы личности, по-

знавательных процессов, различных автоматизированных видов поведения. Ведь старый образ, олицетворяющий сознание с верхушкой айсберга в процессе психической регуляции деятельности, — это не только красивая метафора. Он наглядно отражает реальное соотношение осознаваемого и неосознаваемого уровней психики в регуляции деятельности, в жизни человека. Вот поэтому исследования познания, личности, динамики межличностных отношений, оставляющие за бортом неосознаваемый уровень регуляции деятельности, являются по меньшей мере односторонними. В свою очередь, только выявив функциональное значение бессознательного и установки в процессе регуляции деятельности, мы сможем глубже проникнуть в природу этих проявлений психической реальности. Именно анализируя бессознательное и его функцию в деятельности человека, мы приходим к позитивной характеристике бессознательного как уровня психического отражения, в котором субъект и мир представлены как одно неразделимое целое. Установка же выступает как форма выражения в деятельности человека того или иного содержания — личностного смысла или значения, которое может быть как осознанным, так и неосознанным. Функция установки в регуляции деятельности — это обеспечение целенаправленного и устойчивого характера протекания деятельности личности.

Анализ бессознательного с позиций теории деятельности позволяет, во-первых, наметить те проблемы и направления, в

русле которых изучались явления выделенных нами классов (проблема передачи и усвоения опыта; проблема детерминации деятельности; проблемы произвольной регуляции высших форм поведения и автоматизации различных видов внешней и внутренней деятельности; проблема поиска диапазона чувствительности), во-вторых, вычленив в пестром потоке этих явлений четыре качественно различных класса (надиндивидуальные надсознательные явления, неосознаваемые мотивы и смысловые установки личности, неосознаваемые механизмы регуляции способов деятельности, неосознаваемые резервы органов чувств) и обозначить генезис и функцию явлений разных классов в деятельности субъекта. Необходимость содержательной характеристики бессознательного как формы психического отражения, в которой субъект и мир представляют одно неразрывное целое, а также подобной классификации неосознаваемых явлений состоит в том, что нередко встречающееся противопоставление всех трех разнородных явлений уживается с полной утратой их специфики, что существенно затрудняет продвижение на нелегком пути их изучения. Между тем лишь выявление общих черт и специфики этих “утаенных” планов сознания (Л.С. Выготский) позволит найти адекватные методы их исследования, раскрыть их функцию в регуляции деятельности и тем самым не только дополнить, но и изменить существующую картину представлений о деятельности, сознании и личности.

Дж. Б. Уотсон

БИХЕВИОРИЗМ¹

Бихевиоризм (behaviorism, от англ. behavior — поведение) — особое направление в психологии человека и животных, буквально — наука о поведении. В своей современной форме бихевиоризм представляет продукт исключительно американской науки, зачатки же его можно найти в Англии, а затем и в России. В Англии в 90-х годах *Ллойд Морган* начал производить эксперименты над поведением животных, порвав, таким образом, со старым антропоморфическим направлением в зоопсихологии. Антропоморфическая школа устанавливала у животных такие сложные действия, которые не могли быть названы “инстинктивными”. Не подвергая этой проблеме экспериментальному исследованию, она утверждала, что животные “разумно” относятся к вещам и что поведение их, в общем, подобно человеческому. Ллойд Морган ставил наблюдаемых животных в такие условия, при которых они должны были разрешить определенную задачу, например, поднять щеколду, чтобы выйти из огороженного места. Во всех случаях он установил, что разрешение задачи начиналось с беспорядочной деятельности, с проб и ошибок, которые случайно приводили к верному решению. Если же животным снова и снова ставилась та же задача, то в конце концов они научались разрешать ее без ошибок: у животных развивалась более или менее совершенная привычка. Другими словами, метод Моргана был подлинно *генетическим*. Эксперименты Моргана побудили *Торндайка* в Америке к его работе (1898). В течение следующего

десятилетия примеру Торндайка последовало множество других ученых-зоологов. Однако никто из них ни в коей мере не приблизился к бихевиористической точке зрения. Почти в каждом исследовании этого десятилетия поднимался вопрос о “сознании” у животных. Уошборн дает в своей книге “*The animal Mind*” (1-е издание, 1908) общие психологические предпосылки, лежащие в основе работ того времени о психологии животных. Уотсон в своей статье “*Psychology as the Behaviorist Views It*” (“*Psychological Review*”, XX, 1913) первый указал на возможность новой психологии человека и животных, способной вытеснить все прежние концепции о сознании и его подразделениях. В этой статье впервые появились термины *бихевиоризм, бихевиорист, бихевиористический*. В своей первоначальной форме бихевиоризм основывался на недостаточно строгой теории образования привычек. Но вскоре на нем сказались влияние работ Павлова и Бехтерева об условных секреторных и двигательных рефлексах, и эти работы, в сущности, и дали научное основание бихевиоризму. В тот же период возникла школа так называемой *объективной психологии*, представленная Иксюлем, Беером и Бете в Германии, Ньюэлем и Боном во Франции и Лебом в Америке. Но хотя эти исследователи и способствовали в большой мере накоплению фактов о поведении животных, тем не менее их психологические интерпретации имели мало значения в развитии той системы психологии, которая впоследствии получила название “бихевиоризм”. Объективная школа в том виде, как она была развита биологами, была, по существу, дуалистической и вполне совместимой с психофизическим параллелизмом. Она была скорее реакцией на антропоморфизм, а не на психологию как науку о сознании.

Сущность бихевиоризма. С точки зрения бихевиоризма подлинным предметом психологии (человека) является поведение человека от рождения и до смерти. Явления поведения могут быть наблюдаемы точно так же, как и объекты других естественных наук. В психологии поведения могут быть использованы те же общие методы, которыми пользуются в естественных на-

¹ История психологии. Тексты / Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. С. 96—106.

уках. И поскольку при объективном изучении человека бихевиорист не наблюдает ничего такого, что он мог бы назвать сознанием, чувствованием, ощущением, воображением, волей, постольку он больше не считает, что эти термины указывают на подлинные феномены психологии. Он приходит к заключению, что все эти термины могут быть исключены из описания деятельности человека, этими терминами старая психология продолжала пользоваться потому, что эта старая психология, начавшаяся с Вундта, выросла из философии, а философия, в свою очередь, из религии. Другими словами, этими терминами пользовались потому, что вся психология ко времени возникновения бихевиоризма была виталистической. Сознание и его подразделения являются поэтому не более как терминами, дающими психологии возможность сохранить — в замаскированной, правда, форме — старое религиозное понятие “душа”. Наблюдения над поведением могут быть представлены в форме стимулов (С) и реакций (Р). Простая схема С — Р вполне пригодна в данном случае. Задача психологии поведения является разрешенной в том случае, если известны стимул и реакция. Подставим, например, в приведенной формуле вместо С прикосновение к роговой оболочке глаза, а вместо Р мигание. Задача бихевиориста решена, если эти данные являются результатом тщательно проверенных опытов. Задача физиолога при изучении того же явления сводится к определению соответственных нервных связей, их направления и числа, продолжительности и распространения нервных импульсов и т. д. Этой области бихевиоризм не затрагивает, как не затрагивает он и проблему физико-химическую — определение физической и химической природы нервных импульсов, учет работы произведенной реакции и т. п. Таким образом, в каждой человеческой реакции имеются бихевиористическая, нейрофизиологическая и физико-химическая проблемы. Когда явления поведения точно сформулированы в терминах стимулов и реакций, бихевиоризм получает возможность предсказывать эти явления и руководить (овладеть) ими — два существенных момента, которых требует всякая наука. Это можно выразить еще иначе. Предположим, что наша задача заключается в том, чтобы заставить чело-

века чихать; мы разрешаем ее распылением толченого перца в воздухе (овладение). Не так легко поддается разрешению соотношение С — Р в “социальном” поведении. Предположим, что в обществе существует в форме закона стимул “запрещение” (С), каков будет ответ (Р)? Потребуется годы для того, чтобы определить Р исчерпывающим образом. Многие из наших проблем должны еще долго ждать разрешения вследствие медленного развития науки в целом. Несмотря, однако, на всю сложность отношения “стимул-реакция”, бихевиорист ни на одну минуту не может допустить, чтобы какая-нибудь из человеческих реакций не могла быть описана в этих терминах.

Основная задача бихевиоризма заключается, следовательно, в накоплении наблюдений над поведением человека с таким расчетом, чтобы в каждом данном случае — при данном стимуле (или, лучше сказать, ситуации) — бихевиорист мог сказать наперед, какова будет реакция, или, если дана реакция, какой ситуацией данная реакция вызвана. Совершенно очевидно, что при такой широкой задаче бихевиоризм еще далек от цели. Правда, эта задача очень трудна, но не неразрешима, хотя иным она казалась абсурдной. Между тем человеческое общество основывается на общей уверенности, что действия человека могут быть предсказаны заранее и что могут быть созданы такие ситуации, которые приведут к определенным типам поведения (типам реакций, которые общество предписывает индивидам, входящим в его состав). Церкви, школы, брак — словом, все вообще исторически возникшие институты не могли бы существовать, если бы нельзя было предсказывать — в самом общем смысле этого слова — поведение человека; общество не могло бы существовать, если бы оно не в состоянии было создавать такие ситуации, которые воздействовали бы на отдельных индивидов и направляли бы их поступки по строго определенным путям. Правда, обобщения бихевиористов основывались до настоящего времени преимущественно на обычных, бессистемно применявшихся методах общественного воздействия. Бихевиоризм надеется завоевать и эту область и подвергнуть экспериментально-научному, достоверному исследованию отдельных людей и общественные группы. Другими слова-

ми, бихевиоризм полагает стать лабораторией общества. Обстоятельство, затрудняющее работу бихевиориста, заключается в том, что стимулы, первоначально не вызывавшие какой-либо реакции, могут впоследствии вызвать ее. Мы называем это процессом *обусловливания* (раньше это называли образованием привычек). Эта трудность заставила бихевиориста прибегнуть к генетическому методу. У новорожденного ребенка он наблюдает так называемую физиологическую систему рефлексов, или, лучше, врожденных реакций. Беря за основу весь инвентарь безусловных, незаученных реакций, он пытается превратить их в условные. При этом обнаруживается, что число сложных незаученных реакций, появляющихся при рождении или вскоре после него, относительно невелико. Это приводит к необходимости совершенно отвергнуть теорию инстинкта. Большинство сложных реакций, которые старые психологи называли инстинктами, например, ползание, лазание, опрятность, драка (можно составить длинный перечень их), в настоящее время считаются надстроенными или условными. Другими словами, бихевиорист не находит больше данных, которые подтверждали бы существование наследственных форм поведения, а также существование наследственных специальных способностей (музыкальных, художественных и т.д.). Он считает, что при наличии сравнительно немногочисленных врожденных реакций, которые приблизительно одинаковы у всех детей, и при условии овладения внешней и внутренней средой возможно направить формирование любого ребенка по строго определенному пути.

Образование условных реакций. Если мы предположим, что при рождении имеется только около ста безусловных, врожденных реакций (на самом деле их, конечно, гораздо больше, например, дыхание, крик, движение рук, ног, пальцев, большого пальца ноги, торса, дефекация, выделение мочи и т.д.); если мы предположим далее, что все они могут быть превращены в условные и интегрированы — по законам перестановок и сочетаний, — тогда все возможное число надстроенных реакций превысило бы на много миллионов то число реакций, на которое способен отличающийся максимальной гибко-

стью взрослый человек в самой сложной социальной обстановке. Эти незаученные реакции вызываются некоторыми определенными стимулами. Будем называть такие стимулы безусловными [(Б)С], а все такие реакции — безусловными реакциями [(Б)Р], тогда формула может быть выражена так:

$$\frac{(Б)С}{А} \rightarrow \frac{(Б)Р}{1}$$

После образования условной связи

$$\left. \begin{array}{l} B \\ C \\ D \\ E \end{array} \right\} \rightarrow 1$$

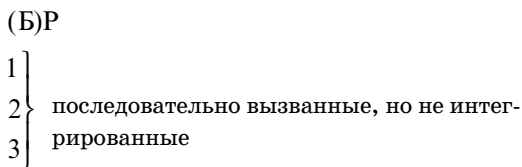
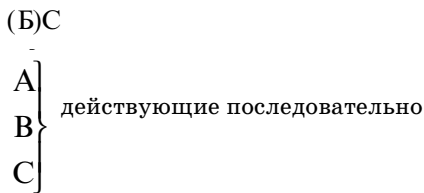
и т.д.

Пусть в этой схеме *A* будет безусловным стимулом, а *1* — безусловной реакцией. Если экспериментатор заставляет *B* (а в качестве *B*, насколько нам известно, может служить любой предмет окружающего мира) воздействовать на организм одновременно с *A* в течение известного периода времени (иногда достаточно даже одного раза), то *B* затем также начинает вызывать *1*. Таким же способом можно заставить *C*, *D*, *E* вызывать *1*, другими словами, можно любой предмет по желанию заставить вызывать *1* (замещение стимулов). Это кладет конец старой гипотезе о существовании какой-то врожденной либо мистической связи или ассоциации между отдельными предметами. Европейцы пишут слова слева направо, японцы же пишут вдоль страницы — сверху вниз. Поведение европейцев также закономерно, как и поведение японцев. Все так называемые ассоциации приобретены в опыте. Это показывает, как растет сложность воздействующих на нас стимулов по мере того, как наша жизнь идет вперед.

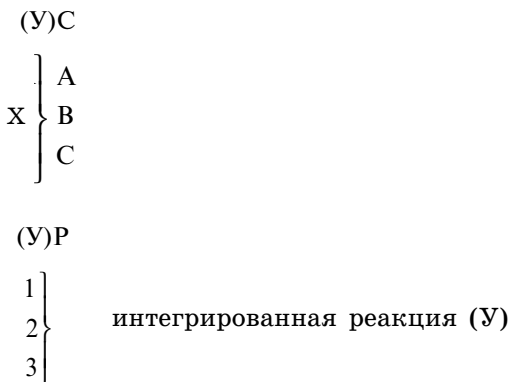
Каким образом, однако, становятся более сложными реакции? Физиологи исследовали интеграцию реакций главным образом, однако, с точки зрения их количества и сложности. Они изучали последовательное течение какого-либо акта в целом (на-

пример, рефлекс почесывания у собак), строение нервных путей связанных с этим актом, и т. п. Бихевиориста же интересует происхождение реакции. Он предполагает (как это показано в нижеприведенной схеме), что при рождении *A* вызывает 1, *B* — 2, *C* — 3. Действуя одновременно, эти три стимула вызовут сложную реакцию, составными частями которой являются 1, 2, 3 (если не произойдет взаимного торможения реакций). Никто все же не назовет это интеграцией. Предположим, однако, что экспериментатор присоединяет простой стимул *X* всякий раз, как действуют *A*, *B* и *C*. Через короткое время окажется, что этот стимул *X* может действовать один, вызывая те же три реакции 1, 2, 3, которые раньше вызывались стимулами *A*, *B*, *C*.

Изобразим схематически, как возникает интеграция или новые реакции всего организма:



После образования условной связи:



Часто возбудителем интегрированной реакции является словесный (вербальный) стимул. Всякий словесный приказ является таким именно стимулом. Таким об-

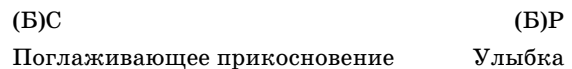
разом, самые сложные наши привычки могут быть представлены как цепи простых условных реакций.

Бихевиоризм заменяет поток сознания потоком активности, он ни в чем не находит доказательства существования потока сознания, столь убедительно описанного Джемсом, он считает доказательным только наличие постоянно расширяющегося потока поведения. На приведенной схеме показано, чем бихевиоризм заменяет джемсовский поток сознания.

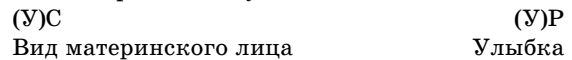
На этой схеме перечислены (весьма неполно) действия новорожденного (непрерывные линии). Она показывает, что реакции “любовь”, “страх”, “гнев”, появляются при рождении так же, как чихание, икание, питание, движение туловища, ног, гортани, хватание, дефекация, выделение мочи, плач, эрекция, улыбка и т. д. Она показывает далее, что протягивание рук, мигание и т. п. появляются в более позднем возрасте. Из этой схемы становится также ясным, что некоторые из этих врожденных реакций продолжают существовать в течение всей жизни индивидуума, в то время как другие исчезают. Важнее всего то, что, как показывает схема (пунктирные линии), условные реакции всегда непосредственно надстраиваются на основе врожденных.

Так, например, новорожденный ребенок улыбается [(B)P], поглаживание губ [(B)C] и других зон тела (как и некоторые внутриорганические стимулы) вызывают эту улыбку.

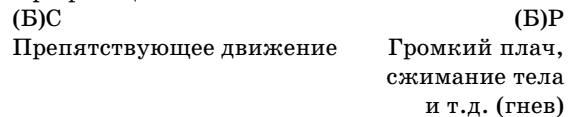
Ситуацию при этой врожденной реакции можно представить следующим образом:



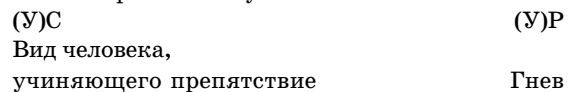
После образования условной связи:



При реакции гнева:



После образования условной связи:



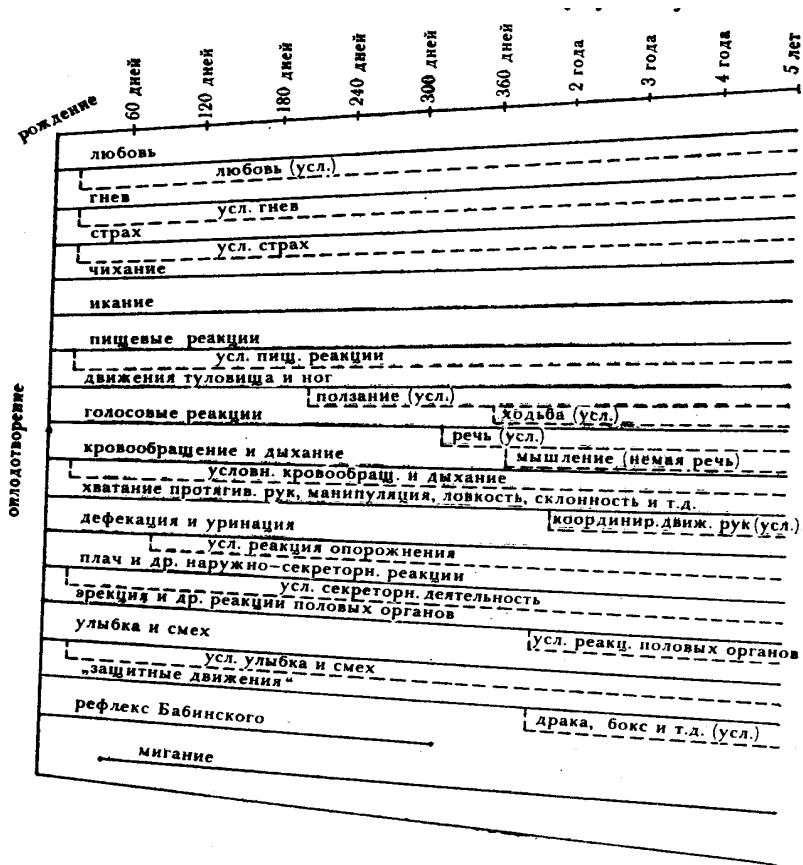


Рис. 1. Поток активности. Черная непрерывная линия обозначает безусловную основу всякой системы поведения. Пунктирная линия показывает, как каждая система усложняется при образовании условных реакций

Рассмотрим реакцию страха. Работы Уотсона и Рейнера, Мосса Лекки, Джонса и других указывают на то, что основным безусловным стимулом [(Б) С], вызывающим реакцию страха, является громкий звук или потеря опоры. Все дети, за исключением только одного из тысячи, над которыми производился эксперимент, задерживали дыхание, морщили губы, плакали, а те, кто постарше, уползли, когда раздавался позади их громкий звук или когда одеяло, на котором они лежали, внезапно выдергивалось из-под них. Ничто другое, насколько удалось наблюдать, не вызывает реакции страха в раннем детстве. Но очень легко заставить ребенка бояться какого угодно другого предмета. Экспериментатору достаточно для этого, показывая данный предмет, ударить, скажем, в стальную полосу за спиной ребенка и повторить эту процедуру несколько раз. Схема этой ситуации такова:

(Б)С	(Б)Р
Громкий звук, потеря опоры	Вздрагивание, плач и т.д. страх
После образования условной связи:	
(У)С	(У)Р
Кролики, собака, предмет, опущенный мехом	Страх

Другим интересным явлением, связанным с условными эмоциональными реакциями, является *перенесение*. Когда пытаются изобразить этот процесс в терминах Фрейда, натываются на тайну. Между тем экспериментальное изучение дало существенный фактический материал для выяснения его происхождения. Опыты над человеком и над собакой показали, что можно и того и другого заставить отвечать секреторной (слюнной) или двигательной реакцией на тон в 250 колебаний в секунду. Но эта реакция происходит не только тогда, когда действует условный стимул и каждый раз раздается именно этот тон, но

и тогда, когда звучат более высокие или более низкие тона. Экспериментатор может, применяя особые приемы, ограничить ряд стимулов, вызывающих реакцию. Он может ограничить их настолько, чтобы только тон в 256 колебаний в секунду (\pm дробь колебания) мог вызывать данную реакцию. Такая реакция называется дифференциальной, точно настроенной. Очевидно, совершенно то же самое происходит в случае условной эмоциональной реакции. Приучите ребенка к тому, чтобы один вид кролика вызывал в нем страх, и тогда, если ничего другого не будет сделано, крыса, собака, кошка, любая опушенная мехом вещь будут вызывать в ребенке страх. Бихевиорист имеет основание думать, что в точности то же самое происходит и с реакциями любви и гнева. Это указывает на то, что одна прочная условная реакция в эмоциональной сфере может произвести обширные изменения во всей жизни индивида. Такие “перенесенные” страхи представляют, следовательно, собой реакции недифференцированные, “неопределенные”, диффузные. Образование условных связей начинается в жизни ребенка гораздо раньше, чем думали до сих пор. Это процесс, который в короткий срок усложняет реакцию: ребенок 2—3 лет уже располагает тысячами реакций, воспитанных в нем окружающей его средой. Объяснение возникающих при этом сложных реакций бихевиоризм находит в механизме условных рефлексов. Бихевиористу нет необходимости при этом погружаться в бездонность “бессознательного” фрейдовской школы.

Процесс размыкания условной связи.

Ввиду исключительной практической важности вопроса бихевиористами были проведены эксперименты в области размыкания условной связи или переключения ее. Нижеприведенный простой эксперимент иллюстрирует сказанное. У ребенка 1,5 лет была выработана условная отрицательная реакция: при виде сосуда с золотыми рыбками он отходил либо убегал. Приводим слова экспериментатора: “Ребенок как только увидит сосуд с рыбками, говорит: “Кусается”. С какой бы быстротой он ни шел, он замедляет шаг, как только приблизится к сосуду на 7—8 шагов. Когда я хочу задержать его силой и подвести к бассейну, он начинает плакать и пытается вырваться и убежать. Никаким убеждением,

никакими рассказами о прекрасных рыбках, о том, как они живут, движутся и т. д., нельзя разогнать этот страх. Пока рыбок нет в комнате, вы можете путем словесного убеждения заставить ребенка сказать: “Какие милые рыбки, они вовсе не кусаются”, но стоит показать рыбку, и реакция страха возвращается. Испробуем другой способ. Подведем к сосуду старшего брата, 4-летнего ребенка, который не боится рыбок. Заставим его опустить руки в сосуд и схватить рыбку. Тем не менее младший ребенок не перестанет проявлять страх, сколько бы он ни наблюдал, как безбоязненно его брат играет с этими безвредными животными. Попытки пристыдить его также не достигнут цели. Испытаем, однако, следующий простой метод. Поставим стол от 10 до 12 футов длиной. У одного конца стола поместим ребенка во время обеда, а на другой конец поставим сосуд с рыбками и закроем его. Когда пища будет поставлена перед ребенком, попробуем приоткрыть сосуд с рыбками. Если это вызовет беспокойство, отодвиньте сосуд так, чтобы он больше не смущал ребенка. Ребенок ест нормально, пищеварение совершается без малейшей помехи. На следующий день повторим эту процедуру, но пододвинем сосуд с рыбками несколько ближе. После 4—5 таких попыток сосуд с рыбками может быть придвинут вплотную к подносу с пищей, и это не вызовет у ребенка ни малейшего беспокойства. Тогда возьмем маленькое стеклянное блюдо, наполним его водой и положим туда одну из рыбок. Если это вызовет смущение, отодвинем блюдо, а к следующему обеду поставим его снова, но уже поближе. Через три-четыре дня блюдо уже может быть поставлено вплотную к чашке с молоком. Прежний страх преодолен, произошло размыкание условной связи, и это размыкание стало уже постоянным. Я думаю, что этот метод основан на вовлечении висцерального компонента общей реакции организма; другими словами, для того, чтобы изгнать страх, необходимо включить в цепь условий также и пищеварительный аппарат. Я полагаю, что причина непрочности многих психоаналитических методов лечения заключается в том, что не воспитывается условная реакция кишечника одновременно с вербальными и мануальными компонентами. По-моему, психоаналитик

не может при помощи какой бы то ни было системы анализа или словесного увещевания вновь включить в цепь условий пищеварительный аппарат потому, что слова в нашем прошлом обучении не служили стимулами для кишечных реакций” (Уотсон). Бихевиорист полагает, что факты такого рода окажутся ценными не только для матерей и нянь, но и для психопатолога.

Представляет ли мышление проблему?

Всевозрастающее преобладание речевых навыков в поведении растущего ребенка естественно вводит нас в бихевиористическую теорию мышления. Она полагает, что мышление есть поведение, двигательная активность, совершенно такая же, как игра в теннис, гольф или другая форма мускульного усилия. Мышление также представляет собой мускульное усилие, и именно такого рода, каким пользуются при разговоре. Мышление является просто речью, но речью при скрытых мускульных движениях. Думаем ли мы, однако, только при помощи слов? Бихевиористы в настоящее время считают, что всякий раз, когда индивид думает, работает вся его телесная организация (скрыто), каков бы ни был окончательный результат: речь, письмо или беззвучная словесная формулировка. Другими словами, с того момента, когда индивид поставлен в такую обстановку, при которой он должен думать, возбуждается его активность, которая может привести в конце концов к надлежащему решению. Активность выражается: 1) в скрытой деятельности рук (мануальная система ре-

акций), 2) чаще — в форме скрытых речевых движений (вербальная система реакций), 3) иногда — в форме скрытых (или даже открытых) висцеральных реакций (висцеральная система реакций). Если преобладает 1-я или 3-я форма, мышление протекает без слов.

Бихевиористы высказывают предположение, что мышление в последовательные моменты может быть кинестетическим, вербальным или висцеральным (эмоциональным). Когда кинестетическая система реакций заторможена или отсутствует, тогда функционируют вербальные процессы; если заторможены те и другие, то становятся доминирующими висцеральные (эмоциональные) реакции. Можно, однако, допустить, что мышление должно быть вербальным (беззвучным) в том случае, если достигнута окончательная реакция или решение. Эти соображения показывают, как весь организм вовлекается в процесс мышления. Они указывают на то, что мануальная и висцеральная реакции принимают участие в мышлении даже тогда, когда вербальных процессов нет налицо; они доказывают, что мы могли все же каким-то образом мыслить даже в том случае, если бы мы не имели вовсе слов. Итак, мы думаем и строим планы всем телом. Но поскольку речевые реакции, когда они имеются налицо, обычно доминируют, по-видимому, над висцеральными и мануальными, можно сказать, что мышление представляет собой в значительной мере беззвучную речь.

Э. Ч. Толмен

ПОВЕДЕНИЕ КАК МОЛЯРНЫЙ ФЕНОМЕН¹

Общая позиция, принятая в этой работе, бихевиористская, но это особый вариант бихевиоризма, ибо имеются различные варианты бихевиоризма. Уотсон, архибихевиорист, предлагает один его вид. Ряд авторов, в частности Хольт, Перри, Сингер, де Лагуна, Хантер, Вейсс, Лешли и Форст, предложили другие, до некоторой степени различные варианты². Здесь не могут быть предприняты полный анализ и сравнение всех этих точек зрения. Мы представим только их некоторые отличительные черты как введение к пониманию нашего собственного варианта.

УОТСОН: МОЛЕКУЛЯРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Уотсон в основном, по-видимому, описывает поведение в терминах простой связи “стимул — реакция”. Сами эти стимулы и реакции он, по-видимому, представляет себе в относительно непосредственных физических и физиологических значениях.

Так, в первом полном изложении своей концепции он писал: “Мы используем термин “стимул” в психологии так, как он используется в физиологии. Только в психологии мы должны несколько расширить употребление этого термина. В психологической лаборатории, когда мы имеем дело с относительно простыми факторами, такими как влияние волн эфира различной длины, звуковых волн и т. п., изучая их влияние на приспособление человека, мы говорим о стимуле. С другой стороны, когда факторы, которые приводят к реакциям, являются более сложными, как, например, в социальном мире, мы говорим о ситуациях. Ситуация с помощью анализа распадается на сложную группу стимулов. В качестве примера стимула можно назвать такие раздражители, как пучок света различной длины волны; звуковую волну различной амплитуды и длины, фазы и их комбинации; частицы газа, подаваемые через такие небольшие отверстия, что они оказывают воздействие на оболочку носа; растворы, которые содержат частицы вещества такой величины, что приводят в активность вкусовые почки; твердые объекты, которые воздействуют на кожу и слизистую оболочку; лучистые стимулы, которые могут вызвать ответ на их температуру; вредные стимулы, такие как режущие, колющие, ранящие ткань. Наконец, движения мускулов и активность желез сами служат стимулами вследствие того воздействия, которое они оказывают на афферентный нерв, заканчивающийся в мускуле.

Подобным образом мы используем в психологии термин “реакция”, но опять мы должны расширить его использование. Движения, которые являются результатом удара по сухожилию или по подошве стопы, являются “простыми” реакциями, которые изучаются в физиологии и медици-

¹ История психологии. Тексты / Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. С. 108—115.

² Мак-Дауголл (*Dougall W. Mc. Men or Robots // Psychologies of 1925. Worcester, 1926. P. 277*) утверждал, что он был первым, кто определил психологию как исследование поведения: “Еще в 1905 г. я начал свою попытку исправить это положение дел (т. е. неадекватность психологии “идей”), предложив определить психологию как науку о поведении, используя слово “позитивная” для того, чтобы отличить ее от этики, нормативной науки о поведении”. Ср. его же: “Мы можем определить психологию как позитивную науку о поведении живых существ” (*Psychology, the study of behavior. N. Y., 1912. P. 19*). Но честь (или позор) в возвышении этого определения психологии до “изма” должна быть приписана Уотсону. Для более глубокого рассмотрения см.: *Roback A. A. Behaviorism and psychology. Cambridge, 1925. P. 231—242* (там же библиография).

не. Наше исследование в психологии также имеет дело с простыми реакциями такого типа, но чаще — с рядом сложных реакций, происходящих одновременно”¹.

Необходимо отметить, однако, что наряду с этим определением поведения в терминах строго физических или физиологических *сокращений мускулов*, которые в него входят, Уотсон был склонен соскальзывать на различные и иногда противоречивые позиции. Так, например, в конце только что цитированного отрывка он говорит: “В последнем случае (когда наше исследование в психологии имеет дело с несколькими различными реакциями, происходящими одновременно) мы иногда используем популярный термин “акт” или приспособление, обозначая этим то, что целая группа реакций интегрируется таким образом (инстинкт или навык), что индивид делает что-то, что мы называем словами: “питается”, “строит дом”, “плавает”, “пишет письмо”, “разговаривает”². Эти новые “интегрированные реакции”, вероятно, имеют качества, отличные от качеств физиологических элементов, из которых они составлены. Действительно, Уотсон сам, по-видимому, предполагает такую возможность, когда замечает: “Для изучающего поведение вполне возможно полностью игнорировать симпатическую нервную систему и железы, а также гладкую мускулатуру и даже центральную нервную систему, чтобы написать исчерпывающее и точное исследование эмоций — их типы, их отношение к навыкам, их роль и т. п.”³.

Это последнее утверждение, кажется, однако, противоречит первому. Ибо если, как он утверждал в предыдущей цитате, изучение поведения не касается ничего другого, кроме как “стимула, определяемого физически”, и “сокращения мускула и секреции желез, описываемых физиологически”, тогда, конечно, для изучения поведения будет *невозможно* не учитывать “симпатическую нервную систему и железы, а также гладкую мускулатуру и даже центральную нервную систему, чтобы написать исчерпывающее и точное исследование эмоций”.

Кроме того, в его совсем недавнем заявлении⁴ мы находим такие утверждения, как следующее: “Некоторые психологи, по-видимому, представляют, что бихевиорист интересуется только рассмотрением незначительных мускульных реакций. Ничего не может быть более далекого от истины. Давайте вновь сделаем акцент на то, что бихевиорист прежде всего интересуется поведением целого человека. С утра до ночи он наблюдает за исполнением круга его ежедневных обязанностей. Если это кладка кирпичей, ему хотелось бы подсчитать количество кирпичей, которое он может уложить при различных условиях, как долго он может продолжать работу, не прекращая ее из-за усталости, как много времени потребуется ему, чтобы обучиться своей профессии, сможем ли мы усовершенствовать его эффективность или дать ему задание выполнить тот же объем работы в меньший отрезок времени. Иными словами, в ответной реакции бихевиорист интересуется ответом на вопрос: “Что он делает и почему он делает это?”. Конечно, с учетом этого утверждения никто не может исказить платформу бихевиоризма до такой степени, чтобы говорить, что бихевиорист является только физиологом мускулов”⁵.

В этих утверждениях ударение делается на целостный ответ в противоположность физиологическим элементам таких целостных реакций. Наш вывод сводится к тому, что Уотсон в действительности имеет дело с двумя различными понятиями поведения, хотя сам он, по-видимому, ясно их не различает. С одной стороны, он определяет поведение в терминах составляющих его физических и физиологических элементов, т. е. в терминах процессов, происходящих в рецепторе, в проводящих путях и в эффекторе. Обозначим это как *молекулярное* определение поведения. С другой стороны, он приходит к признанию, хотя, может быть, и неясному, что поведение как таковое является чем-то большим, чем все это, и отличается от суммы своих физиологических компонентов. Поведение как таковое является “эмерджентным фе-

¹ *Watson J. B. Psychology from the standpoint of a behaviorist. Philadelphia, 1919. P. 10.*

² *Op. cit. P. 11.*

³ *Op. cit. P. 195.*

⁴ *Watson J. B. Behaviorism. N. Y., 1930.*

⁵ *Op. cit. P. 15.*

номеном, который имеет собственные описательные свойства”¹. Обозначим это последнее понимание как молярное описание поведения².

МОЛЯРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В настоящем исследовании защищается второе, молярное определение поведения. Мы будем утверждать следующее. Несомненно, что каждый акт поведения можно описать в терминах молекулярных процессов физического и физиологического характера, лежащих в его основе. Но поведение — молярный феномен, и актам поведения как “молярным” единицам свойственны некоторые собственные черты. Именно эти молярные свойства поведенческих актов интересуют нас, психологов, в первую очередь. Молярные свойства при настоящем состоянии наших знаний, т. е. до разработки многих эмпирических корреляций между поведением и их физиологическими основами, не могут быть объяснены путем умозаключения из простого знания о лежащих в их основе молекулярных фактах физики и физиологии. Как свойства воды в мензурке не устанавливаются каким-либо путем до опыта из свойств отдельных молекул воды, так и никакие свойства актов поведения не выводимы прямо из свойств, лежащих в их основе и составляющих их физических и физиологических процессов. Поведение как таковое, по крайней мере в настоящее время, не может быть выведено из сокращений мускулов, из составляющих его движений, взятых самих по себе. Поведение должно быть изучено в его собственных свойствах.

Акт, рассматриваемый как акт “поведения”, имеет собственные отличительные

свойства. Они должны быть определены и описаны независимо от каких-либо лежащих в их основе процессов в мышцах, железах или нервах. Эти новые свойства, отличительные черты молярного поведения, по-видимому, зависят от физиологических процессов. Но описательно и *per se* (сами по себе) они есть нечто другое, чем эти процессы.

Крыса бегает по лабиринту; кошка выходит из дрессировочного ящика; человек направляется домой обедать; ребенок прячется от незнакомых людей; женщина умывается или разговаривает по телефону; ученик делает отметку на бланке с психологическим тестом; психолог читает наизусть список бессмысленных слогов; я разговариваю с другом или думаю, или чувствую — *все это виды поведения* (как *молярного*). И необходимо отметить, что при описании упомянутых видов поведения мы не отсылаем к большей частью хорошо известным процессам в мускулах и железах, сенсорных и двигательных нервах, так как эти реакции имеют достаточно определенные собственные свойства.

ДРУГИЕ СТОРОННИКИ МОЛЯРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нужно отметить, что данное молярное представление о поведении, т. е. представление о том, что поведение имеет собственные свойства, которые его определяют и характеризуют и которые являются чем-то другим, чем свойства лежащих в его основе физических и физиологических процессов, защищается и другими теоретиками, в частности Хольтом, де Лагуной, Вейссом и Кантором.

Хольт: “Часто слишком материалистически думающий биолог так робеет при

¹Для более ясного понимания термина “эмерджентный”, который теперь становится таким популярным среди философов (См. *Dougall W. Mc. Modern materialism and emergent evolution. N. Y., 1929*), нужно подчеркнуть, что в данном случае при обозначении поведения как имеющего “эмерджентные” свойства мы используем этот термин только в описательном смысле, не затрагивая философского статуса понятия эмерджентности. Явления “эмерджентного” поведения коррелируют с физиологическими феноменами мускулов, желез и органов чувств. Но описательно они отличаются от последних. Мы не будем говорить здесь о том, сводятся ли в конечном счете “эмерджентные” свойства к процессам физиологического порядка.

²Начало различению молярного и молекулярного бихевиоризма положил Броуд (См. *Broad C.D. The Mind and its place in nature. N. Y., 1920. P. 616*): нам его предложил доктор Вильямс (См. *Williams O. C. Metaphysical interpretation of behaviorism. Harvard Ph. D. thesis, 1928*).

Броуд намеревался первоначально отличать бихевиоризм, который обращает внимание только на наблюдаемую телесную активность, от бихевиоризма, который учитывает гипотетические процессы в молекулах мозга и нервной системы.

встрече с некоторым пугалом, именуемым “душой”, что спешит разложить каждый случай поведения на его составные части — рефлексy, не пытаясь сначала наблюдать его как целое”¹.

“Феномены, характерные для интегрального организма, больше не являются только возбуждением нерва или сокращением мускула, или только игрой рефлексов, выстреливающих на стимул. Они существуют и существенны для рассматриваемых явлений, но являются только их компонентами, так как интегрируются. И эта интеграция рефлекторных дуг со всем, что они включают в себя в состоянии систематической взаимозависимости, дает в результате нечто, что уже не является только рефлекторным актом. Биологические науки давно признали эту новую и другую вещь и назвали ее поведением”².

Де Лагуна: “Целостный ответ, вызываемый дистантным раздражителем и подкрепляемый контактным стимулом (например, вытягивание шеи, клевание и глотание), образует функциональное единство. Акт есть *целое* и стимулируется или наследуется как целое... Там, где поведение является более сложным, мы найдем подобное отношение”³.

“Функционирование группы (сенсорных клеток) как целого есть *функционирование*, а не только химическая реакция, так как в любом случае оно не является результатом реагирования отдельных клеток, которые ее составляют”⁴.

Вейсс: “Исследование внутренних нервных условий образует, конечно, часть биохевиористской программы, но невозможность проследить траекторию нервного

возбуждения на протяжении всей нервной системы выступает ограничением для изучения действующего стимула и реакции в области воспитания, индустриальной или социальной областях жизни не больше, чем для физиков невозможность точно определить, что происходит в электролитах гальванического элемента в то время, когда идет электрический ток, является ограничением в исследовании электричества”⁵.

Кантор: “Все более и более психологи пытаются выразить факты в терминах сложного организма, а не его специфических частей (мозга и т. п.) или изолированных функций (нервных)”⁶.

“Психологический организм, в отличие от биологического организма, может рассматриваться как сумма реакций плюс их различные интеграции”⁷.

ОПИСАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ КАК МОЛЯРНОГО ФЕНОМЕНА

Соглашаясь, что поведение имеет собственные описательные особенности, мы должны четко уяснить, каковы они.

Первым пунктом в ответе на этот вопрос должен быть установленный факт, что поведение в собственном смысле всегда, по видимому, характеризуется направленностью на цель или исходит из целевого объекта или целевой ситуации⁸. Полное определение любого отдельного акта поведения требует отношения к некоторому специфическому объекту — цели или объектам, на которые этот акт направлен, или, может быть, исходит от него, или и то и другое. Так, например, поведение крысы,

¹ Holt E. B. The freudian wish. N. Y., 1915. P. 78.

² Op. cit. P. 155. Настоящая глава, а также большинство последующих были написаны до появления наиболее известной книги Хольта (См. Holt E. B. Animal drive and learning process. N. Y., 1931).

³ Laguna Cr. A. de. Speech, its function and development. New Haven, 1927. P. 169.

⁴ Laguna Cr. A. de. Sensation and perception. // J. Philos. Psychol. Sci. Meth. 1916. 13. P. 617—630.

⁵ Weiss A. P. The relation between physiological psychology and behavior psychology. — “J. Philos. Psychol. Sci. Meth.”, 1919, 16, 626—634; Он же. A Theoretical basis of human behavior. Columbus, 1925.

⁶ Kantor J. R. The evolution of psychological textbooks since 1912. // Psychol. Bull. 1922. V. 19. P. 429—442.

⁷ Kantor J. R. Principles of psychology. N. Y., 1924.

⁸ Мы будем использовать термины “цель” и “результат”, чтобы описать ситуации, исходящие из цели, и ситуации, направленные на достижение цели, т. е. для обозначения того, что можно назвать “от чего” и “к чему”.

заключающееся в “пробежках по лабиринту”, имеет в качестве своей первой и, может быть, главной характеристики то, что оно направлено на пищу. Подобно этому, у Торндайка поведение кошек по открыванию дрессировочного ящика будет иметь в качестве своей первой определяющей особенности то, что оно направлено на освобождение из клетки, т. е. на получение свободы. Или, с другой стороны, поведение испытуемого, который повторяет в лаборатории бессмысленные слоги, имеет в качестве первой описательной характерной черты то, что оно направлено на выполнение инструкции, исходящей от экспериментатора. Или, наконец, замечания мои и моего друга во время беседы с ним имеют в качестве определяющей черты настройку на взаимную находчивость, готовность подхватить и продолжить разговор.

В качестве второй характерной черты поведенческого акта отметим, что поведение, направленное на цель или исходящее из нее, характеризуется не только направленностью на целевой объект, но также и специфической картиной обращения (*commerce, intercourse, engagement, communion with*) с вмешивающимися объектами, используемыми в качестве средств для достижения цели¹. Например, пробежка крысы направлена на получение пищи, что выражается в специфической картине пробежки по каким-то одним коридорам, а не по другим. Подобно этому, поведение кошек у Торндайка не только характеризуется направленностью на освобождение из ящика, но и дает специфическую картину кусания, жевания и царапания ящика. Или, с другой стороны, поведение человека состоит не только в факте возвращения со службы домой. Оно характеризуется также специфической картиной обращения с объектами, выступающими в качестве средств для достижения цели, — машиной, дорогой и т. д. Или, наконец, поведение психолога — это не только поведение, направляемое инструкцией, исходящей от другого психолога; оно характеризуется также тем, что само раскрывается как специфическая картина соотношений этой цели с объек-

тами, используемыми в качестве средств, а именно: чтение вслух и повторение бессмысленных слогов; регистрация результатов повторения и т. д.

В качестве третьей описательной характеристики поведенческого акта мы находим следующую его особенность. Такой акт, направленный на специфический целевой объект или исходящий из него, вместе с использованием объектов в качестве средств характеризуется также *селективностью, избирательностью*, выражающейся в *большей готовности* выбирать средства, ведущие к цели более *короткими* путями. Так, например, если крысе даются два альтернативных объекта-средства, ведущих к данной цели, один более коротким, а другой более длинным путем, она будет в этих условиях выбирать тот, который ведет к цели более коротким путем. То, что справедливо для крыс, несомненно, будет справедливо — и выступает более ясно — и для более развитых животных, а также для человека. Все это эквивалентно тому, чтобы сказать, что избирательность в отношении объектов, выступающих в качестве средств, находится в связи с “направлением” и “расстоянием” средства от целевого объекта, т. е. определяется целью. Когда животное встречается с альтернативами, оно всегда быстрее или медленнее приходит к выбору той из них, которая в конце концов приводит к целевому объекту или к его избеганию в соответствии с данной потребностью, причем более коротким путем.

Подведем итоги. Полное описательное определение любого поведенческого акта *per se* требует включить в него следующие особенности. В нем различаются:

а) целевой объект или объекты, которые его направляют или из которых оно исходит;

б) специфическая картина отношения к объектам, которые используются в качестве средств для достижения цели;

в) относительная селективность к объектам, выступающим в качестве средств, проявляющаяся в выборе тех из них, которые ведут к достижению цели более коротким путем.

¹ Термины “*commerce, intercourse, engagement, communion with*” используются для описания специфического вида взаимодействия между поведенческим актом и окружающими условиями. Но для удобства мы будем использовать большей частью единственный термин “*commerce with*” — “обращение с”.

В. Келер

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ ГЕШТАЛТПСИХОЛОГИИ¹

В одной из своих статей Вертгеймер описал следующие наблюдения.

Вы смотрите на ряд точек (рис. 1), расстояния между которыми поочередно то больше, то меньше. Тот факт, что эти точки самопроизвольно группируются по две, причем так, что меньшее из расстояний всегда находится внутри группы, а большее — между группами, возможно, не особенно впечатляет.



Рис. 1

Тогда вместо точек (рис. 2) возьмем ряд вертикальных параллельных прямых и несколько увеличим различие между двумя расстояниями.

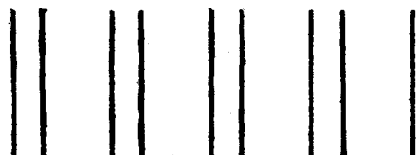


Рис. 2

Эффект группировки здесь сильней. Насколько силен этот эффект, можно почувствовать, если попытаться сформировать другие группы так, чтобы две линии с большим расстоянием между ними образовали одну группу, а меньшее расстояние

было бы между двумя группами. Вы почувствуете, что это требует специального усилия. Увидеть одну такую группу, может быть, достаточно легко, но сгруппировать весь ряд так, чтобы видеть все эти группы одновременно, мне, например, не по силам. Большинство людей никогда не смогут добиться, чтобы эти новые группы стали для них такими же ясными, устойчивыми и оптически реальными, как предыдущая группировка; и в первый же момент расслабления или при наступлении усталости они видят спонтанно возникающую первую группировку, как будто некоторые силы удерживают вместе пары близко расположенных линий.

Является ли расстояние решающим фактором само по себе?

Две точки или две параллельные линии можно рассматривать как границы, заключающие между собой часть пространства. В двух наших примерах это удается лучше тогда, когда они находятся ближе друг к другу и можно сформулировать следующее утверждение: члены ряда, которые “лучше” ограничивают часть пространства, лежащую между ними, при восприятии группируются вместе. Этот принцип объясняет тот факт, что параллельные линии образуют более устойчивые группы, чем точки. Очевидно, они лучше, чем точки, ограничивают пространство между собой. Мы можем изменить наш последний рисунок, добавив короткие горизонтальные линии, так что большее пространство (между более удаленными линиями) покажется лучше ограниченным (рис. 3).



Рис. 3

Теперь легко видятся группы из более удаленных друг от друга линий с их горизонтальными добавлениями (даже тогда, когда открытое расстояние между этими добавлениями больше, чем меньшее расстояние между соседними линиями).

Но будем осторожны в выводах. Может быть, здесь действуют 2 различных принципа: принцип расстояния и принцип ограничения?

¹ История психологии. Тексты / Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. С. 163—171.

На следующем рисунке все члены ряда точек удалены друг от друга на равные расстояния, но имеется определенная последовательность в изменении их свойств (в данном случае цвета — рис. 4). Не имеет значения, какого рода это различие свойств. Даже в следующем случае (рис. 5) мы наблюдаем то же явление, а именно: члены ряда “одного качества” (каково бы оно ни было) образуют группы, и когда качество меняется, мы видим новую группу. Можно убедиться в реальности этого явления, пытаясь увидеть этот ряд в другой группировке. В большинстве случаев люди не могут увидеть этот ряд как прочно организованную серию в любой другой математически возможной группировке.



Рис. 4

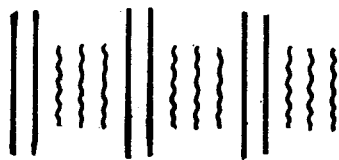


Рис. 5

Этим наши наблюдения не кончаются. Если снова взглянуть на ряд параллельных прямых, мы видим, что образование групп касается не только параллельных линий. Все пространство внутри группы, наполовину ограниченное ближайшими линиями, несмотря на то, что оно такое же белое, как и вся остальная бумага, отличается от нее, воспринимается по-другому. Внутри группы есть впечатление “чего-то”, мы можем сказать “здесь что-то есть”, тогда как между группами и вокруг рисунка впечатление “пустоты”, там “ничего нет”. Это различие, тщательно описанное Рубином, который назвал его различием “фигуры” и “фона”, еще более удивительно тем, что вся группа с заключенным в ней белым пространством, кажется “выступающей вперед” по сравнению с окружающим фоном. В то же время можно заметить, что прямые, благодаря которым заключенная между ними область кажется твердой и

выступающей из фона, принадлежат этой области, они являются краями этой области, но не кажутся краями неопределенного фона между группами¹.

Можно еще много говорить даже о таком простом аспекте зрительного восприятия. Я, однако, обращусь к наблюдениям другого плана.

На предыдущих рисунках группы прямых включали по 2 параллельных прямых каждая. Добавим третью прямую в середину каждой группы (рис. 6). Как можно было предположить заранее, три прямые, близко расположенные друг к другу, объединяются в одну группу и эффект группировки становится еще сильнее, чем ранее. Мы можем добавить еще две линии в каждую группу между тремя уже начерченными прямыми (рис. 7).

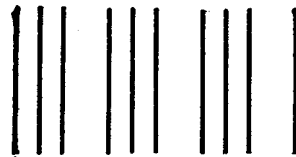


Рис. 6

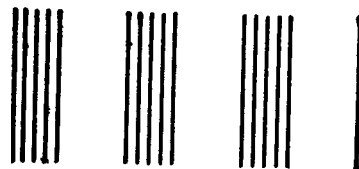


Рис. 7

Стабильность группировки увеличилась еще больше, и белое пространство внутри групп почти незаметно. Если продолжать эту процедуру и дальше, наши группы превратятся в черные прямоугольники. Их будет три, и каждый, глядя на этот рисунок, увидит три темные фигуры. Такая постепенная процедура, в результате которой мы видим эти темные прямоугольники как “вещи”, выступающие из фона, есть крайний случай группировки, которую мы наблюдали раньше. Это не геометрический трюизм. Это нечто не относящееся к геометрии. Тот факт, что однородно окрашенные поверхности или пятна кажутся целыми, определенными

¹ Подобные законы обнаружены для формирования групп во временных рядах (См. Wertheimer, 1923; Koffka, 1922).

единицами, связан с особенностями нашего зрения. Когда даны рядом предметы с одинаковыми свойствами, как правило, образуются группы. С увеличением плотности группы этот эффект увеличивается и достигает максимума и группы превращаются в сплошные окрашенные поверхности. (Поверхности эти могут иметь тысячи различных форм — от обычных прямоугольников, к которым мы привыкли, до совершенно необычных форм вроде чернильных пятен или облаков с их причудливыми очертаниями).

Мы начали обсуждение с наблюдения группы, так как с помощью этого примера легче увидеть проблему. Конечно, единство черных прямоугольников ярче и устойчивее, чем единство наших первых точек и прямых; но мы так привыкли к факту, что однородно окрашенные поверхности, окруженные поверхностью другого цвета, кажутся отдельными целыми, что не видим здесь проблемы. Многие наблюдения гештальтпсихологов таковы: они касаются фактов и явлений, настолько часто встречающихся в повседневной жизни, что мы не видим в них ничего удивительного.

Нам снова придется возвратиться немало назад. Мы брали ряды точек или прямых линий и наблюдали, как они группируются. Теперь известно, что в самих членах этих рядов заключена проблема, а именно явление, что они воспринимаются как целые единицы. Мы здесь имеем дело с образованиями разного порядка или ранга, например, прямыми линиями (I порядок) и их группами (II порядок). Если единица существует, она может быть частью большей единицы или группы более высокого порядка.

Будучи целой единицей, непрерывная фигура имеет характер “фигуры”, выступает как нечто твердое, выделяющееся из фона. Представьте себе, что мы заменили прямоугольник, раскрашенный черным, прямоугольным кусочком бумаги черного цвета того же размера и прижали к листу. Ничего как будто не изменилось. Этот кусок имеет тот же характер твердого целого. Представьте себе далее, что этот кусок бумаги начинает расти в направле-

нии, перпендикулярном своей поверхности. Он становится толще и наконец превращается в предмет в пространстве. Опять никаких важных изменений. Но приложение наших наблюдений стало намного шире. Не только “вещь” выглядит как целое и нечто твердое, то же касается и групп, о которых говорилось вначале. У нас нет причин считать, что принципы группировки, о которых было сказано (и другие, о которых я не имел возможности упомянуть), теряют силу, когда мы переходим от пятен и прямоугольников к трехмерным вещам¹.

Наши наблюдения связаны с анализом поля. Мы имели дело с естественными и очевидными структурами поля. Произвольное и абстрактное мышление образует в моем зрительном поле группы пятен или прямоугольников. Я вижу их не менее реально, чем их цвет, черный, белый или красный. Пока мое зрительное поле остается неизменным, я почти не сомневаюсь, что принадлежит к какой-нибудь единице, а что — нет. Мы обнаружили, что в зрительном поле есть единицы различных порядков, например, группы, содержащие несколько точек, причем большая единица содержит меньшие, которые труднее разделить, подобно тому как в физике молекула как более крупная единица содержит атомы, меньшие единицы, составные части которых объединены крепче, чем составные части молекулы. Здесь нет никаких противоречий и сомнений относительно объективных единиц. И так же как в физическом материале с бесспорными единицами и границами между этими единицами, в зрительном поле произвольный мысленный анализ не в силах спорить с наблюдением. Восприятие разрушается, когда мы пытаемся установить искусственные границы, когда реальные единицы и границы между ними ясны. В этом главная причина того, что я считаю понятие “ощущение” опасным. Оно скрывает тот факт, что в поле существуют видимые единицы различного порядка. Ведь когда мы наивно представляем себе поле в терминах нереальных элементов различного цвета и яркости, как будто они безразлично

¹ “Вещи” снова могут быть членами групп высших порядков. Вместо пятен мы можем взять ряд людей и наблюдать группировку. В архитектуре можно найти много подобных примеров (группы колонн, окон и т. д.).

заполняют пространство и т. д., от этого описания ускользают видимые, реально существующие целые единицы с их видимыми границами.

Наибольшая опасность понятия “ощущение” состоит в том, что считается, будто эти элементы зависят от местных процессов в нервной системе, причем каждый из них в принципе определяется одним стимулом. Наши наблюдения полностью противоречат этой “мозаичной” теории поля. Как могут местные процессы, которые не зависят друг от друга и никак не взаимодействуют друг с другом, образовывать такое организованное целое? Как можно понять относительность границ между группами, если считать, что это только границы между маленькими кусочками мозаики, — ведь мы видим границу, только когда кончается целая группа. Гипотеза маленьких независимых частей не может дать нам объяснение. Все понятия, нужные для описания поля, не имеют отношения к концепции независимых элементов. Более конкретно: нельзя выяснить, как формируются группы или единицы, рассматривая поочередно сначала одну точку, затем другую, т. е. рассматривая их независимо друг от друга. Приблизиться к пониманию этих фактов можно, только принимая во внимание, как местные условия на всем поле *вливают друг на друга*. Сам по себе белый цвет не делает белую линию, начерченную на черном фоне, реальной оптической единицей в поле; если нет фона *другого* цвета или яркости, мы не увидим линию. Именно отличие стимуляции фона от стимуляции внутри линии делает ее самостоятельной фигурой. То же самое касается единиц более высокого порядка: не независимые и абсолютные свойства одной линии, затем другой и т. д. объединяют их в одну группу, а то, что они *одинаковы, отличны от фона и находятся так близко друг к другу*. Все это показывает нам решающую роль отношений, связей, а не частных свойств. И нельзя не учитывать роль фона. Ведь если есть определенная группа, скажем, две параллельные прямые на расстоянии полсантиметра друг от друга, то достаточно нарисовать еще две прямые снаружи группы так, чтобы они были ближе к первым прямым, чем те друг к другу, чтобы первая группа разрушилась и образовались две новые группы из пря-

мых, которые сейчас находятся ближе друг к другу (рис. 8).

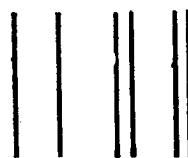


Рис. 8

Наша первая группа существует, только пока вокруг нее есть однородный белый фон. После изменений окружающего фона то, что было внутренней частью группы, стало границей между двумя группами. Отсюда можно сделать еще один вывод: характер “фигуры” и “фона” настолько зависит от образования единиц в поле, что эти единицы не могут быть выведены из суммы отдельных элементов; не могут быть выведены из них и “фигура” и “фон”. Еще одно подтверждающее этот вывод наблюдение: если мы изобразим две параллельные прямые, которые образуют группу, затем еще такую же пару, но значительно более удаленную от первой пары прямых, чем они друг от друга, и т. д., увеличивая ряд, то все группы в этом ряду станут более устойчивыми, чем каждая из них, взятая сама по себе. Даже таким образом проявляется влияние частей поля друг на друга.

Тот факт, что не изолированные свойства данных стимулов, а отношение этих свойств между собой (все множество стимулов) определяет образование единиц, заставляет предположить, что динамические взаимодействия в поле определяют, что становится единицей, что исключается из нее, что выступает как “фигура”, что — как “фон”. Сейчас немногие психологи отрицают, что, выделяя в зрительном поле эти реальные единицы, мы должны описать адекватную последовательность процессов той части мозга, которая соответствует нашему полю зрения. Единицы, их более мелкие составные части, границы, различия “фигуры” и “фона” описываются как психологические реальности <...>. Отметим, что относительное расстояние и соотношение качественных свойств являются основным фактором, определяющим образование единиц, мы вспоминаем, что, должно быть, такие же факторы определяли бы

это, если бы эти эффекты были результатом динамических взаимодействий в физиологическом поле. Большинство физических и химических процессов, о которых мы знаем, зависит от взаимоотношения свойств и расстояния между материалом в пространстве. Различие стимуляции вызывает точки, линии, области различных химических реакций в определенном пространственном соотношении на сетчатке. Если есть поперечные связи между продольными проводящими системами зрительного нерва где-нибудь в зрительной области нервной системы, то динамические взаимодействия должны зависеть от качественных, пространственных и других соотношений качественных процессов, которые в данное время существуют в общем зрительном процессе, протекающем в мозгу. Неудивительно, что явления группировки и т. д. зависят от их взаимоотношения.

С существованием реальных единиц и границ в зрительном поле ясно связан факт, что в этом поле есть “*формы*”. Практически невозможно исключить их из нашего обсуждения, потому что эти единицы в зрительном поле всегда имеют формы¹. Вот почему в немецкой терминологии их называют “*Gestalten*”. Реальность форм в зрительном пространстве нельзя объяснить, считая, что зрительное поле состоит из независимых отдельных элементов. Если бы зрительное поле состояло из плотной, возможно, непрерывной мозаики этих элементов, служащих материалом, не было бы никаких зрительных форм. Математически, конечно, они могли быть сгруппированы вместе определенным образом, но это не соответствовало бы той реальности, с которой эти конкретные формы *существуют* с не меньшей достоверностью, чем цвет или яркость. Прежде всего математически мыслимо *любое* сочетание этих элементов, тогда как в восприятии нам даны вполне *определенные* формы при определенных условиях <...>. Если проанализировать те условия, от которых зависят реальные формы, мы обнаружим, что это качественные и пространственные соотношения стимуляции. Естественно, так как эти *единицы*,

теперь хорошо известные, появляются в определенных формах, мы должны были предположить, что они являются функцией этих соотношений. Я помню из собственного опыта, насколько трудно четко различать совокупности стимулов, т. е. геометрическую конфигурацию их, и зрительные формы как реальность. На этой странице, конечно, есть черные точки как части букв, которые, если их рассматривать вместе, образуют такую зрительную форму (рис. 9).



Рис. 9

Видим ли мы эту форму как зрительную реальность?

Конечно, нет, так как много черных точек изображено между ними и вокруг них. Но если бы эти точки были *красными*, все люди, не страдающие цветовой слепотой или слепотой на формы из-за поражения мозга, увидели бы эту группу как форму.

Это справедливо не только для плоских форм, изображенных на листе бумаги, но и для трехмерных вещей вокруг нас. Мне хотелось бы предупредить от заблуждения, что эти проблемы единиц и их форм имеют значение только для эстетики или других подобных вещей высокого уровня, но не связаны с повседневной жизнью. На самом деле на любом объекте, на любом человеке можно продемонстрировать эти принципы зрительного восприятия.

Мы пришли к физиологическому выводу: если в системе имеется динамическое взаимодействие местных процессов, они будут влиять друг на друга и изменять друг друга до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие путем определенного распределения этих процессов. Мы рассматривали зрительное поле в состоянии покоя, т. е. наблюдали психологическую картину в условиях равновесия в соответствующих процессах головного мозга. В физике достаточно примеров того, как процесс, начавшийся в системе при определенных усло-

¹ Я не думаю, что слово “*configuration*” адекватно передает смысл немецкого “*Gestalt*”. Слово “*configuration*” означает, что элементы собраны вместе в определенном порядке, а мы должны избежать этой функционалистской идеи.

виях, смещает равновесие системы в короткое время. Время, за которое достигается равновесие зрительных процессов, видимо, тоже невелико. Если мы предъявляем стимулы внезапно, например, при помощи проекции, мы видим поле, его границы и их формы постоянными, неподвижными.

В состоянии равновесия поле ни в коем случае не является “мертвым”. Взаимные напряжения в фазе образования поля (которые, разумеется, взаимозависимы) не исчезают, когда устанавливается равновесие. Просто они (и соответствующие процессы) имеют такую интенсивность и напряжение, что взаимно уравновешивают друг друга. Местные процессы в состоянии равновесия — это определенное количество энергии, распределенное в поле. Физиологическая теория должна разрешить две различные проблемы, которые относятся к описанным свойствам зрительного поля. Эти свойства, включающие зависимость местного процесса от соотношения стимуляции широко вокруг, включающие далее образование единиц, их форм и т. д., кажутся почти удивительными и часто считаются результатом действия сверхъестественных душевных сил. Первая задача, следовательно, состоит в том, чтобы показать, что подобные свойства вовсе не сверхъестественны в физическом мире. Таким образом, встает более общая задача — продемонстрировать соответствующий тип процессов в точной науке, особенно если можно показать, что в зрительном отделе нервной системы при определенных условиях, вероятно, происходят процессы общего типа. После этого встает другая задача — найти процессы того специфического типа, которые лежат в основе образования зрительного поля. Эта вторая задача, учитывая недостаточность наших физиологических знаний, гораздо труднее. Мы делаем только первые шаги к решению этой проблемы, но одно замечание можно сделать уже сейчас. Вследствие неодинаковой стимуляции в различных участках сетчат-

ки, в различных участках зрительной коры происходят различные химические реакции и, таким образом, появляется различный химический материал в кристаллической и коллоидной формах. Если эти неодинаковые участки находятся в функциональной связи, то, конечно, между ними не может быть равновесия. Когда участки с неодинаковыми свойствами имеют общую границу, в системе есть “свободная энергия”. В этом контуре должен быть основной источник энергии для динамического взаимодействия. То же самое будет в физике или физической химии при соответствующих условиях <...>.

Наше предположение дает физиологический коррелят для формы как зрительной реальности. С позиции независимых элементарных процессов такой коррелят найти нельзя. Эта мозаика не содержит никаких реальных форм или, если хотите, содержит все возможные формы, но ни одной реальной. Очевидно, коррелятом реальной формы может быть только такой процесс, который нельзя разделить на независимые элементы. К тому же равновесие процесса, которое, как мы допускаем, лежит в основе зрительного поля, есть распределение напряжения и процессов в пространстве¹, которые сохраняются как одно целое. Поэтому мы сделали нашей рабочей гипотезой предположение, что во всех случаях это распределение является физиологическим коррелятом пространственных свойств зрения, особенно формы. Так как наша концепция физиологических единиц относительна, то, считая, что любое резкое уменьшение связей динамического взаимодействия в границах определенного участка приводит к тому, что внутренняя область этого участка становится реальной единицей, мы можем без противоречия рассматривать весь зрительный процесс как одно целое в данный момент и утверждать формирование специфических (более близко связанных) единиц с их формами в зависимости от пространственного соотношения стимулов.

¹ Понятие пространства требует специального рассмотрения, поскольку в мозгу оно не может быть измерено в см, см², см³ <...>.

Г. Фолькельт

[ЦЕЛОСТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ]¹

За последние годы мы продолжали в различных направлениях и по отдельным частям проблемы те опыты изучения детского графического выражения простых одноцветных и многоцветных плоских фигур и тел, изложение которых с иллюстрациями нами было дано в 1925 г. на Мюнхенском психологическом конгрессе. Все с новых сторон и все настойчивее обнаруживалось, что маленький ребенок воспроизводит плоские фигуры *целостнее*, чем взрослый, причем на ранних ступенях это воспроизведение сплошь, а на последующих — во многих отношениях *целостнее* того воспроизведения, которое имеет место у взрослого человека. Исключением могут служить разве только те

случаи, когда взрослый в своем изображении стремится к сочетанию известных свойств и способов воздействия вещей в ярко выраженном *экспрессионистическом* направлении. Графическое выражение маленького ребенка действительно в некоторых основных чертах родственно экспрессионизму: как маленький ребенок, так и экспрессионист стремятся не столько к изображению исключительно внешне-оптических *проявлений* вещей, сколько к воспроизведению их *целостной сущности*, а следовательно также и к воспроизведению оборотной стороны или оптически совершенно не воспринимаемых свойств вещи. Сверх того они стремятся дать выражение полному взаимоотножению (“Auseinandersetzung” — выражение Д. Шмарзова) между самой сущностью вещи и ее наблюдателем.

Единственно характерным и показательным для новейшей психологии является то, что она, при описании всех переживаний, значительно сильнее, чем это делалось раньше, выделяет их целостные черты. Она заранее не стремится к описанию первоначально изолированных совокупностей и их отдельных целостных черт и не переходит, под их влиянием, к ярко выраженному, отнюдь не целостному расчленению на так называемые “элементарные содержания” (Elementarinhalt), как это раньше зачастую имело место².

В противовес этому наше теперешнее психологическое исследование много сильнее и в высшей степени сознательно (зачастую опять-таки слишком односторонне!)

¹ Фолькельт Г. Экспериментальная психология дошкольника. М.; Л.: Гос. изд-во, 1930. С. 113—119.

² Необходимость анализировать как раньше, так и теперь сохраняет свое значение и до тех пор сохранит его, пока будет существовать психология. Однако существуют два направления в анализе: одно стремится в сторону возможно более целостных черт, другое — в сторону возможно менее целостных, т. е. таких моментов, которые по возможности не могут быть подвергнуты дальнейшему анализу. Прежде первое из этих двух направлений сильно пренебрегалось за счет второго, т. е. необходимость анализировать понималась весьма односторонне и сужалась до *элементарного анализа* (Elementaranalyse), иначе говоря, до изолирования так называемых элементов. При этом обычно совершенно упускался из виду целостный анализ, т. е. тот анализ, который стремится к описательному выделению целостных свойств. Это изменение в выборе предпочитаемого направления, по которому должно идти расчленение, иногда неправильно понимается как отказ так называемой целостной психологии от анализа вообще. На самом же деле эта психология, во-первых, при описании целостных качеств всегда до известной степени аналитична, так как все описания, даже наиболее направленные на целостное, всегда учитывают, выделяют и обозначают направление некоторых определенных черт этих совокупностей, подвергающихся описанию; во-вторых, она безусловно признает виды анализа, направленные на нецелостные моменты, *поскольку они верны*, и безусловно не сможет длительно игнорировать такого рода расчленение. Правда, психология, направленная

направлено в сторону целостного изучения. Это новое направление в исследовании¹ сыграло важную и эффективную роль для психологии как взрослого, так и ребенка. Однако настойчивее и убедительнее, чем в отношении сознания *взрослого*, психические целые в их своеобразии и доминирующем значении находят свое доказательство в известных проявлениях психической жизни *ребенка*. По крайней мере, для человека, в данном деле *стоящего несколько в стороне*, эта большая убедительность на *детском* материале несомненна.

К самым веским доказательствам данного факта я отношу выражение в рисунке маленьких детей известных обобщающих примитивных целостностей, а следовательно и целостных качеств, на своеобразное строение которых уже указывали многочисленные другие примеры, с которыми мы имели дело в рамках данного сообщения. Что же касается выражения простых изображений двух или трех измерений на рисунках маленьких детей, то в этом отношении я должен отослать к психологическим описаниям и иллюстрациям, опубликованным раньше².

Из них, например, видно, что весьма часто цилиндр изображается не как сумма или соединение кожуха и поверхностей срезов, а как сверху, снизу и кругом своеобразно округленное целое, в виде одного единого в высшей степени целостного *овала*. Или, например, когда ребенок изображает куб в виде квадрата, а это зачастую имеет место, квадрат этот часто означает не одну отдельно взятую поверхность всего куба, как обычно прежде предполагалось, а сжатое выражение многосторонней или даже всесторонней квадратности куба.

Дальнейшей основной чертой ранних детских рисунков, сделанных по простым планиметрическим или стереометрическим образцам, является следующее: подлежащие передаче формы двух или трех измерений находят свое выражение *не в соответствии с объектом* (и притом этого соответствия здесь нет ни в духе понимания взрослых, ни в духе понимания детей), а главным образом в соответствии с тем *воздействием*, которое они оказывают на наблюдателя. Это значит, что предмет не изображается в его изолированном вещественном бытии. Ребенок вообще не передает нечто ему противостоящее, отделенное от него той пропастью, которая существует между нами, взрослыми, и *“предметами”*, и которая действительно делает эти предметы чем-то *“противопоставленным”* по отношению к нам. Напротив, ребенок часто выражает в рисунке преимущественно способ воздействия предмета на него самого, так как для него предмет многообразно сплетен с его наблюдателем и образует с ним тесный комплекс. Здесь мы видим многочисленные, весьма своеобразные целостности, в ярко выраженном виде встречающиеся лишь в детских переживаниях. Эти целостности охватывают в переживании ребенка, с одной стороны, его психическо-телесную примитивность, а с другой стороны, самую вещь. В них часто решающее господство над целым принадлежит *взаимодействующим связям* между обоими полюсами, между ребенком и вещью. Это господство заходит *так далеко, что нередко вещественность едва проглядывает из-под действительности отношения ребенка к вещи*³. Наибольшее же воздей-

преимущественно на целостности, учит еще и тому, что *самая суть анализа должна быть основательно* передумана (der Sinn aller Analyse gründlich umzudenken ist): ни то направление в анализе, которого придерживались раньше, ни то — за которое стоят теперь, никогда не растворяет данное психическое целое в его *частях* или даже в его *кусках*, напротив оба, и даже тот элементарный анализ, который отчетливо стремится к возможно более неразложимым конечным формам, не в состоянии добиться ничего другого, кроме *выделения* известных черт или моментов, присущих первоначальным психическим совокупностям. И в этом отношении *примат целого неувязим*.

¹ Сравни преимущественно труды Ф. Крюгера, особенно Über psychische Ganzheit в журнале “Neue Psychol. Stud.”, В. 1, 1926. К этому совсем краткое резюме: H. Volkelt. Über die Forschungsrichtung des Psychologischen Instituts der Universität Leipzig, Erfurt, K. Stenger, 1925.

² См. Volkelt H. Primitive Komplexqualitäten in Kinderzeichnungen. Bericht üb. d. VIII. Leipziger Kongress d. exper. Psychol., Jena, 1924, а также Успехи детской экспериментальной психологии (первая часть настоящего перевода).

³ Некоторые формулировки на этих страницах явились в результате совместной работы с Л. Гоффман.

ствие впечатления от оптического объекта состоит в первую очередь отнюдь не в оптически воспринятых качествах данных предметов, а преимущественно в таких особенностях, которые играют главную роль при *тактильно-моторном* взаимоотношении (Auseinandersetzung) ребенка с объектами. Таким образом наибольшее влияние должно быть отнесено за счет качеств предмета, могущих быть воспринятыми тактильно-моторным путем, и за счет тактильно-моторных воздействий самого предмета на ребенка, особенно же за счет реактивных и активных ответных проявлений самого ребенка. Все эти перекрестные воздействия значительно и во многих отношениях превосходят оптическое, они даже часто сильно отодвигают оптическое на задний план в пользу других, преимущественно тактильно-моторных сторон переживания, отличающихся, как правило, очень сильно акцентуированной *эмоциональной аффективной и волютивной окраской*.

Таким образом становится ясным, что детское графическое изображение этих переживаний, имеющих своим основным моментом, как правило, неоптически-предметное, отнюдь не заключается в непосредственной передаче или в копии изолированно-оптического. Графически выражая эти свои переживания, ребенок часто стремится уловить каким бы то ни было образом преимущественно неоптическое. Для нас, взрослых, в общем преобладающее значение имеют оптические свойства и задачи оптического изображения при графической передаче предмета <...>. Однако, основываясь на этом, мы отнюдь не должны отыскивать преимущественно оптического осознания предмета в графическом изображении его ребенком. Напротив того, способы *выражения*, имеющие место в детской графике, носят значительно более *опосредствованный* характер. Они являются посредником между нами и тем чрезвычайно многим и разнообразным, что не может быть передано *непосредственно* оптическим путем уже по одному тому, что оно само содержит очень многое, часто почти исключительно неоптическое. До сих пор эту опосредствованную функцию выражения в детском рисунке мы обозначали просто словом “*символическая*”. Скоро

мы однако убедимся и притом яснее, чем это было уже намечено в последних изложениях, что термин “символический” крайне недостаточен для выражения описанного своеобразия графического выражения в раннем детстве.

Наилучшими примерами примитивного выражения такого взаимоотношения ребенка и объекта может служить *изображение углов*, например, у ромба, треугольника или у куба, или передача острия конуса. Заостренность всех этих форм передается на ранних ступенях развития повсюду в виде своеобразного выражения динамики углов и заострений и того, главным образом, тактильно-моторного взаимного противопоставления, которое существует между ними и ребенком, а вовсе не в виде копирующего срисовывания соответствующих линий или поверхностей, образующих данный угол или заострение. Как графическое выражение острия мы здесь встречаем один или даже несколько лучей, острые наросты, вздутые, колючие выступы или, очень часто, одну основательную точку, помещенную в направлении действия острия <...>.

Во всех этих случаях находит свое выражение не только то фигурное или пространственное, что присуще углу или острию, но и взаимодействие между углом или острием, с одной стороны, и рукой ребенка, с другой. Часто даже подчеркивается почти исключительно это взаимодействие, причем перевес находится на стороне то одних, то других черт соответствующего переживания, объединенного в один тесный комплекс.

Или, например, фигура, состоящая из квадратной решетки, охотно передается в виде конгломерата маленьких квадратов или кружков, которые должны выражать наличие дырок в фигуре и даже самый момент проникания через эти дырки <...>.

Или при передаче круглых предметов в детском решении обычно участвует то, что эти предметы могут кататься, и что есть возможность их постижения кругом со всех сторон <...>.

Короче говоря, всякий раз, тем или иным способом, привлекается для участия в графическом изображении то жизненное, деятельное, нередко многостороннее *взаимопротивопоставление*, которое имеет место между ребенком и объектом

и нередко играет почти исключительную, решающую роль в этом деле.

Опыты, недавно произведенные нами над учениками *деревенской школы для взрослых (Fortbildungsschüler)* и над несколькими “простыми людьми” более старшего возраста, жителями захолустного провинциального городка, показали нам, насколько глубоко коренятся в человеческой натуре вышеуказанные примитивности, характеризующие стиль ребенка в период раннего детства. Этим испытуемым мы предлагали для рисования те же объекты, которые до того были даны и детям, и, как правило, их рисунки отличались от работ маленьких детей большой склонностью к перспективе. Однако наряду с этим, нередко в виде странного смещения стилей, повсюду выступали весьма примитивные черты, уже знакомые нам из работ маленьких детей. Например, мы находим в этих рисунках вышеуказанное стремление передавать вещи не с одной *единой точки зрения*, создающейся при их рассмотрении с определенного места, а так, чтобы дать выражение *самой сущности* вещей. Так в некоторых рисунках, изображающих *куб*,

мы находим характерное соединение различной окраски или разнообразных отметок, расположенных на различных его сторонах, т. е. таких основных свойств, которые, будучи присущи различным частям куба, не могут быть восприняты при рассмотрении вещи с одной стороны. Или даже мы встречаемся с соединением в одно комплексное, относительно гештальтированное примитивное целое таких свойств объекта, которые сами по себе расположены друг рядом с другом в совершенно расчлененном виде. Так, например, к нашему удивлению мы здесь снова натолкнулись на слияние круглости и удлиненности *цилиндра* в один характерный *овал*, т. е. на то, что мы так часто наблюдали у детей дошкольного возраста. Совершенно очевидно, что преподавание рисования в народной школе зачастую прививает лишь побег, которые очень быстро снова отмирают.

Своеобразие этого естественного примитивного стиля выступает, как и следовало ожидать, еще с большей силой, когда *усложняются* условия восприятия подлежащих передаче объектов, например, *сокращается время экспозиции*.

К.Роджерс

ПОЛНОЦЕННО ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК¹

В основном мои взгляды на значение понятия “хорошая жизнь” основаны на опыте работы с людьми в очень близких, интимных отношениях, называемых психотерапией. Таким образом, мои взгляды основаны на опыте или чувствах, в противоположность, например, научному или философскому основанию. Наблюдая за людьми с расстройствами и проблемами, жаждущими добиться хорошей жизни, я составил себе представление о том, что они под этим подразумевают.

Мне следовало бы с самого начала пояснить, что мой опыт получен благодаря выгодной позиции определенного направления в психотерапии, которое развивалось в течение многих лет. Вполне возможно, что все виды психотерапии в чем-то основном схожи между собой, но, поскольку сейчас я уверен в этом менее, чем раньше, я хотел бы, чтобы вам было ясно, что мой психотерапевтический опыт развивался в русле направления, которое мне кажется наиболее эффективным. Это — психотерапия, “центрированная на клиенте”.

Разрешите мне попытаться кратко описать, как выглядела бы эта психотерапия, если бы она была оптимальной во всех отношениях. Я чувствую, что больше всего узнал о хорошей жизни из опыта психотерапии, в процессе которой происходило много изменений. Если бы психотерапия была во всех отношениях оптимальной (как

интенсивная, так и экстенсивная), терапевт был бы способен войти в интенсивные субъективные личностные отношения с клиентом, относясь к нему не как ученый к объекту изучения, не как врач к пациенту, а как человек к человеку. Тогда терапевт почувствовал бы, что его клиент — безусловно, человек с различными достоинствами, обладающий высокой ценностью независимо от его положения, поведения или чувств. Это также значило бы, что терапевт искренен, не прячется за фасадом защит и встречает клиента, выказывая чувства, которые он испытывает на органическом уровне. Это значило бы, что терапевт может разрешить себе понять клиента; что никакие внутренние барьеры не мешают ему чувствовать то, что чувствует клиент в каждый момент их отношений; и что он может выразить клиенту какую-то часть своего эмпатического понимания. Это значит, что терапевту было бы удобно полностью войти в эти отношения, не зная когнитивно, куда они ведут; и что он доволен, что создал атмосферу, которая дает возможность клиенту с наибольшей свободой стать самим собой.

Для клиента оптимальная психотерапия значила бы исследование все более незнакомых, странных и опасных чувств в себе; исследование, которое только потому и возможно, что клиент начинает постепенно понимать, что его принимают без всяких условий. Поэтому он знакомится с такими элементами своего опыта, осознание которых в прошлом отрицалось, так как они были слишком угрожающими и разрушающими структуру его “Я”. В этих отношениях он обнаруживает, что переживает во всей полноте, до конца эти чувства так, что на данный момент он и *есть* его страх или гнев, нежность или сила. И когда он живет этими различными по интенсивности и разнообразными чувствами, он обнаруживает, что он чувствует свое “Я”, что он и *есть* все эти чувства. Он видит, что его поведение конструктивно изменяется в соответствии с его новым прочувствованным “Я”. Он подходит к осознанию, что ему больше не нужно бояться того, что может содержаться в опыте, и он может свободно приветствовать его как часть изменяющегося и развивающегося “Я”.

¹ Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: Прогресс, 1994. С. 234—247.

Это маленький набросок того, к чему близко подходит центрированная на клиенте психотерапия, если она оптимальная. Я представляю ее здесь просто в качестве контекста, в котором сформировались мои представления о хорошей жизни.

Наблюдение с отрицательным выводом

Когда я старался жить, понимая опыт своих клиентов, я постепенно пришел к одному отрицательному выводу о хорошей жизни. Мне кажется, что хорошая жизнь — это не застывшее состояние. По моему мнению, она не является состоянием добродетели, довольства, нирваны или счастья. Это — не условия, к которым человек приспособляется, в которых он реализуется или актуализируется. Используя психологические термины, можно сказать, что это не состояние уменьшения влечения, уменьшения напряженности и не гомеостаз¹.

Мне кажется, что при использовании этих терминов подразумевалось, что когда достигнуто одно или несколько из этих состояний, то и цель жизни достигнута. Конечно, для многих людей счастье или приспособленность — синонимы хорошей жизни. Даже ученые в области общественных наук часто говорили, что цель процесса жизни — уменьшение напряженности, достижение гомеостаза, или равновесия.

Поэтому я с удивлением и с некоторым беспокойством понял, что мой личный опыт не подтверждает ни одно из этих положений. Если я сосредоточусь на опыте некоторых индивидов, достигших наивысшей степени продвижения во время психотерапевтических отношений и в последующие годы, кажется, показавших действительный прогресс на пути к хорошей жизни, то, по-моему, их состояние нельзя точно описать ни одним из вышеприведенных терминов, относящихся к статичности существования. Я думаю, они сочли бы себя оскорбленными, если бы их захотели описать таким словом, как “приспособленные”; и они считали бы неправильным описывать себя как “счастливых”, “довольных” или даже “актуализующихся”. Хорошо зная их, я посчитал бы невер-

ным сказать, что у них уменьшена напряженность побуждений или что они находятся в состоянии гомеостаза. Поэтому мне приходится спрашивать себя, можно ли обобщить их случаи, есть ли какое-нибудь определение хорошей жизни, соответствующее жизненным фактам, которые я наблюдал. Я считаю, что дать ответ совсем не просто, и мои дальнейшие утверждения весьма гипотетичны.

Наблюдение с положительным выводом

Если попытаться вкратце изложить описание этого понятия, я полагаю, это сведется примерно к следующему:

Хорошая жизнь — это *процесс*, а не состояние бытия.

Это — направление, а не конечный пункт. Это направление выбрано всем организмом при психологической свободе двигаться *куда угодно*.

Это организмически выбранное направление имеет определенные общие качества, проявляющиеся у большого числа разных и единственных в своем роде людей.

Таким образом, я могу объединить эти утверждения в определении, которое по крайней мере может служить основой для рассмотрения и обсуждения. Хорошая жизнь с точки зрения моего опыта — это процесс движения по пути, выбранному человеческим организмом, когда он внутренне свободен развиваться в любом направлении, причем качества этого направления имеют определенную всеобщность.

Характеристики процесса

Разрешите мне определить характерные качества этого процесса движения, качества, возникающие в психотерапии у каждого клиента.

Возрастающая открытость опыту

Во-первых, этот процесс связан с возрастающей открытостью опыту. Эта фраза приобретает для меня все больший смысл. Открытость диаметрально противоположна защите. Защитная реакция, описанная

¹ Гомеостаз — подвижное равновесное состояние какой-либо системы, сохраняемое путем ее противодействия нарушающим это равновесие внешним или внутренним факторам.

мною в прошлом, — это ответ организма на опыт, который воспринимается или будет воспринят как угрожающий, как не соответствующий существующему у индивида представлению о самом себе или о себе в отношениях с миром. Этот угрожающий опыт на время перестает быть таковым, так как он или искажается при осознании, или отрицается, или не допускается в сознание. Можно сказать, что я на самом деле не могу правильно понять все свои переживания, чувства и реакции, которые существенно расходятся с моими представлениями о себе. Во время психотерапии клиент все время обнаруживает, что он переживает такие чувства и отношения, какие до этого не был способен осознать, которыми не был способен “владеть” как частью своего “Я”.

Однако, если бы человек мог быть полностью открыт своему опыту, каждый стимул, идущий от организма или от внешнего мира, передавался бы свободно через нервную систему, без малейшего искажения каким-либо защитным механизмом. Не было бы необходимости в механизме “подсознания”, с помощью которого организм заранее бывает предупрежден о любом опыте, угрожающем личности. Наоборот, независимо от того, воздействовал ли стимул окружающего мира на чувствительные нервы своим очертанием, формой, цветом или звуком, или это след памяти прошлого опыта, или — висцеральное ощущение страха, удовольствия или отвращения, — человек будет “жить” этим опытом, который будет полностью доступен осознанию.

Таким образом, оказывается, что одним из аспектов процесса, который я называю “хорошая жизнь”, является движение от полюса защитных реакций к полюсу открытости своему опыту. Человек все в большей мере становится способным слышать себя, переживать то, что в нем происходит. Он более открыт своим чувствам страха, упадка духа, боли. Он также более открыт своим чувствам смелости, нежности и благоговения. Он свободно может жить своими субъективными чувствами так, как они в нем существуют, и он также свободен осознавать эти чувства. Он способен в большей мере жить опытом своего организма, а не закрывать его от осознания.

Возрастает стремление жить настоящим

Второе качество процесса, который мне представляется как хорошая жизнь, связано со все большим стремлением жить полнокровной жизнью в каждый ее момент. Эту мысль легко истолковать неправильно; она пока еще неясна мне самому. Однако разрешите мне попытаться объяснить, что я имею в виду.

Я думаю, если бы человек был полностью открыт новому опыту и у него не было бы защитных реакций, каждый момент его жизни был бы новым. Сложное сочетание внутренних и внешних стимулов, существующее именно в этот момент, никогда не существовало ранее в такой форме. Следовательно, этот человек подумал бы: “То, каким я буду в следующий момент, и то, что я сделаю, вырастает из этого момента и не может быть предсказано заранее ни мной, ни другими”. Мы нередко встречали клиентов, выражающих именно такие чувства.

Чтобы выразить текучесть, присущую этой жизни, можно сказать, что скорее “Я” и личность возникают из опыта, чем опыт толкуется и искажается, чтобы соответствовать представленной заранее структуре “Я”. Это значит, что вы скорее участник и наблюдатель протекающих процессов организмического опыта, чем тот, кто осуществляет над ними контроль,

Жить настоящим моментом означает отсутствие неподвижности, строгой организации, наложения структуры на опыт. Вместо этого имеется максимум адаптации, обнаружение структуры в опыте, текущая, изменяющаяся организация “Я” и личности.

Именно это стремление жить настоящим моментом, мне кажется, явно проявляется в людях, вовлеченных в процесс хорошей жизни. Можно почти с уверенностью сказать, что это — ее наиболее существенное качество. Оно связано с обнаружением структуры опыта в процессе жизни в этом опыте. С другой стороны, большинство из нас почти всегда привносят заранее сформированную структуру и оценку в наш опыт и, не замечая этого, искажают опыт и втискивают его в нужные рамки, чтобы он соответствовал предвзятым идеям. При этом они раздражаются, что из-за текуче-

сти опыта прилаживание его к нашим заботливо сконструированным рамкам становится совершенно неуправляемым. Когда я вижу, что клиенты приближаются к хорошей, зрелой жизни, для меня одно из ее качеств состоит в том, что их ум открыт тому, что происходит *сейчас*, и в этом настоящем процессе они обнаруживают любую структуру, которая, оказывается, ему присуща.

Возрастающее доверие к своему организму

Еще одна характеристика человека, живущего в процессе хорошей жизни, — все увеличивающееся доверие к своему организму как средству достижения наилучшего поведения в каждой ситуации в настоящем.

Решая, что предпринять в какой-нибудь ситуации, многие люди опираются на принципы, на правила поведения, установленные какой-то группой или учреждением, на суждения других (начиная с жены и друзей и кончая Эмилией Поуст¹) или на то, как они вели себя в подобной ситуации в прошлом. Однако, когда я наблюдаю за клиентами, чей жизненный опыт так многому научил меня, я обнаруживаю, что они могут больше доверять своей цельной организмической реакции на новые ситуации. Это происходит потому, что, будучи открыты своему опыту, они все больше обнаруживают, что, если делают то, что “чувствуется правильным”, это оказывается надежным ориентиром поведения, приносящего им истинное удовлетворение.

Когда я старался понять причину этого, то обнаружил, что рассуждаю следующим образом. Человек, полностью открытый своему опыту, имел бы доступ ко всем факторам, имеющимся в его распоряжении в данной ситуации: социальным требованиям, его собственным сложным и, вероятно, противоречивым потребностям: воспоминаниям о подобных ситуациях в прошлом, восприятию неповторимых качеств данной ситуации и т. д. На основе всего этого он и строил бы свое поведение. Конечно, эти сведения были бы очень сложными. Но он мог бы разрешить своему це-

лостному организму с участием сознания рассмотреть каждый стимул, потребность и требование, его относительную напряженность и важность. Из этого сложного взвешивания и уравнивания он мог бы вывести те действия, которые в наибольшей степени удовлетворяли бы все его нужды в данной ситуации. Такого человека можно по аналогии сравнить с гигантской вычислительной электронной машиной. Поскольку он открыт своему опыту, в машину вводятся все данные чувственных впечатлений, памяти, предшествующего общения, состояния висцеральных и внутренних органов. Машина вбирает в себя все эти многочисленные данные о напряжениях и силах и быстро вычисляет, как действовать, чтобы в результате был получен наиболее экономичный вектор удовлетворения потребностей в этой конкретной ситуации. Это — поведение нашего гипотетического человека.

У большинства из нас есть недостатки, которые приводят к ошибкам в этом процессе. Они состоят во включении информации, которая не принадлежит данной конкретной ситуации, или в исключении информации, которая ей *принадлежит*. Возникают ошибочные варианты поведения, когда в вычисления вводятся воспоминания и предшествующие знания, как будто они и есть *эта* реальность, а не просто воспоминания и знания. Ошибка может произойти также и тогда, когда в сознание не допускаются определенные пугающие переживания, следовательно, они не входят в вычисления или вводятся в машину в искаженном виде. Но наш гипотетический человек считал бы свой организм вполне достойным доверия, потому что все доступные данные были бы использованы и представлены скорее в правильном, нежели в искаженном виде. Отсюда его поведение, возможно, было бы более близким к тому, чтобы удовлетворить его нужды увеличить возможности, установить связи с другими и т. д.

В этом взвешивании, уравнивании и вычислениях его организм ни в коей мере не был бы непогрешимым. Исходя из доступных данных, он всегда давал бы наилучший из возможных ответов, но иногда

¹ Эмилия Поуст — в то время известный в США автор книги о хороших манерах в хорошем обществе. — *Прим. перев.*

эти данные отсутствовали бы. Однако вследствие открытости опыту любые ошибки, любое неудовлетворительное поведение были бы вскоре исправлены. Вычисления находились бы всегда в процессе корректировки, потому что они постоянно проверялись бы в поведении.

Возможно, вам не понравится моя аналогия с ЭВМ. Разрешите мне опять обратиться к опыту тех клиентов, которых я знал. Когда они становятся более открытыми своему опыту, то обнаруживают, что могут больше доверять своим реакциям. Если они чувствуют, что хотят выразить свой гнев, то делают это и обнаруживают, что это вовсе не так уж страшно, потому что они в той же мере осознают и другие свои желания — выразить привязанность, связь и отношение к другим людям. Они удивлены, что *могут* интуитивно решить, как вести себя в сложных и беспокойных человеческих отношениях. И только после этого они осознают, как надежны были их внутренние реакции, приведшие к правильному поведению.

Процесс более полноценного функционирования

Я хотел бы представить более последовательную картину хорошей жизни, воедино соединив три нити, описывающие этот процесс. Получается, что психически свободный человек все более совершенно выполняет свое назначение. Он становится все более способным к полнокровной жизни в каждом из всех своих чувств и реакций. Он все более использует все свои органические механизмы, чтобы как можно правильнее чувствовать конкретную ситуацию внутри и вне его. Он использует всю находящуюся в его сознании информацию, какой только может снабдить его нервная система, понимая при этом, что весь его цельный организм может быть — и часто является — мудрее, чем его сознание. Он в большей мере способен дать возможность всему своему свободному, сложно функционирующему организму выбрать из множества возможных именно тот вариант поведения, который действительно будет более удовлетворять его в настоящий момент. Он больше способен поверить своему организму в его функционировании не потому, что он безошибочен, а потому, что

он может быть полностью открытым для последствий его действий и сможет исправить их, если они его не удовлетворяют.

Он будет более способен переживать все свои чувства, менее бояться любого из них, он сможет сам просеивать факты, будучи более открытым сведениям из всех источников. Он полностью вовлечен в процесс бытия и “становления самим собой” и поэтому обнаруживает, что действительно и реально социализируется. Он более полно живет настоящим моментом и узнает, что это самый правильный способ существования. Он становится более полно функционирующим организмом и более совершенно функционирующим человеком, так как полностью осознает себя, и это осознание пронизывает его переживания с начала и до конца.

Некоторые вовлеченные вопросы

Любое представление о том, что составляет хорошую жизнь, имеет отношение ко многим вопросам. Представленная здесь моя точка зрения не является исключением. Я надеюсь, что скрытые в ней следствия послужат пищей для размышлений. Есть два или три вопроса, которые я хотел бы обсудить.

Новая перспектива соотношения свободы и необходимости

Связь с первым скрытым следствием может не сразу бросаться в глаза. Оно касается старой проблемы “свободы воли”. Разрешите мне попытаться показать, как в новом свете мне представляется эта проблема.

В течение некоторого времени меня приводил в недоумение существующий в психотерапии парадокс между свободой и детерминизмом. Одними из наиболее действенных субъективных переживаний клиента в психотерапевтических отношениях являются те, в которых он чувствует власть открытого выбора. Он *свободен* — стать самим собой или спрятаться за фасадом, двигаться вперед или назад, вести себя как пагубный разрушитель себя и других или делать себя и других более сильными — в буквальном смысле слова он свободен жить или умереть, в обоих — психологическом

и физиологическом — смыслах этих слов. Однако, как только я вхожу в область психотерапии с объективными исследовательскими методами, я, как и многие другие ученые, связываю себя полным детерминизмом. С этой точки зрения каждое чувство и действие клиента детерминировано тем, что ему предшествовало. Такой вещи, как свобода, не может быть. Эта дилемма, которую я стараюсь описать, существует и в других областях — просто я ее обозначил более четко, и от этого она не становится менее неразрешимой.

Однако эту дилемму можно увидеть в новой перспективе, если рассмотреть ее в рамках данного мной определения полноценно функционирующего человека. Можно сказать, что в наиболее благоприятных условиях психотерапии человек по праву переживает наиболее полную и абсолютную свободу. Он желает или выбирает такое направление действий, которое является самым экономным вектором по отношению ко всем внутренним и внешним стимулам, потому что это именно то поведение, которое будет наиболее глубоко его удовлетворять. Но это то же самое направление действий, про которое можно сказать, что с другой, удобной точки зрения оно определяется всеми факторами наличной ситуации. Давайте противопоставим это картине действий человека с защитными реакциями. Он хочет или выбирает определенное направление действий, но обнаруживает, что *не может* вести себя согласно своему выбору. Он детерминирован факторами конкретной ситуации, но эти факторы включают его защитные реакции, его отрицание или искажение значимых данных. Поэтому он уверен, что его поведение будет не полностью удовлетворять его. Его поведение детерминировано, но он не свободен сделать эффективный выбор. С другой стороны, полноценно функционирующий человек не только переживает, но и использует абсолютную свободу, когда спонтанно, свободно и добровольно выбирает и желает то, что абсолютно детерминировано.

Я не настолько наивен, чтобы предположить, что это полностью решает проблему субъективного и объективного, свободы и необходимости. Тем не менее это имеет для меня значение, потому что чем больше

человек живет хорошей жизнью, тем больше он чувствует свободу выбора и тем больше его выборы эффективно воплощаются в его поведении.

Творчество как элемент хорошей жизни

Мне кажется, совершенно ясно, что человек, вовлеченный в направляющий процесс, который я назвал “хорошей жизнью”, — это творческий человек. С его восприимчивой открытостью миру, с его верой в свои способности формировать новые отношения с окружающими он будет таким человеком, у которого появятся продукты творчества и творческая жизнь. Он не обязательно будет “приспособлен” к своей культуре, но почти обязательно не будет конформистом. Но в любое время и в любой культуре он будет жить созидая, в гармонии со своей культурой, которая необходима для сбалансированного удовлетворения его нужд. Иногда, в некоторых ситуациях, он мог бы быть очень несчастным, но все равно продолжал бы двигаться к тому, чтобы стать самим собой, и вести себя так, чтобы максимально удовлетворить свои самые глубокие потребности.

Я думаю, что ученые, изучающие эволюцию, могли бы сказать про такого человека, что он с большей вероятностью адаптировался бы и выжил при изменении окружающих условий. Он смог бы хорошо и творчески приспособиться как к новым, так и к существующим условиям. Он представлял бы собой подходящий авангард человеческой эволюции.

Основополагающее доверие к человеческой природе

В дальнейшем станет ясно, что другой вывод, имеющий отношение к представленной мной точке зрения, заключается в том, что в основном природа свободно функционирующего человека созидательна и достойна доверия. Для меня это неизбежное заключение из моего двадцатипятилетнего опыта психотерапии. Если мы способны освободить индивида от защитных реакций, открыть его восприятие как для широкого круга своих собственных нужд, так и для требований окружения и общества, можно верить, что его последующие

действия будут положительными, созидательными, продвигающими его вперед. Нет необходимости говорить, кто будет его социализировать, так как одна из его собственных очень глубоких потребностей — это потребность в отношениях с другими, в общении. По мере того как он будет все более становиться самим собой, он будет в большей мере социализирован — в соответствии с реальностью. Нет необходимости говорить о том, кто должен сдерживать его агрессивные импульсы, так как по мере его открытости всем своим импульсам его потребности в принятии и отдаче любви будут такими же сильными, как и его импульс ударить или схватить для себя. Он будет агрессивен в ситуациях, где на самом деле должна быть использована агрессия, но у него не будет неудержимо растущей потребности в агрессии. Если он движется к открытости всему своему опыту, его поведение в целом в этой и других сферах будет более реалистичным и сбалансированным, подходящим для выживания и дальнейшего развития высокосоциализированного животного.

Я мало разделяю почти преобладающее представление о том, что человек в основе своей иррационален и, если не контролировать его импульсы, он придет к разрушению себя и других. Поведение человека до утонченности рационально, когда он строго намеченным сложным путем движется к целям, которых стремится достичь его организм. Трагедия в том, что наши защитные реакции не дают нам возможность осознать эту рациональность, так что сознательно мы движемся в одном направлении, в то время как организмически — в другом. Но у нашего человека в процессе хорошей жизни число таких барьеров уменьшается, и он все в большей степени участвует в рациональных действиях своего организма. Единственный необходимый контроль над импульсами, существующий у такого человека, — это естественное внутреннее уравновешивание одной потребности другою и обнаружение вариантов поведения, направленных на наиболее полное удовлетворение всех нужд. Очень уменьшился бы опыт чрезвычайного удовлетворения одной потребности (в агрессии, сексе и т. д.) за счет удовлетворения других нужд (в товарищеских отношениях, в не-

жных отношениях и т. д.), который в большей мере присущ человеку с защитными реакциями. Человек участвовал бы в очень сложной деятельности организма по саморегуляции — его психическом и физиологическом контроле — таким образом, чтобы жить во все возрастающей гармонии с собой и другими.

Более полнокровная жизнь

Последнее, о чем бы я хотел упомянуть, — это то, что процесс хорошей жизни связан с более широким диапазоном жизни, с ее большей яркостью по сравнению с тем “суженным” существованием, которое ведет большинство из нас. Быть частью этого процесса — значит быть вовлеченным в часто пугающие или удовлетворяющие нас переживания более восприимчивой жизни, имеющей более широкий диапазон и большее разнообразие. Мне кажется, что клиенты, которые значительно продвинулись в психотерапии, более тонко чувствуют боль, но у них также и более яркое чувство экстаза; они более ясно чувствуют свой гнев, но то же можно сказать и о любви; свой страх они ощущают более глубоко, но то же происходит и с мужеством. И причина того, что они таким образом могут жить более полноценно, с большей амплитудой чувств, заключается в том, что они в глубине уверены в самих себе как надежных орудиях при встрече с жизнью.

Я думаю, вам станет понятно, почему такие выражения, как “счастливый”, “довольный”, “блаженство”, “доставляющий удовольствие”, не кажутся мне полностью подходящими для описания процесса, который я назвал “хорошей жизнью”, хотя человек в процессе хорошей жизни в определенное время и испытывает подобные чувства. Более подходящими являются такие прилагательные, как “обогащающий”, “захватывающий”, “вознаграждающий”, “бросающий вызов”, “значимый”. Я убежден, что процесс хорошей жизни не для малодушных. Он связан с расширением и ростом своих возможностей. Чтобы полностью опуститься в поток жизни, требуется мужество. Но более всего в человеке захватывает то, что, будучи свободным, он выбирает в качестве хорошей жизни именно процесс становления.

Р.Л. Солсо

[ВВЕДЕНИЕ В КОГНИТИВНУЮ ПСИХОЛОГИЮ]¹

Когнитивная психология изучает то, как люди получают информацию о мире, как эта информация представляется человеком, как она хранится в памяти и преобразуется в знания и как эти знания влияют на наше внимание и поведение. Когнитивная психология охватывает весь диапазон психологических процессов — от ощущений до восприятия, распознавания образов, внимания, обучения, памяти, формирования понятий, мышления, воображения, запоминания, языка, эмоций и процессов развития; она охватывает всевозможные сферы поведения. Взятый нами курс — курс на понимание природы человеческой мысли — является одновременно амбициозным и волнующим. Поскольку это требует очень широкого круга знаний, то и диапазон изучения будет обширен; а поскольку эта тема предполагает рассмотрение человеческой мысли с новых позиций, то вероятно, что и ваши взгляды на интеллектуальную сущность человека изменятся радикально.

Эта глава названа “Введение”; однако, в некотором смысле вся эта книга есть введение в когнитивную психологию. В этой главе дана общая картина когнитивной психологии, а также рассмотрена ее история и описаны теории, объясняющие, как знания представлены в уме человека.

Прежде чем мы коснемся некоторых технических аспектов когнитивной пси-

хологии, будет полезно получить некоторое представление о тех предпосылках, на которых мы, люди, основываемся, когда обрабатываем информацию. Чтобы проиллюстрировать, как мы интерпретируем зрительную информацию, рассмотрим пример обычного события: водитель спрашивает у полицейского дорогу. Хотя участвующий здесь когнитивный процесс может показаться простым, на деле это не так.

Водитель: Я не из этого города; не могли бы вы мне сказать, как попасть в “Плати-Пакуй”?

Полицейский: А Вам нужны хозяйственные товары или спортивные? У них тут два разных магазина.

В: А-а, м-м-м...

П: Вообще-то это не важно, поскольку они оба находятся напротив друг друга через улицу.

В: Я собственно ищу сантехнику — новое сиденье для унитаза.

П: Ну, тогда это у них в хозяйственном.

В: В хозяйственном.

П: Да, в отделе сантехники. Так что... Вы знаете, где цирк?

В: Это то здание с чем-то вроде конуса или это то, которое...

П: Нет, это там, знаете, — эта самая выставочная площадка; ну, помните, там проходила “Экспо-84”.

В: А, да, я знаю, где эта выставка.

П: Ну вот, это там, на месте Экспо. Вообще отсюда туда трудно попасть, но если Вы поедете отсюда вниз, проедете по этой улице один светофор, а потом до сигнальной мачты, повернете направо один квартал до следующего светофора, а затем налево через железнодорожный переезд, мимо озера до следующего светофора рядом со старой фабрикой... Знаете, где старая фабрика?

В: Это та улица через мост, где указатель одностороннего движения до старой фабрики?

П: Нет, там двухстороннее движение.

В: А, это значит другой мост. Ладно, я знаю, какая улица.

П: Вы можете узнать ее по большому плакату, где написано “Если вы потеряли драгоценность, вы никогда ее не возместите”. Что-то в этом роде. Это реклама ночного депозитного отделения. Я его называю “Бозодеп”, потому что это в Бозвелловском банке. Короче, Вы едете мимо старой фабрики — это где железные ворота — и поворачиваете налево — нет, направо — потом один квартал налево и Вы на Благодатной.

¹ Солсо Р.Л. Когнитивная психология. М.: Тривола, 1996. С. 28—36, 41—47.

Благодатную улицу вы не пропустите. Это будет по правой стороне на этой улице.

В: Да Вы шутите. Я же остановился в мотеле на Благодатной.

П: Да-а?

В: Я поехал не в ту сторону и теперь я на другом конце города. Подумать только, два квартала от моего мотеля! Я мог туда пешком пойти.

П: А в каком Вы мотеле?

В: В Университетском.

П: Ах в Университетском... Что же, Вы не нашли места попримечательней?

В: Нет. Но зато там совершенно замечательная библиотека.

П: Хм-м.

Весь описанный эпизод занял бы не более двух минут, но то количество информации, которую восприняли и проанализировали эти два человека, просто поражает. Как должен психолог рассматривать такой процесс? Один выход — это просто на языке “стимул-реакция” (S—R): например, светофор (стимул) и поворот налево (реакция). Некоторые психологи, особенно представители традиционного бихевиористского подхода уверены, что всю последовательность событий можно адекватно (и гораздо более детально) описать в таких терминах. Однако, хотя

Характеристика	Тема в когнитивной психологии
Способность обнаруживать и интерпретировать сенсорные стимулы	Обнаружение сенсорных сигналов
Склонность сосредотачиваться на некоторых сенсорных стимулах и игнорировать остальные	Внимание
Детальное знание физических характеристик окружения	Знания
Способность абстрагировать некоторые элементы события и объединять эти элементы в хорошо структурированный план, придающий значение всему эпизоду	Распознавание образов
Способность извлекать значение из букв и слов	Чтение и переработка информации
Способность сохранять свежие события и объединять их в непрерывную последовательность	Кратковременная память
Способность формировать образ «когнитивной карты»	Мысленные образы
Понимание каждым участником роли другого	Мышление
Способность использовать «мнемонические трюки» для воспроизведения информации	Мнемоника и память
Тенденция хранить языковую информацию в общем виде	Абстрагирование речевых высказываний
Способность решать задачи	Решение задач
Общая способность к осмысленным действиям	Человеческий интеллект
Понимание, что направление движения можно точно перешифровать в набор сложных моторных действий (вождение автомобиля)	Языковое / моторное поведение
Способность быстро извлекать из долговременной памяти конкретную информацию, нужную для применения непосредственно в текущей ситуации	Долговременная память
Способность передавать наблюдаемые события на разговорном языке	Языковая переработка
Знание, что объекты имеют конкретные названия	Семантическая память
Неспособность действовать совершенным образом	Забывание и интерференция

эта позиция и привлекает своей простотой, она не в состоянии описать те когнитивные системы, которые участвуют в подобном обмене информацией. Чтобы это сделать, необходимо определить и проанализировать конкретные компоненты когнитивного процесса и затем объединить их в большую когнитивную модель. Именно с такой позиции исследуют сложные проявления человеческого поведения когнитивные психологи. Какие конкретно компоненты выделил бы когнитивный психолог в вышеприведенном эпизоде и как он стал бы их рассматривать? Мы можем начать с некоторых предположений относительно когнитивных характеристик, которыми обладают полицейский и водитель. В левой части таблицы 1 приведены соответствующие положения, а в правой — темы когнитивной психологии, связанные с этими положениями.

Информационный подход

Приведенные положения можно объединить в более крупную систему, или когнитивную модель. Модель, которой обычно пользуются когнитивные психологи, называется *моделью переработки информации*.

С самого начала нашего изучения когнитивных моделей важно понять их ограничения. Когнитивные модели, опирающиеся на модель переработки информации, — это эвристические построения, используемые для организации существующего объема литературы, стимуляции дальнейших исследований, координации исследовательских усилий и облегчения коммуникаций между учеными. Существует тенденция приписывать моделям большую структурную незыблемость, чем это может быть подтверждено эмпирическими данными.

Модель переработки информации полезна для вышеперечисленных задач; однако, чтобы лучше отразить достижения когнитивной психологии, были разработаны и другие модели. С такими альтер-

нативными моделями я буду знакомить вас по мере необходимости. Модель переработки информации предполагает, что процесс познания можно разложить на ряд этапов, каждый из которых представляет собой некую гипотетическую единицу, включающую набор уникальных операций, выполняемых над входной информацией. Предполагается, что реакция на событие (например, ответ: “А, да, я знаю, где эта выставка”) является результатом серии таких этапов и операций (например, восприятие, кодирование информации, воспроизведение информации из памяти, формирование понятий, суждение и формирование высказывания). На каждый этап поступает информация от предыдущего этапа, и затем над ней выполняются свойственные для данного этапа операции. Поскольку все компоненты модели переработки информации так или иначе связаны с другими компонентами, трудно точно определить начальный этап; но для удобства мы можем считать, что вся эта последовательность начинается с поступления внешних стимулов¹.

Эти стимулы — признаки окружения в нашем примере — не представлены непосредственно в голове полицейского, но они преобразуются в значимые символы, в то, что некоторые когнитологи называют “внутренними репрезентациями”. На самом нижнем уровне энергия света (или звука), исходящая от воспринимаемого стимула, преобразуется в нервную энергию, которая в свою очередь обрабатывается на вышеописанных гипотетических этапах с тем, чтобы сформировать “внутреннюю репрезентацию” воспринимаемого объекта. Полицейский понимает эту внутреннюю репрезентацию, которая в сочетании с другой контекстуальной информацией дает основу для ответа на вопрос.

Модель переработки информации породила два важных вопроса, вызвавших значительные споры среди когнитивных психологов: *какие этапы проходит информация при обработке? и в каком виде*

¹ Можно, конечно, утверждать, что эта последовательность преобразований начинается со знаний субъекта о мире, которые позволяют ему избирательно направлять внимание на отдельные аспекты зрительных стимулов и игнорировать другие аспекты. Так, в приведенном примере полицейский описывает водителю дорогу, останавливаясь преимущественно на том, где водителю придется проезжать, и не обращает внимания (по крайней мере активного) на другие признаки: дома, пешеходов, солнце, другие ориентиры.

информация представлена в уме человека? Хотя на эти вопросы нет легкого ответа, данная книга по большей части посвящена им обоим, так что их полезно не упустить из виду. Среди прочего когнитивные психологи пытались ответить на эти вопросы путем включения в свои исследования методов и теорий из конкретных психологических дисциплин; некоторые из них описаны ниже.

Сфера когнитивной психологии

Современная когнитивная психология заимствует теории и методы из 10 основных областей исследований (рис. 1): восприятие, распознавание образов, внимание, память, воображение, языковые функции, психология развития, мышление и решение задач, человеческий интеллект и искусственный интеллект; каждую из них мы рассмотрим отдельно.

Восприятие

Отрасль психологии, непосредственно связанная с обнаружением и интерпретацией сенсорных стимулов, называется психологией *восприятия*. Из экспериментов по восприятию мы хорошо знаем о чувствительности человеческого организма к сенсорным сигналам и — что более важно для когнитивной психологии — о том, как интерпретируются эти сенсорные сигналы.

Описание, данное полицейским в приведенной уличной сцене, значительно зависит от его способности “видеть” суще-

ственные признаки окружения. “Видение”, однако, — это непростая вещь. Чтобы воспринимались сенсорные стимулы — в нашем случае они преимущественно зрительные, — надо, чтобы они имели определенную величину: если водителю предстоит выполнить описанный маневр, эти признаки должны иметь определенную интенсивность. Кроме того, сама сцена постоянно изменяется. По мере изменения положения водителя, появляются новые признаки. Отдельные признаки получают в перцептивном процессе преимущественную важность. Указательные знаки различаются по цвету, положению, форме и т.д. Многие изображения при движении постоянно меняются, и чтобы превратить их указания в действия, водитель должен быстро корректировать свое поведение.

Экспериментальные исследования восприятия помогли идентифицировать многие из элементов этого процесса; с некоторыми из них мы встретимся в следующей главе. Но исследование восприятия само по себе не может адекватно объяснить ожидаемые действия; здесь участвуют и другие когнитивные системы, такие как распознавание образов, внимание и память.

Распознавание образов

Стимулы внешней среды не воспринимаются как единичные сенсорные события; чаще всего они воспринимаются как часть более значительного паттерна. То, что мы ощущаем (видим, слышим, обоня-



Рис. 1. Основные направления исследований в когнитивной психологии

ем или чувствуем вкус), почти всегда есть часть сложного паттерна, состоящего из сенсорных стимулов. Так, когда полицейский говорит водителю “проехать через железнодорожный переезд мимо озера... рядом со старой фабрикой”, его слова описывают сложные объекты (переезд, озеро, старая фабрика). В какой-то момент полицейский описывает плакат и предполагает при этом, что водитель грамотный. Но задумавшись над проблемой чтения. Чтение — это сложное волевое усилие, при котором от читающего требуется построить осмысленный образ из набора линий и кривых, которые сами по себе не имеют смысла. Организуя эти стимулы так, чтобы получились буквы и слова, читающий может затем извлечь из своей памяти значение. Весь этот процесс, выполняемый ежедневно миллиардами людей, занимает долю секунды, и он просто поразителен, если учесть, сколько в нем участвует нейроанатомических и когнитивных систем.

Внимание

Полицейский и водитель сталкиваются с несметным количеством признаков окружения. Если бы водитель уделял внимание им всем (или почти всем), он точно никогда бы не добрался до хозяйственного магазина. Хотя люди — это существа, собирающие информацию, очевидно, что при нормальных условиях мы очень тщательно отбираем количество и вид информации, которую стоит принимать в расчет. Наша способность к переработке информации очевидно ограничена на двух уровнях — сенсорном и когнитивном. Если нам одновременно навязывают слишком много сенсорных признаков, у нас может возникнуть “перегрузка”; и если мы пытаемся обработать слишком много событий в памяти, тоже возникает перегрузка. Последствием этого может оказаться сбой в работе.

В нашем примере полицейский, интуитивно понимая, что если он перегрузит

систему, то пострадает результат, игнорирует множество тех признаков, которые водитель конечно бы заметил. И если иллюстрация, приведенная рядом с текстом диалога, является точной репрезентацией когнитивной карты водителя, то последний действительно безнадежно запутался.

Память

Мог бы полицейский описать дорогу, не пользуясь памятью? Конечно нет; и в отношении памяти это даже более верно, чем в отношении восприятия. И в действительности память и восприятие работают вместе. В нашем примере ответ полицейского явился результатом работы двух типов памяти. Первый тип памяти удерживает информацию ограниченное время — достаточно долго, чтобы поддержать разговор. Эта система памяти хранит информацию в течение короткого периода — пока ее не заменит новая. Весь разговор занял бы около 120 секунд и маловероятно, чтобы все его детали навсегда сохранились и у полицейского, и у водителя. Однако, эти детали *хранились* в памяти достаточно долго для того, чтобы они оба сохраняли последовательность элементов, составляющих диалог¹, и *некоторая часть* этой информации могла отложиться у них в постоянной памяти. Этот первый этап памяти называется кратковременной памятью (КВП), а в нашем случае это особый ее вид, называемый *рабочей памятью*.

С другой стороны, значительная часть содержания ответов полицейского получена из его долговременной памяти (ДВП). Наиболее очевидная часть здесь — знание им языка. Он не называет озеро лимонным деревом, место выставок — автопокрышкой, а улицу — баскетболом; он извлекает слова из своей ДВП и использует их более менее правильно. Есть и другие признаки, указывающие на то, что ДВП участвовала в его описании: “...помните, у них была выставка Экспо-84?”. Он смог за долю се-

¹ Так, например, полицейский какое-то время должен был помнить, что водитель ищет “Плати-Пакуй”, что он знает, где находится выставка, и даже (как минимум до окончания своего вопроса “В каком мотеле Вы остановились?”) то, что водитель остановился в мотеле. Аналогично, водитель какое-то время должен помнить, что есть два магазина “Плати-Пакуй” (хотя бы для того, чтобы ответить, что ему нужен тот, где продается сантехника); что полицейский спросил его, знает ли он, где была выставка Экспо; что ему надо проехать мимо старой мельницы и т.п.

кунды воспроизвести информацию о событии, происшедшем несколько лет назад. Эта информация не поступала из непосредственного перцептивного опыта; она хранилась в ДВП вместе с огромным количеством других фактов.

Значит, информация, которой владеет полицейский, получена им из восприятия, КВП и ДВП. Кроме того, мы можем сделать вывод, что он был мыслящим человеком, поскольку вся эта информация была им представлена в виде некоторой схемы, которая “имела смысл”.

Воображение

Для того, чтобы ответить на вопрос, полицейский построил мысленный образ окружения. Этот мысленный образ имел форму когнитивной карты: т.е. своего рода мысленной репрезентации для множества зданий, улиц, дорожных знаков, светофоров и т.п. Он был способен извлечь из этой когнитивной карты значимые признаки, расположить их в осмысленной последовательности и преобразовать эти образы в языковую информацию, которая позволила бы водителю построить сходную когнитивную карту. Затем эта повторно выстроенная когнитивная карта дала бы водителю вразумительную картину города, которая могла бы потом быть преобразована в акт вождения автомобиля по определенному маршруту. <...>

Язык

Чтобы правильно ответить на вопрос, полицейскому нужны были обширные знания языка. Это подразумевает знание правильных названий для ориентиров и, что тоже важно, знание синтаксиса языка — т.е. правил расположения слов и связей между ними. Здесь важно признать, что приведенные словесные последовательности могут не удовлетворить педантичного профессора филологии, но вместе с тем они передают некоторое сообщение. Почти в каждом предложении присутствуют существенные грамматические правила. Полицейский не сказал: “них ну это хозяйственном в у”; он сказал: “Ну, это у них в хозяйственном”, — и мы все можем понять, что имеется в виду. Кроме построения грамматически правильных предло-

жений и подбора соответствующих слов из своего лексикона, полицейский должен был координировать сложные моторные реакции, необходимые для произнесения своего сообщения.

Психология развития

Это еще одна область когнитивной психологии, которая весьма интенсивно изучалась. Недавно опубликованные теории и эксперименты по когнитивной психологии развития значительно расширили наше понимание того, как развиваются когнитивные структуры. В нашем случае мы можем только заключить, что говорящих объединяет такой опыт развития, который позволяет им (более или менее) понимать друг друга. <...>

Мышление и формирование понятий

На протяжении всего нашего эпизода полицейский и водитель проявляют способность к мышлению и формированию понятий. Когда полицейского спросили, как попасть в “Плати-Пакуй”, он ответил после некоторых промежуточных шагов; вопрос полицейского “Вы знаете, где цирк?” показывает, что если бы водитель знал этот ориентир, то его легко можно было бы направить в “Плати-Пакуй”. Но раз он не знал, полицейский выработал еще один план ответа на вопрос. Кроме того, полицейский очевидно был сбит с толку, когда водитель сказал ему, что в мотеле “Университетский” замечательная библиотека. Мотели и библиотеки — это обычно несовместимые категории, и полицейский, который так же, как и вы, знал об этом, мог бы спросить: “Что же это за мотель такой!”. Наконец, употребление им некоторых слов (таких как “железнодорожный переезд”, “старая фабрика”, “железная ограда”) свидетельствует, что у него были сформированы понятия, близкие к тем, которыми располагал водитель.

Человеческий интеллект

И полицейский, и водитель имели некоторые предположения об интеллекте друг друга. Эти предположения включали — но не ограничивались этим — способность

понимать обычный язык, следовать инструкциям, преобразовывать вербальные описания в действия и вести себя соответственно законам своей культуры. <...>

Искусственный интеллект

В нашем примере нет непосредственной связи с компьютерными науками; однако специальная сфера компьютерных наук, именуемая “Искусственный интеллект” (ИИ) и нацеленная на моделирование познавательных процессов человека, оказала огромное влияние на развитие когнитивной науки — особенно с тех пор, как для компьютерных программ искусственного интеллекта потребовались знания о том, как мы обрабатываем информацию. Соответствующая и весьма захватывающая тема <...> затрагивает вопрос о том, может ли “совершенный робот” имитировать человеческое поведение. Вообразим, например, эдакого сверхробота, овладевшего всеми способностями человека, связанными с восприятием, памятью, мышлением и языком. Как бы он ответил на вопрос водителя? Если бы робот был идентичен человеку, то и ответы его были бы идентичны, но представьте себе трудности разработки программы, которая бы ошиблась — так же, как это сделал полицейский (“вы поворачиваете налево”), — и затем, заметив эту ошибку, исправила бы ее (“нет, направо”). <...>

Представления современной когнитивной психологии

Возрождение когнитивной психологии

<...> Начиная с конца 50-х гг. интересы ученых снова сосредоточились на внимании, памяти, распознавании образов, образах, семантической организации, языковых процессах, мышлении и других “когнитивных” темах, однажды сочтенных под давлением бихевиоризма неинтересными для экспериментальной психологии. По мере того как психологи все более поворачивались лицом к когнитивной психологии, организовывались новые журналы и научные группы, и когнитивная психология еще более упрочивала свои позиции,

становилось ясно, что эта отрасль психологии сильно отличается от той, что была в моде в 30-х и 40-х годах. Среди важнейших факторов, обусловивших эту неоконитивную революцию, были такие:

“Неудача” бихевиоризма. Бихевиоризму, который вообще изучал внешние реакции на стимулы, не удалось объяснить разнообразие человеческого поведения. Стало, таким образом, очевидным, что внутренние мысленные процессы, косвенно связанные с непосредственными стимулами, влияют на поведение. Некоторые полагали, что эти внутренние процессы можно определить и включить их в общую теорию когнитивной психологии.

Возникновение теории связи. Теория связи спровоцировала проведение экспериментов по обнаружению сигналов, вниманию, кибернетике и теории информации — т.е. в областях, существенных для когнитивной психологии.

Современная лингвистика. В круг вопросов, связанных с познанием, были включены новые подходы к языку и грамматическим структурам.

Изучение памяти. Исследования по вербальному научению и семантической организации создали крепкую основу для теорий памяти, что привело к развитию моделей систем памяти и появлению проверяемых моделей других когнитивных процессов.

Компьютерная наука и другие технологические достижения. Компьютерная наука и особенно один из ее разделов — искусственный интеллект (ИИ) — заставили пересмотреть основные постулаты, касающиеся обработки и хранения информации в памяти, а также научения языку. Новые устройства для экспериментов значительно расширили возможности исследователей.

От ранних концепций репрезентации знаний и до новейших исследований считалось, что знания в значительной степени опираются на сенсорные входные сигналы. Эта тема дошла к нам еще от греческих философов и через ученых эпохи ренессанса — к современным когнитивным психологам. Но *идентичны ли* внутренние репрезентации мира его физическим свойствам? Все больше свидетельств того, что многие внутренние репрезентации реальности — это не то же

самое, что сама внешняя реальность — т.е. они *не изоморфны*. Работа Толмена с лабораторными животными заставляет предположить, что информация, полученная от органов чувств, хранится в виде абстрактных репрезентаций.

Несколько более аналитичный подход к теме когнитивных карт и внутренних репрезентаций избрали Норман и Румельхарт (1975). В одном из экспериментов они попросили жителей общежития при колледже нарисовать план своего жилья сверху. Как и ожидалось, студенты смогли идентифицировать рельефные черты архитектурных деталей — расположение комнат, основных удобств и приспособлений. Но были также упущения и просто ошибки. Многие изобразили балкон вровень с наружной стороной здания, хотя на самом деле он выступал из нее. Из ошибок, обнаруженных в схеме здания, мы можем многое узнать о внутреннем представлении информации у человека. Норман и Румельхарт пришли к такому выводу:

“Репрезентация информации в памяти не является точным воспроизведением реальной жизни; на самом деле это сочетание информации, умозаключений и реконструкций на основе знаний о зданиях и мире вообще. Важно отметить, что когда студентам указывали на ошибку, они все очень удивлялись тому, что сами нарисовали”.

На этих примерах мы познакомились с важным принципом когнитивной психологии. Наиболее очевидно то, что наши представления о мире не обязательно идентичны его действительной сущности. Конечно, репрезентация информации связана с теми стимулами, которые получает наш сенсорный аппарат, но она также подвергается значительным изменениям. Эти изменения, или модификации, очевидно связаны с нашим прошлым опытом¹, результатом которого явилась богатая и сложная сеть наших знаний. Таким обра-

зом, поступающая информация абстрагируется (и до некоторой степени искажается) и хранится затем в системе памяти человека. Такой взгляд отнюдь не отрицает, что *некоторые* сенсорные события непосредственно аналогичны своим внутренним репрезентациям, но предполагает, что сенсорные стимулы могут при хранении подвергаться (и часто это так и есть) абстрагированию и модификации, являющихся функцией богатого и сложно переплетенного знания, структурированного ранее. <...>

Проблема того, как знания представлены в уме человека, относится к наиболее важным в когнитивной психологии. В этом разделе мы обсуждаем некоторые вопросы, непосредственно связанные с ней. Из множества уже приведенных примеров и еще большего их количества, ожидающего нас впереди, ясно следует, что наша внутренняя репрезентация реальности имеет некоторое сходство с реальностью внешней, но когда мы абстрагируем и преобразуем информацию, мы делаем это в свете нашего предшествующего опыта.

Концептуальные науки² и когнитивная психология

В этой книге часто будут употребляться два понятия — о когнитивной модели и о концептуальной науке. Они связаны между собой, но различаются в том смысле, что “концептуальная наука” — это очень общее понятие, тогда как термин “когнитивная модель” обозначает отдельный класс концептуальной науки. При наблюдении за объектами и событиями — как в эксперименте, где те и другие контролируются, так и в естественных условиях — ученые разрабатывают различные понятия с целью:

- организовать наблюдения;
- придать этим наблюдениям смысл;
- связать между собой отдельные моменты, вытекающие из этих наблюдений;

¹Ряд теоретиков придерживаются мнения, что некоторые структуры — например, языковые — являются универсальными и врожденными.

² У Солсо концептуальная наука — это наука, предметом которой являются понятия и теоретические построения, а не физическая природа, как в естественных науках. Понятие концептуальной науки уже, чем понятие гуманитарной науки, к которой относятся психология, философия, социология, история и т.д. Ближе всего концептуальная наука соответствует нашему термину “методология науки”, науковедение.

- развивать гипотезы;
- предсказывать события, которые еще не наблюдались;
- поддерживать связь с другими учеными.

Когнитивные модели — это особая разновидность научных концепций, и они имеют те же задачи. Определяются они обычно по-разному, но мы определим когнитивную модель как *метафору, основанную на наблюдениях и выводах, сделанных из этих наблюдений, и описывающих, как обнаруживается, хранится и используется информация*¹.

Ученый может подобрать удобную метафору, чтобы возможно элегантнее выстроить свои понятия. Но другой исследователь может доказать, что данная модель неверна и потребовать пересмотреть ее или вообще от нее отказаться. Иногда модель может оказаться настолько полезной в качестве рабочей схемы, что даже будучи несовершенной она находит свою поддержку. Например, хотя в когнитивной психологии постулируются два вышеописанных вида памяти — кратковременная и долговременная — есть некоторые свидетельства <...>, что такая дихотомия неверно представляет реальную систему памяти. Тем не менее, эта метафора весьма полезна при анализе когнитивных процессов. Когда какая-нибудь модель теряет свою актуальность в качестве аналитического или описательного средства, от нее просто отказываются. <...>

Возникновение новых понятий в процессе наблюдений или проведения экспериментов — это один из показателей развития науки. Ученый не изменяет природу — ну разве что в ограниченном смысле, — но наблюдение за природой *изменяет* представления ученого о ней. А наши представления о природе, в свою очередь, направляют наши наблюдения! Когнитивные модели, так же как и другие модели концептуальной науки, есть *следствие* наблюдений, но в определенной степени они же — *опреде-*

ляющий фактор наблюдений. Этот вопрос связан с уже упоминавшейся проблемой: в каком виде наблюдатель репрезентирует знания. Как мы убедились, есть много случаев, когда информация во внутренней репрезентации не соответствует точно внешней реальности. Наши внутренние репрезентации перцептов могут исказить реальность. “Научный метод” и точные инструменты — это один из способов подвергнуть внешнюю реальность более точному рассмотрению. На самом деле не прекращаются попытки представить наблюдаемое в природе в виде таких когнитивных построений, которые были бы точными репрезентациями природы и одновременно совместимы со здравым смыслом и пониманием наблюдателя <...>.

Логику концептуальной науки можно проиллюстрировать на примере развития естественных наук. Общеизвестно, что материя состоит из элементов, существующих независимо от непосредственного их наблюдения человеком. Однако, то, как эти элементы классифицируются, оказывает огромное влияние на то, как ученые воспринимают физический мир. В одной из классификаций “элементы” мира разделены на категории “земля”, “воздух”, “огонь” и “вода”. Когда эта архаичная алхимическая систематика уступила дорогу более критическому взгляду, были “обнаружены” такие элементы, как кислород, углерод, водород, натрий и золото, и тогда стало возможным изучать свойства элементов при их соединении друг с другом. Были открыты сотни различных законов, касающихся свойств соединений из этих элементов. Так как элементы очевидно вступали в соединения упорядоченно, возникла идея, что элементы можно было бы расположить по определенной схеме, которая придала бы смысл разрозненным законам атомарной химии. Русский ученый Дмитрий Менделеев взял набор карточек и написал на них названия и атомные веса всех известных тогда элементов — по одному на

¹ Некоторые философы утверждают, что концептуальная наука и когнитивные модели предсказуемы на том основании, что природа структурирована и роль ученого состоит именно в том, чтобы обнаружить “самую глубокую” структуру. Я бы не подписался под таким утверждением. Природа — включая познавательную природу человека — объективно существует. Концептуальная наука строится человеком и для человека. Построенные учеными понятия и модели — суть метафоры, отражающие “реальную” природу вселенной и являющиеся исключительно человеческими творениями. Они есть продукт мысли, который *может* отражать реальность.

каждой. Располагая эти карточки так и смяк снова и снова, он наконец получил осмысленную схему, известную сегодня как периодическая таблица элементов.

То, что он сделал — это подходящий пример того, как естественная, природная информация структурируется мыслью человека, так что она одновременно точно изображает природу и поддается пониманию. Важно, однако, помнить, что периодическое расположение элементов имело много интерпретаций. Интерпретация Менделеева была не единственной из возможных; возможно, она не была даже лучшей; в ней даже могло *не быть* естественного расположения элементов, но предложенный Менделеевым вариант помог понять часть физического мира и был очевидно совместим с “реальной” природой.

Концептуальная когнитивная психология имеет много общего с задачей, которую решал Менделеев. “Сырому” наблюдению за тем, как приобретаются, хранятся и используются знания, не хватает формальной структуры. Когнитивные науки, так же как и естественные, нуждаются в схемах, которые были бы интеллектуально совместимы и научно достоверны одновременно.

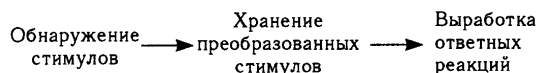
Когнитивные модели

Как мы уже говорили, концептуальные науки, включая когнитивную психологию, имеют метафорический характер. Модели явлений природы, в частности, когнитивные модели, — это служебные абстрактные идеи, полученные из умозаключений, основанных на наблюдениях. Строение элементов *может* быть представлено в виде периодической таблицы, как это сделал Менделеев, но важно не забывать, что эта классификационная схема является метафорой. И утверждение, что концептуальная наука является метафорической, несколько не уменьшает ее полезность. Действительно, одна из задач построения моделей — это лучше постичь наблюдаемое. А концептуальная наука нужна для другого: она задает исследователю некую схему, в рамках которой можно испытывать конкретные гипотезы и которая позволяет ему предсказывать события на основе этой модели. Периодическая таб-

лица очень изящно удовлетворяла обеим этим задачам. Исходя из расположения элементов в ней, ученые могли точно предсказывать химические законы соединения и замещения, вместо того, чтобы проводить бесконечные и беспорядочные эксперименты с химическими реакциями. Более того, стало возможным предсказывать еще не открытые элементы и их свойства при полном отсутствии физических доказательств их существования. И если вы занимаетесь когнитивными моделями, не забывайте аналогию с моделью Менделеева, поскольку когнитивные модели, как и модели в естественных науках, основаны на логике умозаключений и полезны для понимания когнитивной психологии.

Короче говоря, модели основываются на выводах, сделанных из наблюдений. Их задача — обеспечить умопостигаемую репрезентацию характера наблюдаемого и помочь сделать предсказания при развитии гипотез. Теперь рассмотрим несколько моделей, используемых в когнитивной психологии.

Начнем обсуждение когнитивных моделей с довольно грубой версии, делившей все когнитивные процессы на три части: обнаружение стимулов, хранение и преобразование стимулов и выработку ответных реакций:



Эта суховатая модель, близкая упоминавшейся ранее S—R модели, часто использовалась в том или ином виде в прежних представлениях о психических процессах. И хотя она отражает основные этапы развития когнитивной психологии, но в ней так мало подробностей, что она едва ли способна обогатить наше “понимание” когнитивных процессов. Она также не способна породить какие-либо новые гипотезы или предсказывать поведение. Эта примитивная модель аналогична древним представлениям о вселенной как состоящей из земли, воды, огня и воздуха. Подобная система действительно представляет один из возможных взглядов на когнитивные явления, но она неверно передает их сложность.

Одна из первых и наиболее часто упоминаемых когнитивных моделей касает-

ся памяти. В 1890 году Джеймс расширил понятие памяти, разделив ее на “первичную” и “вторичную” память. Он предполагал, что первичная память имеет дело с происшедшими событиями, а вторичная память — с постоянными, “неразрушимыми” следами опыта.

Позднее, в 1965 году Во и Норман предложили новую версию этой же модели и оказалось, что она во многом приемлема. Она понятна, она может служить источником гипотез и предсказаний,— но она также слишком упрощена. Можно ли с ее помощью описать *все* процессы человеческой памяти? Едва ли; и развитие более сложных моделей было неизбежно. <...> В нее была добавлена новая система хранения и несколько новых путей информации. Но даже эта модель является неполной и требует расширения.

За последнее десятилетие построение когнитивных моделей стало излюбленным времяпрепровождением психологов, и не-

которые из их творений поистине великолепны. Обычно проблема излишне простых моделей решается добавлением еще одного “блока”, еще одного информационного пути, еще одной системы хранения, еще одного элемента, который стоит проверить и проанализировать. Подобные творческие усилия выглядят вполне оправданными в свете того, что мы сейчас знаем о богатстве когнитивной системы человека.

Теперь вы можете сделать вывод, что изобретение моделей в когнитивной психологии вышло из-под контроля подобно ученику волшебника. Это не совсем верно, ибо это настолько обширная задача — т.е. анализ того, как информация обнаруживается, представляется, преобразуется в *знания*, и как эти знания используются,— что как бы мы ни ограничивали наши концептуальные метафоры упрощенными моделями, нам все равно не удастся исчерпывающим образом разъяснить всю сложную сферу когнитивной психологии <...>.

Э. Дюркгейм

[СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПСИХИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА]¹

Вместе с обществами видоизменяются и индивиды вследствие изменений, происходящих в числе социальных единиц и в их отношениях.

Во-первых, они все более освобождаются от гнета организма. Животное находится почти исключительно в зависимости от физической среды; его биологическое строение предопределяет его существование. Человек, наоборот, зависит от социальных причин. Конечно, животные также образуют общества; но, так как они весьма малы, то коллективная жизнь в них очень проста; она в то же время и неподвижна, так как равновесие таких малых обществ непременно устойчиво. По двум этим причинам она легко закрепляется в организме; она не только имеет в нем свои корни, но целиком воплощается в нем, так что теряет свои собственные черты. Она функционирует благодаря системе инстинктов, рефлексов, не отличающихся, по существу, от тех, которые обеспечивают функционирование органической жизни. Они содержат, правда, ту особенность, что приспособляют индивида к социальной среде, а не к физической; их причины — явления совместной жизни. Однако они по своей природе те же, что в известных случаях без предварительного воспитания вызывают движения, необходимые для полета и ходьбы. Совсем иное видим мы у человека, потому что образу-

емые им общества обширнее; даже самые малые из известных человеческих обществ превосходят по величине большинство обществ животных. Будучи более сложными, они также более изменчивы, и благодаря обоим этим причинам социальная жизнь в человечестве не закрепляется в биологической форме. Даже там, где она наиболее проста, она сохраняет свою специфичность. Постоянно существуют верования и обычаи, которые являются общими для людей, не будучи начертанными в их тканях. Но эта черта проявляется резче по мере приращения социального вещества и плотности. Чем больше ассоциировавшихся лиц и чем сильнее они воздействуют друг на друга, тем более также продукт этих воздействий выходит из пределов организма. Человек, таким образом, оказывается во власти причин *sui generis*, относительная доля которых в устройстве человеческой природы становится все значительней.

Более того, влияние этого фактора увеличивается не только относительно, но и абсолютно. Та же причина, которая увеличивает значение коллективной среды, влияет на органическую среду так, что делает ее более доступной действию социальных причин и подчиняет ее им. Так как больше индивидов живут вместе, то общая жизнь богаче и разнообразнее; но, чтобы это разнообразие было возможно, необходима меньшая определенность органического типа, с тем чтобы он был в состоянии разветвляться. Мы видели, в самом деле, что стремления и способности, передаваемые по наследству, становятся все более общими и неопределенными, и следовательно, не подверженными принятию формы инстинктов. Таким образом, происходит явление, как раз обратное тому, которое наблюдается в начале эволюции. У животных организм ассимилирует социальные факты и, лишая их особой природы, превращает в факты биологические. Социальная жизнь материализуется. В человечестве, наоборот (особенно в высших обществах), социальные причины замещают органические. Организм спиритуализуется.

Вследствие этого изменения формы зависимости индивид преобразуется. Так как

¹ Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991. С. 322—327.

та деятельность, которая перевозбуждает специфическое действие социальных причин, не может закрепиться в организме, то к телесной жизни присоединяется новая жизнь, также *sui generis*. Черты, отличающие эту более сложную, более свободную, более независимую от поддерживающих ее органов жизнь, проявляются все резче по мере того, как она прогрессирует и укрепляется. По этому описанию можно узнать существенные черты психической жизни. Без сомнения, было бы преувеличением утверждать, что психическая жизнь начинается только вместе с обществами, но верно и то, что она становится значительной только тогда, когда общества развиваются. Вот почему, как это часто замечали, прогресс сознания находится в обратном отношении к прогрессу инстинкта. Что бы об этом ни говорили, не первое разлагает последний; инстинкт, продукт накопленных в течение поколений опытов, обладает слишком большою силою сопротивления, чтобы перестать существовать только потому, что он становится сознательным. Истина в том, что сознание захватывает лишь те области, которые покинул инстинкт, или те, где он не может установиться. Не оно заставляет отступать его; оно только заполняет оставленное им свободное пространство. С другой стороны, если он регрессирует, вместо того чтобы увеличиваться с увеличением общей жизни, то причина этого лежит в большей важности социального фактора. Таким образом, важное различие между человеком и животным, а именно большее развитие психической деятельности, сводится к его большей социальности. Чтобы понять, почему психические функции с первых шагов человека были подняты на неизвестную животным степень совершенства, надо было бы сперва узнать, каким образом случилось, что люди, вместо того чтобы жить одиноко или небольшими группами, стали образовывать более обширные общества. Если, повторяя классическое определение, человек — разумное животное, то потому, что он общественное животное или, по крайней мере, бесконечно более общественное, чем другие животные¹.

Но это не все. Пока общества не достигают определенных размеров и определен-

ной степени концентрации, единственная истинно развитая психическая жизнь — это та, которая присуща всем членам группы, которая у всех одинакова. По мере того как общества становятся обширнее и особенно плотнее, возникает психическая жизнь нового рода. Индивидуальные различия, сначала затерянные и слившиеся в массу социальных сходств, выделяются из нее, становятся рельефнее. Масса явлений, оставшихся вне сознаний, так как они не затрагивали коллективного существа, становятся объектами представлений. В то время как прежде индивиды действовали только увлекаемые друг другом, кроме случаев, когда их поведение вызывалось физическими потребностями, теперь всякий из них становится источником самопроизвольной деятельности. Образуются отдельные личности, которые начинают сознавать себя, и однако, это приращение индивидуальной психической жизни не ослабляет социальную, а только преобразует ее. Она становится свободнее, обширнее, и так как в конце концов она не имеет другого субстрата, кроме индивидуальных сознаний, то последние в силу этого увеличиваются, становятся более сложными и гибкими.

Таким образом, та же причина, которая вызвала различия, отделяющие человека от животных, принудила его возвыситься над самим собой. Все увеличивающееся расстояние между дикарем и цивилизованным человеком не имеет другого источника. Если из первоначального смутного мира чувств выделилась мало-помалу способность порождать идеи; если человек научился образовывать понятия и формулировать законы; если его ум охватывает все увеличивающиеся объемы пространства и времени; если, не ограничиваясь сохранением прошлого, он все больше посягает на будущее; если его эмоции и стремления, сначала простые и малочисленные, так умножились и разветвились, то все это потому, что социальная среда непрерывно изменялась. Действительно, эти изменения — если только они не возникли из ничего — могли иметь причинами только соответствующие изменения окружающей среды. Но человек зависит только от тройного

¹ Определение Катрфажа, делающее из человека религиозное животное, есть частный случай предыдущего, ибо религиозность человека — следствие его высокой социальности <...>.

рода среды: от организма, внешнего мира, общества. Если игнорировать случайные изменения, происходящие от наследственных комбинаций, а их роль в прогрессе человечества, конечно, не очень значительна, то организм не изменяется самопроизвольно; необходимо, чтобы он был к этому принужден какой-нибудь внешней причиной. Что касается физического мира, то с начала истории он остается приблизительно тем же, если только не принимать в расчет изменений социального происхождения¹. Следовательно, остается только общество, которое достаточно изменилось, чтобы этим можно было объяснить параллельные изменения природы индивида.

Итак, теперь нет ничего безрассудного в утверждении, что, какие бы успехи ни сделала психофизиология, она всегда сможет представлять собой только часть психологии, так как большая часть психических явлений не происходит от органических причин. Это поняли философы-спиритуалисты, и великая услуга, оказанная ими науке, состоит в борьбе со всеми доктринами, сводящими психическую жизнь к некоему расцвету физической жизни. Они весьма справедливо думали, что первая в своих высших проявлениях слишком свободна и сложна, чтобы быть только продолжением последней. Только из того, что она отчасти независима от организма, не следует вовсе, что она не зависит ни от какой материальной причины и что ее должно поместить вне природы. Все те факты, объяснения которых нельзя найти в строении тканей, происходят от свойств социальной среды; по крайней мере, это гипотеза, имеющая на основании предыдущего весьма большое правдоподобие. Но социальное царство не менее естественно, чем органическое. Следовательно, из того, что есть обширная область сознания, генезис которой не объясним одной только психофизиологией, не надо заключать, что оно образовалось само по себе и что оно не подвластно никакому научному исследованию, но только, что оно относится к другой положительной науке,

которую можно было бы назвать социопсихологией. Составляющие ее содержание явления действительно смешанной природы; они имеют те же существенные черты, что и другие психические факты, но происходят от социальных причин.

Не следует, стало быть, подобно Спенсеру, представлять социальную жизнь как простую равнодействующую индивидуальных существ; наоборот, скорее последние вытекают из первой. Социальные факты не представляют собой простого продолжения психических фактов; последние главным образом не что иное, как продолжение первых внутри сознаний. Это положение весьма важно, так как противоположная точка зрения постоянно подвергает социолога риску принять причину за следствие, и наоборот. Например, если (как это часто случается) в организации семьи видят логически необходимое выражение человеческих чувств, внутренне присущих всякому сознанию, то опрокидывают реальный порядок фактов; как раз наоборот: социальная организация отношений родства вызвала чувства родителей и детей. Они были бы совсем иные, если бы социальная структура была иной, и доказательством этого служит то, что действительно отцовское чувство неизвестно во многих обществах². Можно было бы привести много других примеров подобной же ошибки³. Бесспорна та истина, что нет ничего в социальной жизни, чего не было бы в индивидуальных сознаниях; но почти все, что в них находится, взято ими у общества. Большая часть наших состояний сознания не появилась бы у изолированных существ и проявилась бы совсем иначе у существ, сгруппированных иным образом. Значит, они вытекают не из психологической природы человека вообще, но из способа, каким ассоциировавшиеся люди воздействуют друг на друга, соответственно их количеству и степени сближения. Так как они продукты групповой жизни, то только природа группы может объяс-

¹ Изменения почвы, течения вод под влиянием земледельцев, инженеров и т. д.

² Это имеет место в обществах, где господствует материнская семья.

³ Приведем только один пример — религию, которую объясняли из индивидуальных эмоций, между тем как эти эмоции только продолжение у индивида социальных состояний, порождающих религии. Мы затронули этот вопрос в статье “Etudes de science social” (Revue philosophique, juin 1886).

нить их. Само собою разумеется, что они не были бы возможны, если бы индивидуальные строения не были годны для этого; но последние — только отдаленные условия их, а не определяющие причины. Спенсер сравнивает в одном месте¹ работу социолога с вычислением математика, который из формы известного числа ядер

выводит способ, каким они должны комбинироваться, чтобы удерживаться в равновесии. Сравнение это неточно и неприложимо к социальным фактам. Здесь скорее форма целого определяет форму частей. Общество не находит в сознаниях вполне готовыми основания, на которых оно покоится; оно само создает их себе².

¹ См. Introduction à la science sociale, ch. 1.

² На наш взгляд, этого довольно, чтобы ответить людям, надеющимся доказать, что все в социальной жизни индивидуально, так как общество состоит только из индивидов. Бесспорно, оно не имеет другого субстрата; но, поскольку индивиды образуют общество, возникают новые явления, которые имеют причиной ассоциацию и которые, реагируя на индивидуальные сознания, в большой мере формируют их. Вот почему — хотя общество ничто без индивидов — каждый из последних — скорее продукт общества, чем его автор.

Э. Дюркгейм

[ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ]¹

Прежде чем искать метод, пригодный для изучения социальных фактов, важно узнать, что представляют собой факты, носящие данное название.

Вопрос этот тем более важен, что данный термин обыкновенно применяют не совсем точно.

Им зачастую обозначают почти все происходящие в обществе явления, если только последние представляют какой-либо общий социальный интерес. Но при таком понимании не существует, так сказать, человеческих событий, которые не могли бы быть названы социальными. Каждый индивид пьет, спит, ест, рассуждает, и общество очень заинтересовано в том, чтобы все эти функции отправлялись регулярно. Если бы все эти факты были социальными, то у социологии не было бы своего собственного предмета, и ее область слилась бы с областью биологии и психологии. Но в действительности во всяком обществе существует определенная группа явлений, отличающихся резко очерченными свойствами от явлений, изучаемых другими естественными науками.

Когда я действую как брат, супруг или гражданин, когда я выполняю заключенные мною обязательства, я исполняю обязанности, установленные вне меня и моих действий правом и обычаями. Даже когда они согласны с моими собственными

чувствами и когда я признаю в душе их реальность, последняя остается все-таки объективной, так как я не сам создал их, а усвоил их благодаря воспитанию.

Как часто при этом случается, что нам неизвестны детали налагаемых на нас обязанностей, и для того чтобы узнать их, мы вынуждены справляться с кодексом и советоваться с его уполномоченными истолкователями! Точно так же верующий при рождении своем находит уже готовыми верования и обряды своей религии; если они существовали до него, то, значит, они существуют вне его. Система знаков, которыми я пользуюсь для выражения моих мыслей, денежная система, употребляемая мною для уплаты долгов, орудия кредита, служащие мне в моих коммерческих сношениях, обычаи, соблюдаемые в моей профессии, и т. д.— все это функционирует независимо от того употребления, которое я из них делаю. Пусть возьмут одного за другим всех членов, составляющих общество, и все сказанное может быть повторено по поводу каждого из них. Следовательно, эти способы мышления, деятельности и чувствования обладают тем примечательным свойством, что существуют вне индивидуальных сознаний.

Эти типы поведения или мышления не только находятся вне индивида, но и наделены принудительной силой, вследствие которой они навязываются ему независимо от его желания. Конечно, когда я добровольно сообразуюсь с ними, это принуждение, будучи бесполезным, мало или совсем не ощущается. Тем не менее оно является характерным свойством этих фактов, доказательством чего может служить то обстоятельство, что оно проявляется тотчас же, как только я пытаюсь сопротивляться. Если я пытаюсь нарушить нормы права, они реагируют против меня, препятствуя моему действию, если еще есть время; или уничтожая и восстанавливая его в его нормальной форме, если оно совершено и может быть исправлено; или же, наконец, заставляя меня искупить его, если иначе его исправить нельзя. Относится ли сказанное к чисто нравственным правилам?

¹ Дюркгейм Э. Метод социологии // О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991. С. 411—418.

Общественная совесть удерживает от всякого действия, оскорбляющего их, посредством надзора за поведением граждан и особых наказаний, которыми она располагает. В других случаях принуждение менее сильно, но все-таки существует. Если я не подчиняюсь условиям света, если я, одеваясь, не принимаю в расчет обычаев моей страны и моего класса, то смех, мною вызываемый, и то отдаление, в котором меня держат, производят, хотя и в более слабой степени, то же действие, что и наказание в собственном смысле этого слова. В других случаях имеет место принуждение, хотя и косвенное, но не менее действенное. Я не обязан говорить по-французски с моими соотечественниками или использовать установленную валюту, но я не могу поступить иначе. Если бы я попытался ускользнуть от этой необходимости, моя попытка оказалась бы неудачной.

Если я промышленник, то никто не заставляет меня работать, употребляя приемы и методы прошлого столетия, но если я сделаю это, я наверняка разорюсь. Даже если фактически я смогу освободиться от этих правил и успешно нарушить их, то я могу сделать это лишь после борьбы с ними. Если даже в конце концов они и будут побеждены, то все же они достаточно дают почувствовать свою принудительную силу оказываемым ими сопротивлением. Нет такого новатора, даже удачливого, предприятия которого не сталкивались бы с оппозицией этого рода.

Такова, стало быть, категория фактов, отличающихся весьма специфическими свойствами; ее составляют способы мышления, деятельности и чувствования, находящиеся вне индивида и наделенные принудительной силой, вследствие которой они ему навязываются. Поэтому их нельзя смешивать ни с органическими явлениями, так как они состоят из представлений и действий, ни с явлениями психическими, существующими лишь в индивидуальном сознании и через его посредство. Они составляют, следовательно, новый вид, и имто и должно быть присвоено название *социальных*. Оно им вполне подходит, так как ясно, что, не имея своим субстратом индивида, они не могут иметь другого суб-

страта, кроме общества, будь то политическое общество в целом или какие-либо отдельные группы, в нем заключающиеся: религиозные группы, политические и литературные школы, профессиональные корпорации и т. д. С другой стороны, оно применимо только к ним, так как слово “социальный” имеет определенный смысл лишь тогда, когда обозначает исключительно явления, не входящие ни в одну из установленных и названных уже категорий фактов. Они составляют, следовательно, собственную область социологии. Правда, слово “принуждение”, при помощи которого мы их определяем, рискует встретить ревностных сторонников абсолютного индивидуализма. Поскольку они признают индивида вполне автономным, то им кажется, что его унижают всякий раз, как дают ему почувствовать, что он зависит не только от самого себя. Но так как теперь несомненно, что большинство наших идей и стремлений не выработаны нами, а приходят к нам извне, то они могут проникнуть в нас, лишь заставив признать себя; вот все, что выражает наше определение. Кроме того, известно, что социальное принуждение не исключает непременно индивидуальность¹.

Но так как приведенные нами примеры (юридические и нравственные правила, религиозные догматы, финансовые системы и т. п.) все состоят из уже установленных верований и обычаев, то на основании сказанного можно было бы подумать, что социальный факт может быть лишь там, где есть определенная организация. Однако существуют другие факты, которые, не представляя собой таких кристаллизованных форм, обладают той же объективностью и тем же влиянием на индивида. Это так называемые социальные течения.

Так, возникающие в многолюдных собраниях великие движения энтузиазма, негодования, сострадания не зарождаются ни в каком отдельном сознании. Они приходят к каждому из нас извне и способны увлечь нас, вопреки нам самим. Конечно, может случиться, что, отдаваясь им вполне, я не буду чувствовать того давления, которое они оказывают на меня. Но оно проявится тотчас, как только я

¹ Это не значит, что всякое принуждение нормально. Мы к этому вернемся впоследствии.

попытаюсь бороться с ними. Пусть какой-нибудь индивид попробует противиться одной из этих коллективных манифестаций, и тогда отрицаемые им чувства обратятся против него. Если эта сила внешнего принуждения обнаруживается с такой ясностью в случаях сопротивления, то, значит, она существует, хотя не осознается, и в случаях противоположных. Таким образом, мы являемся жертвами иллюзии, заставляющей нас верить в то, что мы сами создали то, что навязано нам извне. Но если готовность, с какой мы впадаем в эту иллюзию, и маскирует испытанное давление, то она его не уничтожает. Так, воздух все-таки обладает весом, хотя мы и не чувствуем его. Даже если мы со своей стороны содействовали возникновению общего чувства, то впечатление, полученное нами, будет совсем другим, чем то, которое мы испытали бы, если бы были одни. Поэтому когда собрание разойдется, когда эти социальные влияния перестанут действовать на нас и мы останемся наедине с собой, то чувства, пережитые нами, покажутся нам чем-то чуждым, в чем мы сами себя не узнаем. Мы замечаем тогда, что мы их гораздо более испытали, чем создали. Случается даже, что они вызывают в нас ужас, настолько они были противны нашей природе. Так, индивиды, в обыкновенных условиях совершенно безобидные, соединяясь в толпу, могут вовлекаться в акты жестокости. То, что мы говорим об этих мимолетных вспышках, применимо также к тем более длительным движениям общественного мнения, которые постоянно возникают вокруг нас или во всем обществе или в более ограниченных кругах по поводу религиозных, политических, литературных, художественных и других вопросов.

Данное определение социального факта можно подтвердить еще одним характерным наблюдением, стоит только обратить внимание на то, как воспитывается ребенок. Если рассматривать факты такими, каковы они есть и всегда были, то нам бросится в глаза, что все воспитание заключается в постоянном усилии приучить ребенка видеть, чувствовать и действовать так, как он не привык бы самостоятельно. С самых первых дней его жизни мы принуждаем его есть, пить и спать в опреде-

ленные часы, мы принуждаем его к чистоте, к спокойствию и к послушанию; позднее мы принуждаем его считаться с другими, уважать обычаи, приличия, мы принуждаем его к работе и т. д. Если с течением времени это принуждение и перестает ощущаться, то только потому, что оно постепенно рождает привычки, внутренние склонности, которые делают его бесполезным, но заменяют его лишь вследствие того, что сами из него вытекают. Правда, согласно Спенсеру, рациональное воспитание должно было бы отвергать такие приемы и предоставлять ребенку полную свободу; но так как эта педагогическая теория никогда не практиковалась ни одним из известных народов, то она составляет лишь *desideratum* автора, а не факт, который можно было бы противопоставить изложенным фактам. Последние же особенно поучительны потому, что воспитание имеет целью создать социальное существо; на нем, следовательно, можно увидеть в общих чертах, как образовалось это существо в истории. Это давление, ежеминутно испытываемое ребенком, есть не что иное, как давление социальной среды, стремящейся сформировать его по своему образу и имеющей своими представителями и посредниками родителей и учителей.

Таким образом, характерным признаком социальных явлений служит не их распространенность. Какая-нибудь мысль, присущая сознанию каждого индивида, какое-нибудь движение, повторяемое всеми, не становятся от этого социальными фактами. Если этим признаком и довольствовались для их определения, то это потому, что их ошибочно смешивали с тем, что может быть названо их индивидуальными воплощениями. К социальным фактам принадлежат верования, стремления, обычаи группы, взятой коллективно; что же касается тех форм, в которые облекаются коллективные состояния, передаваясь индивидам, то это явления иного порядка. Двойственность их природы наглядно доказывается тем, что обе эти категории фактов часто встречаются в разъединенном состоянии. Действительно, некоторые из этих образов мыслей или действий приобретают вследствие повторения известную устойчивость, которая, так сказать, создает из них осадок и изолирует от отдельных событий, их отражающих. Они

как бы приобретают, таким образом, особое тело, особые свойственные им осязательные формы и составляют реальность *sui generis*, очень отличную от воплощающих ее индивидуальных фактов. Коллективная привычка существует не только как нечто имманентное ряду определяемых ею действий, но по привилегии, не встречаемой нами в области биологической, она выражается раз и навсегда в какой-нибудь формуле, повторяющейся из уст в уста, передающейся воспитанием, закрепляющейся даже письменно. Таковы происхождение и природа юридических и нравственных правил, народных афоризмов и преданий, догматов веры, в которых религиозные или политические секты кратко выражают свои убеждения, кодексов вкуса, устанавливаемых литературными школами и пр. Существование всех их не исчерпывается целиком применениями их в жизни отдельных лиц, так как они могут существовать и не будучи применяемы в настоящее время.

Конечно, эта диссоциация не всегда одинаково четко проявляется. Но достаточно ее неоспоримого существования в поименованных нами важных и многочисленных случаях, для того чтобы доказать, что социальный факт отличен от своих индивидуальных воплощений. Кроме того, даже тогда, когда она не дана непосредственно наблюдению, ее можно часто обнаружить с помощью некоторых искусственных приемов; эту операцию даже необходимо произвести, если желают освободить социальный факт от всякой примеси и наблюдать его в чистом виде. Так, существуют известные течения общественного мнения, вынуждающие нас с различной степенью интенсивности, в зависимости от времени и страны, одного, например, к браку, другого к самоубийству или к более или менее высокой детности и т. п. Это, очевидно, социальные факты. С первого взгляда они кажутся неотделимыми от форм, принимаемых ими в отдельных случаях. Но статистика дает нам средство изолировать их. Они в действительности изображаются довольно точно цифрой рождаемости, браков и самоубийств, т. е. числом, получающимся от деления среднего годового итога браков, рож-

дений, добровольных смертей на число лиц, по возрасту способных жениться, производить, убивать себя¹. Так как каждая из этих цифр охватывает без различия все отдельные случаи, то индивидуальные условия, способные сказываться на возникновении явления, взаимно нейтрализуются и вследствие этого не определяют этой цифры. Она выражает лишь известное состояние коллективной души.

Вот что такое социальные явления, освобожденные от всякого постороннего элемента. Что же касается их частных проявлений, то и в них есть нечто социальное, так как они частично воспроизводят коллективный образец. Но каждое из них в большой мере зависит также и от психо-органической конституции индивида, и от особых условий, в которых он находится. Они, следовательно, не относятся к собственно социологическим явлениям. Они принадлежат одновременно двум областям, и их можно было бы назвать социопсихическими. Они интересуют социолога, не составляя непосредственного предмета социологии. Точно так же и в организме встречаются явления смешанного характера, которые изучаются смешанными науками, как, например, биологической химией.

Но, скажут нам, явление может быть общественным лишь тогда, когда оно свойственно всем членам общества, или, по крайней мере, большинству из них, следовательно, при условии всеобщности. Без сомнения, однако, оно всеобще лишь потому, что социально (т. е. более или менее обязательно), а отнюдь не социально потому, что всеобще. Это такое состояние группы, которое повторяется у индивидов, потому что оно навязывается им. Оно находится в каждой части, потому что находится в целом, а вовсе не потому оно находится в целом, что находится в частях. Это особенно очевидно относительно верований и обычаев, передающихся нам уже вполне сложившимися от предшествующих поколений. Мы принимаем и усваиваем их, потому что они, как творение коллективное и вековое, облечены особым авторитетом, который мы вследствие воспитания привыкли уважать и признавать. А надо заметить, что огромное большинство соци-

¹ Не во всяком возрасте и не во всех возрастах одинаково часто прибегают к самоубийству.

альных явлений приходит к нам этим путем. Но даже тогда, когда социальный факт возникает отчасти при нашем прямом содействии, природа его все та же. Коллективное чувство, вспыхивающее в собрании, выражает не только то, что было общего между всеми индивидуальными чувствами. Как мы показали, оно есть нечто совсем другое. Оно есть результирующая совместной жизни, продукт действий и противодействий,

возникающих между индивидуальными сознаниями. И если оно отражается в каждом из них, то это в силу той особой энергии, которой оно обязано своему коллективному происхождению. Если все сердца бьются в унисон, то это не вследствие самопроизвольного и предустановленного согласия, а потому, что их движет одна и та же сила и в одном и том же направлении. Каждого увлекают все.

Л.С.Выготский

ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА¹

*Вечные законы природы превращаются
все более и более в исторические законы.
Ф. Энгельс*

1. Проблема

В процессе своего развития ребенок усваивает не только содержание культурного опыта, но приемы и формы культурного поведения, культурные способы мышления. В развитии поведения ребенка следует, таким образом, различать две основные линии. Одна — это линия естественного развития поведения, тесно связанная с процессами общеорганического роста и созревания ребенка. Другая — линия культурного совершенствования психологических функций, выработки новых способов мышления, овладения культурными средствами поведения.

Так, например, ребенок старшего возраста может запоминать лучше и больше, чем ребенок младшего возраста по двум совершенно различным причинам. Процессы запоминания проделали в течение этого срока известное развитие, они поднялись на высшую ступень, но по какой из двух линий шло это развитие памяти, — это может быть вскрыто только при помощи психологического анализа.

Ребенок, может быть, запоминает лучше потому, что развились и усовершенствовались нервно-психические процессы, лежащие в основе памяти, развилась орга-

ническая основа этих процессов, короче — “мнема” или “мнемические функции” ребенка. Но развитие могло идти и совершенно другим путем. Органическая основа памяти, или мнема, могла и не измениться за этот срок сколько-нибудь существенным образом, но могли развиться самые приемы запоминания, ребенок мог научиться лучше пользоваться своей памятью, он мог овладеть мнемотехническими способами запоминания, в частности — способом запоминать при помощи знаков.

В действительности всегда могут быть открыты обе линии развития, потому что ребенок старшего возраста запоминает не только больше, чем ребенок младшего, но он запоминает также иначе, иным способом. В процессе развития происходит все время это качественное изменение форм поведения, превращение одних форм в другие. Ребенок, который запоминает при помощи географической карты или при помощи плана, схемы, конспекта, может служить примером такого культурного развития памяти.

Есть все основания предположить, что культурное развитие заключается в усвоении таких приемов поведения, которые основываются на использовании и употреблении знаков в качестве средств для осуществления той или иной психологической операции; что культурное развитие заключается именно в овладении такими вспомогательными средствами поведения, которые человечество создало в процессе своего исторического развития, и какими являются язык, письмо, система счисления и др. В этом убеждает нас не только изучение психологического развития примитивного человека, но и прямые и непосредственные наблюдения над детьми.

Для правильной постановки проблемы культурного развития ребенка имеет большое значение выделенное в последнее время понятие детской примитивности. Ребенок-примитив — это ребенок, не проделавший культурного развития или стоящий на относительно низкой ступени этого развития. Выделение детской примитивности, как особой формы недо-

¹ *Выготский Л.С.* Проблема культурного развития ребенка // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 1991. N 4. С. 5—18.

развития, может способствовать правильному пониманию культурного развития поведения. Детская примитивность, т. е. задержка в культурном развитии ребенка, бывает связана большей частью с тем, что ребенок по каким-либо внешним или внутренним причинам не овладел культурными средствами поведения, чаще всего — языком.

Однако примитивный ребенок — здоровый ребенок. При известных условиях ребенок-примитив проделывает нормальное культурное развитие, достигая интеллектуального уровня культурного человека. Это отличает примитивизм от слабоумия. Правда, детская примитивность может сочетаться со всеми степенями естественной одаренности.

Примитивность, как задержка в культурном развитии, осложняет почти всегда развитие ребенка, отягченного дефектом. Часто она сочетается с умственной отсталостью. Но и при такой смешанной форме все же примитивность и слабоумие остаются двумя различными по своей природе явлениями, судьба которых также глубоко различна. Одно есть задержка органического или естественного развития, коренящаяся в дефектах мозга. Другое — задержка в культурном развитии поведения, вызванная недостаточным овладением средствами культурного мышления. Приведем пример:

Девочка 9 лет, вполне нормальна, примитивна. Девочку спрашивают: 1) В одной школе некоторые дети хорошо пишут, а некоторые хорошо рисуют, все ли дети в этой школе хорошо пишут и рисуют? — Ответ: Откуда я знаю, что я не видела своими глазами, то я не могу объяснить. Если бы я видела своими глазами. 2) Все игрушки моего сына сделаны из дерева, и деревянные вещи не тонут в воде. Могут потонуть игрушки моего сына или нет? — Ответ: Нет. — Почему? — Потому что дерево никогда не тонет, а камень тонет. Сама видела. 3) Все мои братья жили у моря, и все они умеют хорошо плавать. Все ли люди, которые живут около моря, умеют хорошо плавать или не все? — Ответ: Некоторые хорошо, некоторые совсем не умеют: сама видела. У меня есть двоюродная сестра, она не умеет плавать. 4) Почти все мужчины выше, чем женщины. Выше ли мой дядя, чем его жена, или нет? — Ответ: Не знаю. Если бы я видела,

то я бы сказала, если бы я видела вашего дядю: он высокий или низкий, то я сказала бы вам. 5) Мой двор меньше сада, а сад меньше огорода. Меньше ли двор, чем огород, или нет? — Ответ: Тоже не знаю. А как вы думаете: разве, если я не видела, я разве могу вам объяснить? А если я скажу большой огород, а если это не так?¹

Или другой пример: мальчик-примитив. Вопрос: Чем не похоже дерево и бревно? Ответ: Дерево не видал, ей-богу не видал, дерева не знаю, ей-богу не видал. Перед окном растет липа. На вопрос с указанием на липу — а это что? Ответ: Это липа.

Задержка в развитии логического мышления и в образовании понятий проистекает непосредственно из того, что дети не овладели еще достаточно языком, этим главным орудием логического мышления и образования понятий. “Наши многочисленные наблюдения доказывают, — говорит А. Петрова, из исследований которой мы заимствуем приведенные выше примеры, — что полная замена одного, неокрепшего, языка другим, также не завершенным, не проходит безнаказанно для психики. Эта замена одной формы мышления другою особенно понижает психическую деятельность там, где она и без того небогата”.

В нашем примере девочка, сменившая еще не окрепший татарский язык на русский, так и не овладела до конца умением пользоваться языком как орудием мышления. Она обнаруживает полное неумение пользоваться словом, хотя и говорит, т. е. умеет им пользоваться как средством сообщения. Она не понимает, как можно заключать на основании слов, а не на основании того, что она видела своими глазами.

Обычно обе линии психологического развития, естественного и культурного, сливаются так, что их бывает трудно различить и проследить каждую в отдельности. В случае резкой задержки одной какой-нибудь из этих двух линий происходит их более или менее явное разъединение, как это мы видим в случаях детской примитивности.

Эти же случаи показывают нам, что культурное развитие не создает чего-либо нового сверх и помимо того, что заключено, как возможность, в естественном раз-

¹ Петрова А.Н. Дети-примитивы // Вопросы педологии и детской психоневрологии / Под ред. М.О. Гуревича. М., 1926. Вып. 2.

витии поведения ребенка. Культура вообще не создает ничего нового сверх того, что дано природой, но она видоизменяет природу сообразно целям человека. То же самое происходит и в культурном развитии поведения. Оно также заключается во внутренних изменениях того, что дано природой в естественном развитии поведения.

Как еще показал Геффдинг, высшие формы поведения не располагают такими средствами и фактами, каких не было бы уже при низших формах этой самой деятельности. “То обстоятельство, что ассоциация представлений делается при мышлении предметом особого интереса и сознательного выбора, не может, однако, изменить законов ассоциаций; мышлению в собственном смысле точно так же невозможно освободиться от этих законов, как невозможно, чтобы мы какой-либо искусственной машиной устранили законы внешней природы; но психологические законы точно так же, как и физические, мы можем направить на служение нашим целям”.

Когда мы, следовательно, намеренно вмешиваемся в течение процессов нашего поведения, то это совершается только по тем же законам, каким подчинены эти процессы в своем естественном течении, точно так же, как только по законам внешней природы мы можем ее видоизменять и подчинять своим целям. Это указывает нам верное соотношение, существующее между культурным приемом поведения и примитивными его формами.

2. Анализ

Всякий культурный прием поведения, даже самый сложный, может быть всегда полностью и без всякого остатка разложен на составляющие его естественные нервно-психические процессы, как работа всякой машины может быть в конечном счете сведена к известной системе физико-химических процессов. Поэтому первой задачей научного исследования, когда оно подходит к какому-нибудь культурному приему поведения, является *анализ этого приема*, т.е. вскрытие его составных частей, естественных психологических процессов, образующих его.

Этот анализ, проведенный последовательно и до конца, всегда приводит к одно-

му и тому же результату, именно он показывает, что нет такого сложного и высокого приема культурного мышления, который бы не состоял в конечном счете из некоторых элементарных процессов поведения. Путь и значение такого анализа легче всего могут быть пояснены при помощи какого-нибудь конкретного примера.

В наших экспериментальных исследованиях мы ставим ребенка в такую ситуацию, в которой перед ним возникает задача запомнить известное количество цифр, слов или другой какой-либо материал. Если эта задача не превышает естественных сил ребенка, ребенок справляется с ней естественным или примитивным способом. Он запоминает, образуя ассоциативные или условно-рефлекторные связи между стимулами и реакциями.

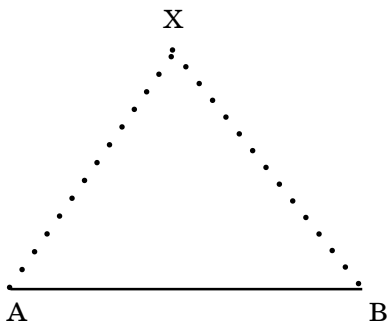
Ситуация в наших экспериментах, однако, почти никогда не оказывается такой. Задача, встающая перед ребенком, обычно превышает его естественные силы. Она оказывается не разрешимой таким примитивным и естественным способом. Тут же перед ребенком лежит обычно какой-нибудь совершенно нейтральный по отношению ко всей игре материал: бумага, булавки, дробь, веревка и т. д. Ситуация оказывается в данном случае очень похожей на ту, которую Келер создавал для своих обезьян. Задача возникает в процессе естественной деятельности ребенка, но разрешение ее требует обходного пути или применения орудия.

Если ребенок изобретает этот выход, он прибегает к помощи знаков, завязывая узелки на веревке, отсчитывая дробинки, прокалывая или надрывая бумагу и т. д. Подобное запоминание, основывающееся на использовании знаков, мы рассматриваем как типический пример всякого культурного приема поведения. Ребенок решает внутреннюю задачу с помощью внешних средств; в этом мы видим самое типическое своеобразие культурного поведения.

Это же отличает ситуацию, создаваемую в наших экспериментах, от ситуации Келера, которую сам этот автор, а за ним и другие исследователи пытались перенести на детей. Там задача и ее разрешение находились всецело в плане внешней деятельности. У нас — в плане внутренней. Там нейтральный объект приобретал

функциональное значение орудия, здесь — функциональное значение знака.

Именно по этому пути развития памяти, опирающейся на знаки, и шло человечество. Такая, мнемотехническая по существу, операция является специфически человеческой чертой поведения. Она невозможна у животного. Сравним теперь натуральное и культурное запоминание ребенка. Отношение между одной и другой формой может быть наглядно выражено при помощи приводимой нами схемы треугольника.



При натуральном запоминании устанавливается простая ассоциативная или условно-рефлекторная связь между двумя точками *A* и *B*. При мнемотехническом запоминании, пользуясь каким-либо знаком, вместо одной ассоциативной связи, *AB*, устанавливаются две другие, *AX* и *BX*, приводящие к тому же результату, но другим путем. Каждая из этих связей *AX* и *BX* является таким же условно-рефлекторным процессом замыкания связи в коре головного мозга, как и связь *AB*. Мнемотехническое запоминание, таким образом, может быть разложено без остатка на те же условные рефлексы, что и запоминание естественное.

Новым является факт замещения одной связи двумя другими. Новой является конструкция или комбинация нервных связей, новым является направление, данное процессу замыкания связи при помощи знака. Новыми являются не элементы, но структура культурного приема запоминания.

3. Структура

Второй задачей научного исследования и является выяснение структуры этого приема. Хотя всякий прием культурного поведения и составляется, как показывает анализ, из естественных психологических

процессов, однако он объединяет их не механически, а структурно. Это значит, что все входящие в состав этого приема процессы представляют собою сложное функциональное и структурное единство.

Это единство образует, во-первых, задача, на разрешение которой направлен данный прием, и, во-вторых, средство, при помощи которого он осуществляется. С точки зрения генетической мы совершенно верно назвали *первый* и *второй* моменты. Однако структурно именно второй момент является главенствующим и определяющим, так как одна и та же задача, разрешаемая различными средствами, будет иметь и различную структуру. Стоит только ребенку в описанной выше ситуации обратиться к помощи внешних средств для запоминания, как весь строй ее процессов будет определен характером того средства, которое он избрал.

Запоминание, опирающееся на различные системы знаков, будет различным по своей структуре. Знак, или вспомогательное средство культурного приема, образует таким образом структурный и функциональный центр, который определяет состав и относительное значение каждого частного процесса. Включение в какой-либо процесс поведения знака, при помощи которого он совершается, перестраивает весь строй психологических операций наподобие того, как включение орудия перестраивает весь строй трудовой операции.

Образующиеся при этом структуры имеют свои специфические закономерности. В них одни психологические операции замещаются другими, приводящими к тому же результату, но совершенно другим путем. Так, например, при мнемотехническом запоминании сравнение, догадка, оживление старой связи, иногда логическая операция становятся на службу запоминания. Именно структура, объединяющая все отдельные процессы, входящие в состав культурного приема поведения, превращает этот прием в психологическую функцию, выполняющую свою задачу по отношению к поведению в целом.

4. Генез

Однако структура эта не остается неизменной, и в этом заключается самое важное из всего, что мы сейчас знаем о куль-

турном развитии ребенка. Эта структура не создается извне. Она возникает закономерно на известной ступени естественного развития ребенка. Она не может быть навязана ребенку извне, но всегда возникает изнутри, хотя и складывается под решающим воздействием внешней среды. Раз возникши, она не остается неизменной, а подвергается длительному внутреннему изменению, которое обнаруживает все признаки развития.

Новый прием поведения не просто остается закрепленным, как известный внешний навык. Он имеет свою внутреннюю историю. Он включается в общий процесс развития поведения ребенка, и мы получаем поэтому право говорить о генетическом отношении, в котором одни структуры культурного мышления и поведения стоят к другим, о развитии приемов поведения. Это развитие, конечно, особого рода, глубоко отличное от развития органического, имеющее свои особые закономерности.

Схватить и верно выразить своеобразие этого типа развития представляет величайшие трудности. Мы попытаемся ниже набросать наметившуюся в экспериментальных исследованиях схему этого развития и сделать некоторые шаги, чтобы приблизиться к верному пониманию этого процесса. Бинэ, столкнувшийся в своих исследованиях с этими двумя типами развития, пытался решить задачу наиболее просто. Он исследовал память выдающихся счетчиков и при этом имел случай сравнить запоминание человека, обладающего действительно выдающейся памятью, с запоминанием человека, обладающего памятью самой заурядной, но не уступающего первому в деле запоминания огромного количества цифр.

Мнема и мнемотехника были, таким образом, впервые противопоставлены друг другу в экспериментальном исследовании и впервые была сделана попытка найти объективные различия этих двух по существу различных приемов памяти. Бинэ назвал свое исследование и самое явление, которому оно было посвящено, симуляцией памяти. Он полагает, что большинство психологических операций могут быть симулированы, т. е. замещены другими, которые напоминают их только по внешности и которые отличаются от них по природе. Такой симуляцией выдающейся па-

мяти представляется Бинэ мнемотехника, которую он в отличие от натуральной называет искусственной памятью.

Мнемотехник, которого исследовал Бинэ, запоминал при помощи простого приема. Он заменял числовую память словесной. Каждую цифру он заменял соответствующей буквой, буквы складывал в слова, из слов получались фразы, и, вместо бессвязного ряда цифр, ему оставалось запомнить и воспроизвести сочиненный им таким образом маленький роман. На этом примере легко видеть, в какой степени мнемотехническое запоминание приводит к *замещению* одних психологических операций другими. Именно этот основной факт и бросился в глаза исследователям, он же дал им повод говорить в данном случае о симуляции естественного развития.

Это определение едва ли можно признать счастливым. Оно верно указывает на то, что при внешне сходных операциях (оба счетчика запоминали и воспроизводили одинаково точно одинаковое количество цифр) по существу одна операция симулировала другую. Если бы это обозначение имело в виду выразить только *своеобразие второго* типа развития памяти, против него нельзя было бы спорить. Но оно вводит в заблуждение, заключая в себе ту мысль, что здесь имела место симуляция, т. е. обман. Это — практическая точка зрения, подсказанная специфическими условиями исследования субъектов, выступающих со своими фокусами с эстрады и поэтому склонных к обману. Это скорее точка зрения судебного следователя, чем психолога.

Ведь на деле, как это признает и Бинэ, подобная симуляция не есть просто обман; каждый из нас обладает своего рода мнемотехникой, и сама мнемотехника, по мнению этого автора, должна преподаваться в школах наравне со счетом в уме. Не хотел же этот автор сказать, что в школах должно преподаваться искусство симуляции.

Так же мало счастливым представляется нам обозначение этого типа культурного развития как фиктивного развития, т. е. приводящего только к фикции органического развития. Здесь опять верно выражается негативная сторона дела, именно то, что при культурном развитии поднятие функции на высшую ступень, повы-

шение ее деятельности основывается не на органическом, а на функциональном развитии, т. е. на развитии самого приема. Однако и это название закрывает ту несомненную истину, что в данном случае имеет место *не фиктивное, а реальное развитие особого типа*, обладающее своими особыми закономерностями.

Нам хотелось бы отметить с самого начала, что это развитие подвержено влиянию тех же двух основных факторов, которые участвуют и в органическом развитии ребенка, именно биологического и социального. Закон конвергенции внутренних и внешних данных, как его называет Штерн, всецело приложим и к культурному развитию ребенка. И здесь только на известной ступени внутреннего развития организма становится возможным усвоение того или иного культурного приема, и здесь внутренне подготовленный организм нуждается непременно в определяющем воздействии среды для того, чтобы это развитие могло совершиться. Так, на известной стадии своего органического развития ребенок усваивает речь, на другой стадии он овладевает десятичной системой.

Однако соотношение обоих факторов в этом типе развития существенно изменено. Хотя активная роль и здесь выпадает на долю организма, который овладевает представленными в среде средствами культурного поведения, но органическое созревание играет скорее роль *условия, чем двигателя процесса культурного развития*, потому что структура этого процесса определена извне. Большинство исследований до сих пор односторонне трактовало эту проблему. Так, например, мы имеем много исследований, посвященных выяснению того, как биологическое созревание ребенка обуславливает постепенное усвоение речи, но проблема обратного влияния речи на развитие мышления изучена очень мало. Все средства культурного поведения по самой своей природе социальны.

Ребенок, усваивающий русский или английский язык, и ребенок, усваивающий язык примитивного племени, овладевают в зависимости от среды, в которой протекает их развитие, двумя совершенно различными системами мышления. Если в какой-нибудь области положение о том, что поведение индивида есть функция поведе-

ния социального целого, к которому он принадлежит, имеет *полный смысл*, то это именно в сфере культурного развития ребенка. Это развитие как бы идет извне. Оно может быть определено скорее как экзо-, чем как эндорост. Оно является функцией социально-культурного опыта ребенка.

Третьей, и последней задачей в исследовании культурного развития ребенка и является выяснение *психогенеза культурных форм поведения*. Мы набросаем кратко схему этого процесса развития, как она наметилась в наших экспериментальных исследованиях. Мы постараемся показать, что культурное развитие ребенка проходит, если можно доверять искусственным условиям эксперимента, четыре основных стадии или фазы, последовательно сменяющие друг друга и возникающие одна из другой. Взятые в целом, эти стадии описывают полный круг культурного развития какой-либо психологической функции. Данные, полученные неэкспериментальным путем, вполне совпадают с намеченной нами схемой, прекрасно укладываются в нее, приобретают, распределяясь в ней, свой смысл и свое предположительное объяснение. Мы проследим кратко описание четырех стадий культурного развития ребенка так, как они последовательно сменяют друг друга в процессе простого эксперимента, описанного выше.

Первую стадию можно было бы назвать стадией примитивного поведения или примитивной психологии. В эксперименте она сказывается в том, что ребенок, обычно более раннего возраста, пытается соответственно мере своей заинтересованности запомнить предлагаемый ему материал естественным или примитивным способом. Сколько он при этом запоминает, определяется мерой его внимания, мерой его индивидуальной памяти, мерой его заинтересованности. Обычно только трудности, встречаемые на этом пути ребенком, приводят его ко *второй стадии*.

В нашем опыте это происходит обычно так. Или ребенок сам "открывает" мнемотехнический прием запоминания, или мы приходим на помощь ребенку, который не может справиться с задачей силами своей натуральной памяти. Мы раскладываем, например, перед ребенком картинки и подбираем слова для запоминания так,

чтобы они находились в какой-нибудь естественной связи с картинками. Ребенок, слушая слово, взглядывает на картинку, а затем легко воспроизводит весь ряд, так как картинки помимо его намерения напоминают ему только что прослушанные им слова.

Ребенок обычно очень быстро ухватывается за способ, к которому мы его подвели, но не зная обычно, *каким способом* картинки помогли ему припомнить слова, он ведет себя так. Когда ему вновь предъявляется ряд слов, он опять, на этот раз уже по своей инициативе, кладет около себя картинки, опять взглядывает на них, но так как связи на этот раз нет, а ребенок не знает, как использовать картинку для того, чтобы запомнить данное слово, он при воспроизведении, взглядывая на картинку, воспроизводит не то слово, которое было ему задано, а то, которое напоминает ему картинка.

Эту стадию условно называем мы *стадией "наивной психологии"* по аналогии с тем, что немецкие исследователи называют "наивной физикой" в поведении обезьян и детей при употреблении орудий. Употребление простейших орудий у детей предполагает наличие известного наивного физического опыта относительно простейших физических свойств своего собственного тела и тех объектов и орудий, с которыми ребенок имеет дело. Очень часто этот опыт оказывается недостаточным, и тогда "наивная физика" обезьяны или ребенка приводит его к неудаче.

Нечто подобное видим мы и в нашем эксперименте, когда ребенок уловил внешнюю связь между использованием картинок и запоминанием слов. Однако "наивная психология", т. е. накопленный им наивный опыт относительно собственных процессов запоминания, оказывается еще слишком незначительным для того, чтобы ребенок мог адекватно использовать картинку в качестве знака или средства для запоминания. Так точно, как в магическом мышлении примитивного человека связь мыслей принимается за связь вещей, так здесь у ребенка связь вещей принимается за связь мыслей. Если там магическое мышление обусловлено недостатком знания законов природы, то здесь оно обусловлено недостатком знания собственной психологии.

Эта вторая стадия играет обычно роль переходной. От нее ребенок обычно очень быстро в эксперименте переходит к третьей стадии, которую можно назвать *стадией внешнего культурного приема*. Ребенок после нескольких проб обычно обнаруживает, если его психологический опыт достаточно велик, в чем дело, научается правильно пользоваться карточкой. Теперь он заменяет процессы запоминания довольно сложной внешней деятельностью. Когда ему представляется слово, он выискивает из множества лежащих перед ним картинок ту, которая оказывается для него наиболее тесно связанной с заданным словом. При этом вначале он обычно старается использовать естественную связь, существующую между картинкой и словом, а затем довольно быстро переходит к созданию и образованию новых связей.

Однако и эта третья стадия длится в эксперименте сравнительно недолго и сменяется *четвертой стадией*, непосредственно возникающей из третьей. Внешняя деятельность ребенка при запоминании с помощью знака переходит во внутреннюю деятельность. Внешний прием как бы вращивается и становится внутренним. Проще всего наблюдать это тогда, когда ребенок должен запомнить предъявляемые ему слова, пользуясь картинками, разложенными в определенном порядке. После нескольких раз ребенок обычно "заучивает" уже и самые картинки и ему нет больше надобности прибегать к ним. Он связывает теперь задаваемое слово с *названием той картинки*, порядок которых он уже знает.

Такое "вращивание целиком" основывается на том, что внешние стимулы заменяются внутренними. Мнемотехническая карта, лежащая перед ребенком, стала его внутренней схемой. Наряду с этим приемом вращивания мы наблюдали еще несколько типов перехода третьей стадии в четвертую, из которых мы назовем только два главнейших.

Первый из них можно назвать вращиванием *по типу шва*. Подобно тому, как шов, соединяя две части органической ткани, очень быстро приводит к образованию соединительной ткани, так что сам шов становится более ненужным, подобно этому происходит и выключение знака, при помощи которого была опосредствована та или иная психологическая операция.

Легче всего это наблюдать при сложных реакциях выбора у ребенка, когда каждый из предъявляемых стимулов связывается с соответствующим ему движением при помощи вспомогательного знака, например, той же картинке. После ряда повторений знак становится более ненужным, стимул непосредственно вызывает соответствующую реакцию. Наши исследования в этом отношении всецело подтвердили то, что было найдено еще Леманом, который установил, что при сложной реакции выбора сначала вдвигаются между стимулом и реакцией названия, или другие какие-либо ассоциативные посредники. После упражнения эти промежуточные члены выпадают, реакция переходит в простую сенсорную, а затем в простую моторную форму. Время реакции у Лемана при этом падало с 300 до 240 и 140. Прибавим к этому, что то же самое явление, только в менее развернутом виде, наблюдалось исследователями и в процессе простой реакции, которая, как это показал Вундт, по мере упражнения падает до времени простого рефлекса.

Наконец, вторым типом перехода третьей стадии в четвертую, или вращивания внешнего приема внутрь, является следующий. Ребенок, усвоив *структуру* какого-нибудь внешнего приема, уже в дальнейшем строит внутренние процессы по этому типу. Он сразу начинает прибегать к внутренним схемам, начинает использовать в качестве знака свои воспоминания, прежние знания и т. д. В этом случае исследователя поражает, как однажды разрешенная задача приводит к правильному решению задач во всех аналогичных ситуациях при глубоко измененных внешних условиях. Здесь, естественно, вспоминаются такие же переносы, которые наблюдал Келер, у обезьяны, раз верно разрешившей стоявшую перед ней задачу.

Эти схематически намеченные нами четыре стадии являются только первой предположительной наметкой того пути, по которому идет развитие культурного поведения. Однако нам хотелось бы указать, что путь, намечаемый этой схемой, совпадает с некоторыми данными, имеющимися уже в психологической литературе по этому вопросу. Мы приведем три примера, обнаруживающих в главных чертах совпадение с этой схемой.

Первый — это развитие арифметических операций у ребенка. Первую стадию здесь образует натуральная арифметика ребенка, т. е. все его оперирование с количествами до того, как он умеет считать. Сюда входят непосредственно восприятие количеств, сравнение больших и меньших групп, опознавание какой-нибудь количественной группы, распределение по одному там, где надо разделить, и т. д.

Следующей, стадией “наивной психологии”, является та наблюдающаяся у всех решительно детей стадия, когда ребенок, зная внешние приемы счета, повторяет, подражая взрослым, — один, два, три, когда хочет что-либо сосчитать, но совершенно еще не знает, как именно при помощи чисел производится счет. На этой стадии находится девочка, описанная Штерном, которая на его просьбу сосчитать, сколько у него пальцев, ответила, что она умеет считать только свои. Третьей стадией является пора счета на пальцах, и четвертой — счет в уме, когда пальцы становятся более не нужны.

Так же легко располагается в этой схеме развитие памяти в детском возрасте. Три типа, намеченные Мейманом: механический, мнемотехнический и логический (дошкольный возраст, школьный и зрелый), явно совпадают с первой, третьей и четвертой стадиями нашей схемы. Мейман и сам, в другом месте, пытается показать, что эти три типа представляют собою генетический ряд, в котором один тип переходит в другой. С этой точки зрения логическая память взрослого человека и есть “вращенная внутрь” мнемотехническая память.

Если бы эти предположения хоть сколько-нибудь оправдались, мы получили бы новое доказательство тому, как важно применять историческую точку зрения в подходе к изучению высших функций поведения. Во всяком случае есть одно чрезвычайно веское обстоятельство, которое говорит в пользу этого предположения. Это прежде всего тот факт, что словесная память, т. е. запоминание чего-либо в словах, является памятью мнемотехнической. Напомним, что Компейрэ еще определял язык как мнемотехническое орудие. Мейман справедливо показал, что слова в отношении нашей памяти имеют двойную функцию. Они могут выступать или сами по себе, как материал памяти,

или в качестве знака, при помощи которого совершается запоминание.

Стоит еще напомнить установленную в экспериментах Бюлером независимость запоминания смысла от запоминания слов и важную роль, которую играет внутренняя речь в процессе логического запоминания, для того чтобы генетическое родство мнемотехнической и логической памяти выступало со всей ясностью через соединяющее их звено памяти словесной. Отсутствующая в схеме Меймана вторая стадия обычно, вероятно, проходит очень быстро в развитии памяти и поэтому ускользает от наблюдения.

Наконец, укажем и на то, что такая центральная проблема для истории культурного развития ребенка, как проблема развития речи и мышления, оказывается в согласии с нашей схемой. Эта схема, думается нам, позволяет нащупать верный подход к этой в высшей степени сложной и запутанной проблеме. Как известно, одни авторы считают речь и мышление совершенно различными процессами, из которых один служит выражением или внешним одеянием другого. Другие, наоборот, отождествляют мышление и речь и вслед за Мюллером определяют мысль как речь минус звук.

Что говорит по этому поводу история культурного развития ребенка? Она показывает, во-первых, что генетически мышление и речь имеют совершенно различные корни. Уже это одно должно предостеречь нас от поспешного отождествления того, что генетически оказывается различным. Как установило исследование, и в онто- и в филогенезе развитие речи и мышления идет до известного этапа независимыми путями. Доинтеллектуальные корни речи в филогенезе, как язык птиц и животных, были известны очень давно. Келеру удалось установить в филогенезе доречевые корни интеллекта. Точно так же доинтеллектуальные корни в онтогенезе речи, как крик и лепет ребенка, были известны давно. Келеру, Бюлеру и другим удалось и в развитии ребенка установить доречевые корни интеллекта. Эту пору первого проявления интеллектуальных действий у ребенка, предшествующую образованию речи, Бюлер предложил называть шимпанзеподобным возрастом.

Самым замечательным в интеллектуальном поведении обезьян и ребенка этого возраста является независимость интеллекта от речи. Именно это обстоятельство приводит Бюлера к заключению, что интеллектуальное поведение в форме “инструментального мышления” предшествует образованию речи <...>.

В известный момент обе линии развития пересекаются, перекрещиваются. Этот момент в развитии ребенка Штерн назвал величайшим открытием, которое делает ребенок в своей жизни. Именно, он открывает “инструментальную функцию” слова. Он открывает, что “каждая вещь имеет свое имя” <...>. Этот перелом в развитии ребенка сказывается объективно в том, что ребенок начинает *активно* расширять свой словарь, спрашивая о каждой вещи: как это называется. Бюлер, а вслед за ним Коффка указывают, что с психологической стороны существует полная параллель между этим открытием ребенка и изобретениями обезьян. Функциональное значение слова, открываемое ребенком, подобно функциональному значению палки, открываемому обезьяной. Слово, говорит Коффка, входит в структуру вещи так, как палка в ситуацию “стремления получить плод”.

Следующим наиболее важным этапом в развитии мышления и речи является переход внешней речи во внутреннюю. Когда и как совершается этот важнейший процесс развития внутренней речи? Исследования Пьяже над эгоцентризмом детской речи позволяют, думается нам, дать ответ на этот вопрос. Пьяже показал, что речь становится психологически внутренней прежде, нежели она становится внутренней физиологически. Эгоцентрическая речь ребенка является внутренней речью по психологической функции (это — речь для себя) и внешней по форме. Она есть переходная форма от внешней речи к внутренней, и в этом ее огромное значение для генетического изучения. Коэффициент эгоцентрической речи резко падает на границе школьного возраста (с 0,50 до 0,25). Это указывает, что именно в эту пору совершается переход внешней речи во внутреннюю.

Нетрудно заметить, что *три главных этапа в развитии мышления и речи, как они нами намечены, вполне отвечают трем основным стадиям культурного развития, как они последовательно*

проявляются в эксперименте. Доречевое мышление отвечает в этой схеме первой стадии натурального или примитивного поведения. “Величайшее открытие в жизни ребенка”, — как указали Бюлер и Коффка, представляет полную параллель с изобретением орудий, следовательно, соответствует третьей стадии нашей схемы. Наконец, переход внешней речи во внутреннюю, эгоцентризм в детской речи, составляет переход из третьей в четвертую стадию, означающий превращение внешней деятельности во внутреннюю.

5. Метод

Своеобразие культурного развития ребенка требует применения соответствующего метода исследования. Этот метод можно было бы условно назвать “инструментальным”, так как он основан на раскрытии “инструментальной функции” культурных знаков в поведении и его развитии.

В плане экспериментального исследования этот метод опирается на *функциональную методику двойной стимуляции*, сущность которой сводится к организации поведения ребенка при помощи двух рядов стимулов, из которых каждый имеет различное “функциональное значение” в поведении. При этом неизменным условием разрешения стоящей перед ребенком задачи является “инструментальное употребление” одного ряда стимулов, т. е. использование его в качестве вспомогательного средства для выполнения той или иной психологической операции.

Есть основание полагать, что изобретение и употребление этих знаков в качестве вспомогательных средств при разрешении какой-либо задачи, стоящей перед ребенком, с *психологической точки зрения* представляют структуру поведения, сходную с изобретением и употреблением орудий.

Внутри общего отношения стимул — реакция, лежащего в основе обычной методики психологического эксперимента, следует еще, с точки зрения развитых здесь мыслей, различать двоякую функцию, выполняемую стимулом по отношению к поведению. Стимул может играть в одном случае роль объекта, на который направлен акт поведения, разрешающий ту или иную задачу, стоящую перед ребенком (запом-

нить, сравнить, выбрать, оценить, взвесить что-либо); в другом случае — роль средства, при помощи которого мы направляем и осуществляем необходимые для разрешения задачи психологические операции (запоминания, сравнения, выбора и т.п.). В обоих случаях функциональное отношение между актом поведения и стимулом существенно разное. В обоих случаях стимул совершенно по-разному, совершенно своеобразным способом определяет, обуславливает и организует наше поведение. Своеобразием психологической ситуации, создаваемой в наших экспериментах, является одновременное наличие стимулов одного порядка, из которых каждый играет качественно и функционально иную роль.

Выраженное в наиболее общей форме основное допущение, лежащее в основе этого метода, гласит: ребенок в овладении собой (своим поведением) идет в общем тем же путем, что и в овладении внешней природой, т. е. извне. Человек овладевает собой как одной из сил природы, извне — при помощи особой культурной техники знаков. Положение Бэкона о руке и интеллекте могло бы служить девизом всех подобных исследований:

Nec manus nuda, nec intellectus sibi permis sus multum valet; instrumentis et auxiliis res perficitur (“Ни голая рука, ни предоставленный самому себе разум не имеют большой силы; дело совершается орудиями”).

Этот метод, по самому своему существу, является методом историко-генетическим. В исследование он вносит историческую точку зрения: “Поведение может быть понято только как история поведения” (Блонский). Это положение является исходной точкой всего метода.

Применение этого метода возможно в плане: а) *анализа* состава культурного приема поведения, б) *структуры* этого приема как целого и как функционального единства всех входящих в его состав процессов, в) *психогенеза* культурного поведения ребенка. Метод этот является не только ключом к пониманию высших, возникающих в процессе культурного развития форм поведения ребенка, но и путем к практическому овладению ими в воспитании и школьном обучении.

Этот метод опирается как на свою основу на естественнонаучные методы изучения

поведения, в частности — на метод условных рефлексов. Своеобразие его заключается в изучении сложных функциональных структур поведения и их специфических закономерностей. Объективность — вот что роднит его с естественнонаучными методами изучения поведения. В исследовании он пользуется объективными средствами психологического эксперимента. При исследовании высших функций поведения, складывающихся из сложных внутренних процессов, этот метод пытается экспериментально вызвать самый процесс образования высших форм поведения, вместо того чтобы изучать сложившуюся уже функцию в ее развитом виде. При этом особенно благоприятной для изучения оказывается третья стадия — внешнего культурного приема поведения.

Связывая сложную внутреннюю деятельность с деятельностью внешней, заставляя, например, ребенка при запоминании выбирать и раскладывать карточки, при образовании понятий — передвигать и распределять фигуры и пр., мы создаем внешний, объективный ряд реакций, фун-

кционально связанный с внутренней деятельностью и служащий отправной точкой для объективного исследования. Мы поступаем при этом так, как — допустим сравнение — поступил бы тот, кто хотел бы проследить путь, который проходит рыба в глубине от той точки, где она погружается в воду, до той, где она снова всплывает на поверхность. Мы набрасываем веревочную петлю на рыбу и по движению того конца веревки, который мы держим в руках, стараемся восстановить кривую этого пути. В наших экспериментах мы также все время стараемся держать в своих руках внешнюю нить от внутреннего процесса.

Примерами применения этого метода могут служить произведенные автором и по его почину экспериментальные исследования памяти, счета, образования понятий и других высших функций поведения у детей. Эти исследования мы надеемся опубликовать особо. Здесь мы хотели только в самом сжатом очерке представить проблему культурного развития ребенка.

А.Р.Лурия

КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ¹

Мы никоим образом не были первыми, кто понял, что сравнение интеллектуальной деятельности людей разных культур может дать ценную информацию о происхождении и организации интеллектуальной деятельности человека. В течение ряда десятилетий, прежде чем я встретился с Л. С. Выготским, в психологии широко обсуждался вопрос, различны ли основные интеллектуальные способности у взрослых людей, которые выросли в разных культурных условиях. Еще в начале столетия Дюркгейм считал, что процессы мышления не являются результатом естественной эволюции или проявлением внутренней духовной жизни, а формируются обществом. Идеи Дюркгейма вдохновили многих исследователей. Среди них следует выделить французского психолога Пьера Жанэ, считавшего, что сложные формы памяти, а также представления о пространстве, времени и числе являются продуктом конкретной истории общества, а не являются категориями, имманентно присущими мышлению, как полагала идеалистическая психология.

В 20-е гг. эти дебаты сконцентрировались на двух проблемах: изменяется ли в зависимости от культуры содержание мышления, т. е. основные категории, используемые для описания опыта, и различаются ли в зависимости от культуры

основные интеллектуальные функции человека. Люсьен Леви-Брюль, имевший большое влияние на психологов того времени, считал, что мышление неграмотных людей подчиняется иным правилам, чем мышление образованных людей. Он охарактеризовал “примитивное” мышление как “дологичное” и “хаотично организованное”, не воспринимающее логических противоречий и допускающее, что естественными явлениями управляют мистические силы.

Противники Леви-Брюля, например, английский этнограф-психолог В. Х. Риверс, напротив, полагали, что интеллект человека “примитивной” культуры в своей основе не отличается от интеллекта современного образованного человека, живущего в технически развитом обществе. По мнению Риверса, люди, живущие в примитивных условиях, мыслят по тем же логическим законам, что и мы. Основное различие мышлений заключается в том, что они обобщают факты внешнего мира в иные категории, отличные от привычных для нас. Различные представители гештальтпсихологии также занимались проблемой “примитивного” мышления. Так, Хейнц Вернер подчеркивал разницу мышления современного взрослого и “примитивного” человека. Он говорил о “структурной общности” мышления “примитивного” человека, ребенка и умственно неполноценного взрослого и рассматривал недифференцированное “синкретическое” мышление как характерную черту их познавательной деятельности. Другие представители гештальтпсихологии также предполагали существование общих свойств мышления у людей всех культур. Они считали, что принципы восприятия и мышления, такие, как “замкнутость” или “хорошая форма”, являются универсальными категориями мышления.

Эта дискуссия представляла для нас огромный интерес, хотя обсуждение проводилось при отсутствии каких бы то ни было психологических данных. Материалы, на которые опирался Леви-Брюль, а также его антропологические и социологические критики, были не более чем забавные истории, собранные путешествен-

¹ Лурия А.Р. Этапы пройденного пути: Научная автобиография. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. С. 47—69.

никами и миссионерами во время своих путешествий в дальние страны, где они контактировали с экзотическими народами. Профессиональный антропологический подход еще только разрабатывался, так что необходимых сведений, являющихся результатом научных наблюдений, фактически не было. Существовало только небольшое число исследований сенсорных процессов у “примитивных” народов, проведенных в начале столетия профессиональными психологами. Однако эти материалы не имели прямого отношения к спорным вопросам, касающимся высшей, а не элементарной познавательной деятельности.

Не лучше обстояло дело и в области психологической теории. Старое разделение психологии на два раздела — естественный (объяснительный) и феноменологический (описательный) — отнимало у психологов единую концепцию, в пределах которой они могли бы изучать влияние культуры на развитие мышления. Теория Л. С. Выготского обеспечивала это необходимое единство, но у нас не было данных для проверки наших идей.

Мы задумали провести широкое исследование интеллектуальной деятельности взрослых людей, принадлежащих к технически отсталому, неграмотному, “традиционному” обществу. В то время в отдаленных районах нашей страны шли быстрые культурные преобразования, и мы надеялись проследить изменения в процессах мышления, являющиеся следствием общественных перемен. Начало 30-х гг. в нашей стране было очень подходящим временем для осуществления этих экспериментов. В то время с введением коллективизации и механизации сельского хозяйства во многих сельских районах шли быстрые изменения. Мы могли бы проводить работу в отдаленных русских деревнях, однако избрали для своих исследований поселки и стоянки кочевников Узбекистана и Киргизии, где огромные различия прошлой и современной культуры обещали дать максимальную возможность для наблюдения за изменениями основных форм и содержания мышления людей. С помощью Л. С. Выготского я составил план научной экспедиции в эти районы.

Узбекистан по праву гордится высокой древней культурой, выдающимися дости-

жениями в области науки и поэзии, связанными с такими личностями, как Улугбек, математик и астроном, оставивший замечательную обсерваторию под Самаркандом, философ Аль-Бируни, врач Авиценна, поэты Саади и Низами и др. Однако в течение многих веков народные массы оставались неграмотными и большей частью изолированными от этой высокой культуры. Они жили главным образом в деревнях, полностью зависели от богатых землевладельцев и всемогущих феодалов. Их основным занятием было хлопководство. В горных районах Киргизии, прилегающих к Узбекистану, превалировало скотоводство. Консервативное учение религии ислама имело огромное влияние на население и изолировало женщин от участия в общественной жизни.

После революции в этих районах произошли глубокие социально-экономические и культурные изменения. Старая классовая структура общества распалась, во многих деревнях были открыты школы, и возникли новые формы производственной, общественной и экономической деятельности. Наблюдаемый нами период был периодом коллективизации сельского хозяйства и других радикальных социально-экономических перемен, а также эмансипации женщин. Так как этот период был переходным, мы смогли сравнивать как малоразвитые, неграмотные группы населения, живущие в деревнях, так и группы, уже вовлеченные в современную жизнь, испытывающие на себе влияние происходящей общественной перестройки.

Никто из наблюдаемых нами людей не получил высшего образования. При этом они заметно различались по своей практической деятельности, способам общения и культурным взглядам. Наши испытуемые делились на пять групп:

1. Женщины, живущие в отдаленных деревнях, неграмотные и не вовлеченные в какую-либо современную общественную деятельность. В то время, когда мы проводили свое исследование, число таких женщин было еще значительным. Беседы с ними проводили женщины, так как только они имели право входить в женскую часть помещения.

2. Крестьяне, живущие в отдаленных деревнях, еще не вовлеченные в общественный труд и продолжавшие вести инди-

видуальное хозяйство. Эти крестьяне были неграмотны.

3. Женщины, посещавшие краткосрочные курсы воспитательниц детских садов. Как правило, в прошлом они не получили никакого формального образования и были почти неграмотны.

4. Активные члены колхоза и молодежь, окончившая краткосрочные курсы. Они занимали должности председателей колхозов, руководителей в разных областях сельского хозяйства или бригадиров; имели значительный опыт планирования производства, распределения труда и учета продукции. Работая совместно с другими членами колхоза, они приобрели гораздо более широкие взгляды, чем крестьяне-единоличники. Но они посещали школу лишь в течение короткого времени и многие из них были малограмотными.

5. Женщины-студентки, принятые в учительский техникум после двух или трехлетнего обучения. Однако их образовательный уровень был все еще довольно низок. Только последние три группы благодаря своему участию в социалистическом хозяйстве приобщились к новым формам общественных отношений и к новым жизненным принципам, что должно было привести к радикальному изменению содержания и формы их мышления. Эти социальные изменения дали им возможность соприкоснуться с техническими знаниями, грамотностью и другими формами культуры.

Первые же две группы в значительно меньшей степени испытывали влияние условий, которые были необходимы для основательного психологического сдвига, поэтому мы ожидали, что они проявят преобладание тех форм мышления, которые возникают из элементарных форм деятельности, направляемой физическими характеристиками знакомых предметов. Мы также предполагали, что на их мышление окажет влияние и общение, необходимое для людей, занимающихся плановым, коллективизированным сельским хозяйством. Сравнивая процессы умственной деятельности представителей этих групп, мы рассчитывали увидеть изменения, вызванные культурной и социально-экономической перестройкой жизненного уклада.

Методы исследования, соответствующие нашим задачам, должны были вклю-

чать нечто большее, чем простое наблюдение. Мы собирались проводить тщательно разработанный экспериментальный опрос и давать испытуемым специальные задания, однако подобное исследование неминуемо должно было встретиться с рядом трудностей. Возможность проводить кратковременные психологические эксперименты в полевых условиях была в высшей степени проблематична. Мы опасались, что если мы будем давать испытуемым необычные задачи, не имеющие отношения к их привычной деятельности, то это может вызвать у них смущение или подозрительность. Изолированные тесты, проведенные в такой обстановке, могут дать информацию, искажающую действительные способности испытуемых. Поэтому мы начали прежде всего с установления контакта с будущими испытуемыми. Мы пытались наладить с ними дружеские отношения для того, чтобы экспериментальные задания казались им естественными и ничем не угрожающими. В особенности мы заботились о том, чтобы материалы тестов были тщательно продуманы.

Как правило, эксперименты начинались с долгих разговоров в спокойной атмосфере чайной, где жители деревень проводили большую часть своего свободного времени, или на полевых станах, или на горных пастбищах вокруг вечернего костра. Эти разговоры часто велись с группами людей. Даже когда беседы проводились с одним человеком, вокруг экспериментатора собиралась группа из двух или трех человек, которые внимательно прислушивались к беседе, иногда вставляя свои замечания или комментируя ответы испытуемого. Часто беседа принимала форму свободного обмена мнениями, и тогда проблема могла решаться одновременно двумя или тремя испытуемыми, причем каждый из них предлагал свой ответ. Только постепенно экспериментаторы начинали вводить специально подготовленные задания, похожие на "загадки", знакомые местным жителям и поэтому кажущиеся естественным продолжением беседы. Если испытуемый решал предложенную задачу, экспериментатор проводил с ним своего рода "клиническую" беседу, чтобы определить, каким образом он пришел к решению и что он подразумевал под тем или другим отве-

том. Ответ испытуемого обычно вызывал дополнительные вопросы, и тогда начиналась своего рода дискуссия. Чтобы меньше смущать собеседников во время свободного разговора, который велся на узбекском языке, экспериментатор поручал запись результатов своему помощнику, который обычно садился вблизи от беседующих и старался не привлекать к себе внимание. Он делал записи в течение всей процедуры. Позднее он обрабатывал свои записи и переписывал их начисто. Эта трудоемкая процедура (даже после короткого эксперимента) занимала половину дня, однако иначе нельзя было вести эксперименты в полевых условиях.

Мы также старались сделать содержание задач, предъявляемых испытуемым, возможно более естественным. Было бы нелепо предлагать им задачи, никак не связанные с их обычной жизнью. Поэтому мы не применяли стандартные психометрические тесты. Вместо этого мы пользовались специально разработанными тестами, которые испытуемые воспринимали как вполне осмысленные и которые могли иметь несколько решений, причем каждое из этих решений демонстрировало какой-то аспект познавательной деятельности. Например, способность распределять объекты по категориям — мы исследовали, что этот тип задач можно было решить или функционально-графическим способом, связанным на внешнем виде или функциональном значении объекта, или абстрактным, категориальным способом. Испытуемый мог решать дедуктивные задачи, т. е. приходиться к соответствующему выводу, либо используя лишь то, что ему известно из его собственного опыта, либо пользуясь той информацией, которая заключена в задаче и выходит за пределы его собственного опыта.

Мы также вводили в занятия задачи на обучение. Предлагая испытуемым свою помощь в решении трудной задачи, мы старались показать и способы решений данной задачи, а затем предлагали решать другие, подобные этой. Таким образом, мы могли установить, как испытуемые включают новые способы решения задач в свой репертуар умственной деятельности.

Мы проверяли основную гипотезу о зависимости познавательных процессов от социального и культурного опыта испы-

туемых. Сначала мы изучали, каким образом испытуемые на лингвистическом уровне кодируют такие основные категории своего визуального опыта, как цвет и форма; затем изучали процессы классификации и абстрагирования. И наконец, мы анализировали такую сложную познавательную деятельность, как решение словесных задач и самоанализ. В каждой из этих областей эксперимента мы обнаружили зависимость организации познавательной деятельности от уровня общественной организации трудовой жизни.

Основной факт в области перцептивных процессов заключался в том, что способы обозначения и группировки геометрических фигур, занумерованных для облегчения идентификации, у разных групп испытуемых были различны (рис. 1).

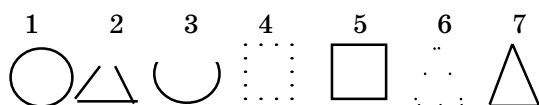


Рис. 1

Женщины и крестьяне, живущие в отдаленных кишлаках (группы 1,2), давали следующие типичные обозначения этих фигур:

- 1) тарелка;
- 2) палатка;
- 3) браслет;
- 4) бусы;
- 5) зеркало;
- 6) часы;
- 7) подставка для чайника.

Более грамотные испытуемые, получившие начальные знания, знакомые с колхозной техникой (группы 3,4), большей частью давали фигурам геометрические названия, а женщины из школы по подготовке учителей (группа 5) пользовались только последними.

Различия в назывании фигур сопровождалась различиями и в классификации этих фигур, в определении их как одинаковых. Для крестьян, не участвующих в общественных формах труда, основным способом группировки было конкретное сходство, поэтому фигуры 2 и 7 считались подобными, так как “и то и другое — оконные рамы”; а 6 и 4 были часами, но 3, 1, 5 не имели никакого сходства между собой.

Особенно нас заинтересовало то, что испытуемые отвергали наши утверждения о том, что такие фигуры, как 1 и 3, схожи между собой. Надо отметить, что эти фигуры очень похожи на те, которые использовали гештальтпсихологи, чтобы продемонстрировать так называемые всеобщие законы восприятия. В своих экспериментах, в которых, как правило, участвовали образованные испытуемые, они пришли к выводу, что такие фигуры обычно группируются вместе, потому что обе они являются “представителями” абстрактного класса окружностей. Их испытуемые игнорировали “индивидуальные” черты этих фигур и учитывали лишь основную — принадлежность к одному “геометрическому классу” и на этой основе приходили к решению. Отсталые крестьяне в наших экспериментах не видели сходства в этих фигурах, так как они воспринимали их как предметы из своего обихода и соответственным образом пытались обозначать их. “Нет, совсем они не похожи, — сказал один крестьянин, — потому что первая — это монета, а вторая — луна”. Конечно, имеющие начальное образование испытуемые классифицировали эти фигуры, руководствуясь их общей конфигурацией, но мы более не могли приписывать этот способ классификации какому-то “универсальному закону восприятия”. Категориальное восприятие объектов, например, восприятие формы, отражает исторически развившийся и унаследованный способ классификации предметов в окружающем нас мире. Более образованные испытуемые могут классифицировать объекты, основываясь на одном “идеальном” их свойстве, но это не является естественным законом человеческого восприятия.

Эту проблему можно поставить иначе. Человек может различить три миллиона различных оттенков, но существует только шестнадцать или двадцать названий цветов. Означает ли это, что восприятие и классификация оттенков изменяются в связи с наличием названий самых различных цветов в языке испытуемого? Имеют ли язык и соответствующие виды практической деятельности с цветами решающее значение для их восприятия и классификации? Мы исследовали восприятие и классификацию цветов различными группами испытуемых и

получили результаты, совпадающие с результатами наших исследований восприятия геометрических фигур.

Мы просили испытуемых различных групп называть и классифицировать мотки окрашенной шерсти. Необразованные испытуемые, в особенности женщины, многие из которых были отличными ткачихами, пользовались очень малым количеством категориальных названий цветов. Вместо этого они называли окрашенные мотки шерсти названиями сходно окрашенных предметов из их окружения. Например, разные оттенки зеленого они обозначали названиями разных растений: “цвет травы весной”, “цвет тутовых листьев летом”, “цвет молодого горошка”. Когда этим испытуемым предлагали сложить вместе одинаково окрашенные нитки, многие категорически отказывались делать это, говоря, что каждый моток ниток отличается от другого. Некоторые испытуемые раскладывали их по порядку переходящих друг в друга оттенков. Такого типа изолированное восприятие отдельных мотков шерсти отсутствовало у испытуемых других экспериментальных групп, которые руководились категориальными названиями цветов, и легко группировали похожие цвета.

Следующая серия наших опытов была посвящена классификации предметов. В отличие от набора различно окрашенных мотков шерсти или изображений геометрических фигур предметы, окружающие нас в повседневной жизни, трудно разделить на категории на основе какой-то общей физической черты. Их можно классифицировать на категории многими способами, и нас интересовала сущность этой категоризации.

Исследуя динамику развития ребенка, Л.С.Выготский установил различные типы категорий, используемые детьми разного возраста. На ранних этапах развития ребенка слова не являются организующим фактором в том, как ребенок категоризирует свой опыт. На следующем этапе категоризации ребенок начинает сравнивать предметы по одному их физическому свойству, например, по цвету, форме или размеру. Но во время сравнения ребенок быстро забывает о свойстве, которое он первоначально избрал как основу классификации, и переключается

на другое свойство. В результате он часто собирает группу предметов, не обладающих только одним общим признаком. Логическая основа таких группировок часто представляет собой целый комплекс признаков, объединенных общей ситуацией. Предметы объединены общей ситуацией, в которой каждый из них участвует индивидуально. Примером подобной группировки может быть категория “еда”, куда ребенок включает “стул”, чтобы сидеть за столом, “скатерть”, чтобы покрыть стол, “нож”, чтобы резать хлеб, “тарелку”, чтобы положить хлеб, и т. д.

Детерминирующим фактором классификации предметов в ситуационные комплексы этого рода является не определенное понятие, выраженное в слове, а, скорее, функционально-образное восприятие объектов и их взаимоотношений, наблюдаемое в реальной жизни. Л.С.Выготский установил, что группирование предметов по ситуационному принципу типично для дошкольников и младших школьников.

Дети старшего и особенно юношеского возраста перестают обобщать объекты на основе непосредственных впечатлений. Основой классификации становятся тогда некоторые очевидные свойства предметов. Каждый предмет включается в определенную категорию. Создаются системы объектов, объединенных в разные категории; развивается иерархическая понятийная схема, выражающая различную “степень общности” объектов. Например, роза — цветок, цветок — растение, растение — часть органического мира. Когда человек переходит к такому способу мышления, он прежде всего сосредоточивается на “категориальных” взаимоотношениях между объектами, а не на конкретных способах, которыми они взаимодействуют в реальных ситуациях.

Легко понять, что психологические закономерности, управляющие таким понятийным мышлением, резко отличаются от закономерностей построения обобщений на базе конкретного опыта. Категориальное мышление является не просто отражением личного опыта, оно отражает общественный опыт, выраженный посредством речевой системы. Таким образом, по мере овладения языком, грамотой функционально-образные операции мышления заменяются семантическими и ло-

гическими операциями, в которых слова становятся основным средством абстрагирования и обобщения.

Мы полагали, что поскольку отвлеченное мышление является продуктом теоретической деятельности, которой обучают в школе, сложные формы абстракции и обобщения будут обнаружены только у тех испытуемых, которые получили какое-то формальное образование. Однако большинство наших испытуемых получили лишь начальное образование или совсем не посещали школу, и нас интересовали принципы, которыми они будут руководствоваться при группировании предметов, встречающихся им в повседневной жизни.

Почти все испытуемые внимательно выслушивали инструкции и охотно принимались за работу. Однако обычно вместо попыток подобрать “сходные предметы” они принимались отбирать предметы, “подходящие для определенной цели”. Другими словами, они заменяли теоретическую задачу практической. Эта тенденция стала очевидной с самого начала нашей экспериментальной работы, когда испытуемые начали отбирать изолированные предметы и называть их индивидуальные функции. Например, “этот предмет” был необходим, чтобы выполнить одну работу, а “тот” — для другой работы. Они не видели никакой необходимости сравнивать и группировать все предметы и разносить их по особым категориям. Позднее, в результате обсуждений и различных наводящих вопросов, многие из испытуемых преодолели эту тенденцию. Однако даже тогда они были склонны рассматривать задачу, как практическую, группируя предметы согласно их роли в определенной ситуации, вместо того чтобы совершать теоретическую операцию, располагая их по категориям согласно их общему признаку. В результате каждый испытуемый группировал предметы идиосинкразическим путем, в зависимости от той образной ситуации, которую он себе представлял. Конкретные группы, создававшиеся нашими испытуемыми на базе этого “ситуационного” мышления, были очень стабильны. Когда мы пытались предложить испытуемым другой способ классификации предметов, основанный на абстрактных принципах, они обычно отвергали его на том основании,

что такой подход не отражает присущие предметам связи и что человек, занимающийся подобной группировкой, просто “глуп”. Лишь в редких случаях они признавали возможность применения такого способа классификации, но тогда они действовали очень неохотно, уверенные, что подобная группировка не имеет большого значения. Имеющей важное значение была для них лишь классификация, основанная на практическом опыте.

Следующий пример иллюстрирует тип рассуждений, с которыми нам пришлось встретиться.

Рахмату, неграмотному крестьянину тридцати одного года из отдаленного района, показали рисунок молотка, пилы, полена и топора. “Какие предметы похожи? И что лишнее?” — спросили его. “Они все похожи, — сказал он. — Я думаю, что все они нужны. Смотрите, если Вам нужно разрубить что-нибудь, Вам нужен топор. Так что все они нужны”.

Мы попытались объяснить задачу, говоря: “Послушай, вот трое взрослых и один ребенок. Конечно, ребенок не принадлежит к этой группе”.

Рахмат отвечал: “Нет, мальчик должен остаться с другими!” “Видишь ли, все трое работают, и если им придется бегать за разными вещами, они никогда не закончат работу, а мальчик может бегать за них. Мальчик научится, и это будет лучше — они смогут вместе хорошо работать”.

Затем мы сказали: “Вот у тебя три колеса и клещи. Конечно, клещи и колеса совсем не похожи друг на друга, правда?”

“Нет, все они подходят друг к другу. Я знаю, что клещи не похожи на колеса, но они понадобятся, если надо закрепить что-то в колесе”.

“Но ведь то, что в колесе, того нет в клещах, не правда ли?”

“Да, я это знаю, но нужно иметь и колеса, и клещи. Клещами можно работать с железом, а это трудно, знаешь ли”.

“Все же, разве неправда, что нельзя употреблять одно и то же слово для колес и для клещей?”

“Конечно, нельзя”.

Мы вернулись к первоначальной группе предметов, включающей молоток, пилу, полено и топор.

“Какие из этих предметов можно назвать одним словом?”

“Как это? Если мы назовем все три вещи “топор” — это будет неверно”.

“Но один человек выбрал три предмета — молоток, пилу и топор и сказал, что они схожи”.

“Пила, молоток и топор все должны работать вместе, но полено тоже должно быть вместе с ними!”

“Как ты думаешь, почему он выбрал эти три вещи, а не полено?”

“Может быть у него много дров, но если он останется без дров, он ничего не сможет делать”.

“Правильно, но ведь молоток, пила и топор — орудия”.

“Да, но даже если у нас есть орудия, все же нам нужно и дерево. Иначе мы ничего не сможем построить”.

Затем испытуемому показали рисунки птицы, ружье, кинжала и пули. Он сказал: “Ласточка сюда не подходит, нет, а ружье, оно заряжено пулей и убивает ласточку. Зато нужно разрезать птицу кинжалом — по-другому это сделать нельзя. То, что я сначала сказал про ласточку, — неверно. Все эти вещи подходят друг к другу”.

“Но ведь это — оружие. А как же насчет ласточки?”

“Нет, она не оружие”.

“Так это означает, что эти три предмета похожи друг на друга, а ласточка к ним не подходит?”

“Нет, птица тоже должна быть с ними. Иначе нечего будет стрелять”.

Затем ему показали рисунки стакана, сковородки, очков и бутылки. Он заметил: “Эти три подходят, но я не знаю, зачем ты сюда положил очки. Нет, пожалуй, они тоже подходят. Если человек плохо видит, ему приходится надевать очки, чтобы пообедать”.

“Но один человек сказал мне, что одна из этих вещей не подходит к группе”.

“Может быть, это у него в роду — думать таким образом. А я скажу, что все они подходят. В стакане нельзя варить пищу — в него можно наливать что-нибудь. Для готовки нужна сковорода, а чтобы лучше видеть — нужны очки. Нам нужны все эти четыре вещи — вот почему их положили вместе”.

Эта тенденция опираться на практическую деятельность, встречающуюся в жизни, преобладала у необразованных и неграмот-

ных испытуемых. Испытуемые, которые уже получили основы школьного образования или посещали краткосрочные курсы, давали смесь практических и теоретических методов обобщения. Категориальную классификацию в качестве основного метода группировки предметов применяла наиболее образованная группа испытуемых. Такие испытуемые на вопрос, какие три из следующих предметов — стакан, сковородка, очки и бутылка — имеют общую черту, немедленно отвечали: “Стакан, очки и бутылка. Они сделаны из стекла, а сковородка — металлическая”; или при предъявлении серии “верблюд, овца, лошадь, повозка” говорили: “Повозка сюда не подходит. Все остальное — животные”. Эти и многие другие примеры доказывают, что испытуемые выделяли общие признаки объектов, чтобы делать обобщения (например, “стекло”), и могли отнести разные предметы к общей категории (например, “животные”).

Итак, результаты этих экспериментов сводятся к следующему: первичная функция языка изменяется с повышением образовательного уровня. Когда люди пользуются представлением о конкретной ситуации в качестве способа группирования предметов, они используют язык лишь для того, чтобы он помог им припомнить и объединить в группу компоненты практической ситуации, а не для того, чтобы иметь возможность выделить общий признак и найти объединяющую объекты категорию. Перед нами возник вопрос: имеют ли для необразованных людей абстрактные термины их языка, такие, как “орудие”, “сосуд” или “животные”, действительно более конкретное значение, чем для более образованных испытуемых. Ответ на этот вопрос оказался утвердительным.

Приведем примеры. Мы предъявили трем испытуемым (1—3) рисунок топора, пилы и молотка и спросили: “Считаете ли вы, что все эти вещи — орудия?” Все трое испытуемых отвечали утвердительно. “А как насчет полена?”

1. “Оно тоже подходит к этим вещам. Мы делаем из дерева разные вещи — двери, ручки инструментов”.

2. “Можно сказать, что полено — это орудие, так как дерево нужно для работы вместе с инструментами, чтобы делать вещи. Куски дерева идут на изготовление орудий”.

“Но, — возражали мы, — один человек сказал, что полено — это не орудие, потому что им нельзя ни пилить, ни рубить”.

3. “Наверное, вам это сказал какой-нибудь полоумный. Дерево нужно для инструментов — вместе с железом оно может резать”.

“Но не могу же я назвать полено инструментом?”

3. “Можете — из него можно делать ручки”.

“И ты действительно можешь сказать, что дерево — орудие?”

2. “Конечно! Из него делают шесты, ручки. Мы называем все нужные нам вещи орудиями”.

“Назовите все известные вам орудия”.

3. “Топор, повозка и также дерево — мы привязываем к нему лошадь, если поблизости нет столба. Послушай, если бы у нас не было вот такой доски (показывает), мы не смогли бы задержать воду в этом арыке, так что эта доска тоже орудие, и то дерево, которое идет на изготовление классной доски, — тоже орудие”.

“Назовите все орудия, которыми можно делать вещи”.

1. “У нас есть поговорка — взгляни в поле, и ты увидишь орудие”.

3. “Топор, колун, пила, ярмо, упряжь и ремень, нужный для седла”.

“Вы действительно можете назвать дерево орудием?”

2. “Да, конечно. Если у нас не будет дерева для топора, мы не сможем работать и не сможем построить повозку”.

Ответы этих испытуемых были типичны для грамотных: пытаюсь определить абстрактный, категориальный смысл слова, испытуемые сначала включали в него предметы, действительно принадлежащие данной категории, однако вскоре совсем выходили за пределы этой категории и добавляли предметы, которые просто встречались в их описи вместе с теми, которые входили в указанный класс, или же предметы, которые могли бы встретиться вместе с некоторой воображаемой ситуацией. Для этих людей слова имели функцию, совершенно отличную от той, которую они имеют для образованных людей. Они употреблялись не для кодирования предметов, не для их обобщения в абстрактном понятии, а для того чтобы установить практические связи между вещами.

Однако испытуемые, получившие основы школьного образования и принимавшие участие в коллективных формах трудовой деятельности, легко переходили к абстрактному мышлению. Приобретение нового социального опыта, новые идеи, образование изменяют отношение людей к языку, тогда слова становятся основным инструментом абстракции и обобщения.

Эта работа по определению значений слов одновременно с работой по классификации привела нас к выводу, что способы обобщения, типичные для мышления людей, живущих в обществе, где рудиментарные, практические функции довлеют над их деятельностью, отличаются от моделей обобщения у лиц, получивших формальное образование. Процессы абстрагирования и обобщения не являются инвариантными на всех этапах социально-экономического и культурного развития. Такие процессы сами являются продуктами культурной среды.

На базе полученных результатов, показывающих сдвиг в способности людей классифицировать предметы, встречающиеся в их повседневной жизни, мы предположили, что когда люди овладевают словесным и логическим кодированием, позволяющим им абстрагировать существенные черты предметов и включать их в категории, они смогут перейти и к более сложному логическому мышлению. Если люди группируют предметы и устанавливают значение слов на базе практического опыта, можно ожидать, что и выводы, сделанные ими из определенной предпосылки в логической задаче, тоже будут зависеть от их непосредственного практического опыта. В таком случае приобретение новых знаний на словесно-логической основе было бы невозможным. Как известно, переход от сенсорного к рациональному сознанию, к словесно-логической форме приобретения опыта классики марксизма считают наиболее важным феноменом в истории человечества.

Наличие общих теоретических понятий, которым подчинены практические знания, создает логическую систему кодирования. Теоретическая мысль, развиваясь, все более усложняется и приобретает сложную абстрактную структуру. Система логических и грамматических структур фун-

кционирует в качестве основы суждения; эта система также включает более сложные словесные и логические “приемы”, позволяющие выполнять операции по дедукции, не опираясь на непосредственный опыт.

В ходе культурного развития возникает способность делать выводы из силлогизмов, в которых ряд частных суждений ведет к объективно новому заключению. Два предложения, первое из которых дает общее утверждение, а второе — специфическое утверждение, представляют собой большую и малую посылки силлогизма. Взрослый образованный человек воспринимает эти посылки не как две отдельные фразы, а как некую логическую связь, ведущую к выводу. Например, я могу сказать:

Драгоценные металлы не ржавеют.
Золото — драгоценный металл.

Вывод “Золото не ржавеет” настолько очевиден, что многие психологи были склонны рассматривать подобное логическое заключение как основное свойство человеческого сознания.

Так, приверженцы Вюрцбургской психологической школы, например, говорили о “логических ощущениях”, полагая, что эти “ощущения” присущи человеческому сознанию в течение всей истории человечества. Пиаже, изучая развитие интеллектуальной деятельности у детей, выразил сомнение относительно врожденного характера таких “логических ощущений”. В то время, когда мы проводили свои исследования, никто еще не знал, являются такие логические схемы неизменными на разных стадиях социального развития или нет. Потому мы решили исследовать реакции испытуемых на задачи, требующие вывода из силлогизма.

Чтобы определить, создаются суждения людей на логической основе, т. е. на основе больших и малых посылок, или же на основе собственного практического опыта, мы создали два типа силлогизмов. В одних силлогизмах содержание было взято из непосредственного практического опыта людей, содержание других было оторвано от такого опыта, так что выводы можно было сделать только на базе логической дедукции.

Мы опасались, что испытуемые не воспримут большую и малую посылки как части единой задачи, забудут или исказят эти посылки, и тогда их вывод будет построен не на тех данных, которые предъявлялись. Чтобы гарантировать себя от этого, мы сначала предъявили большой и малый силлогизмы, а потом просили испытуемых повторить весь силлогизм. Особое внимание уделялось искажениям посылок и любым вопросам испытуемых, так как они были важным свидетельством того, в какой степени посылки воспринимались как объединенная система. После того как испытуемый мог правильно повторить посылки, мы просили его сделать соответствующий вывод.

Один из первых фактов, который мы обнаружили, состоял в том, что неграмотные испытуемые не видели логической связи между частями силлогизма. Для них каждая из трех отдельных фраз представляла собой изолированное суждение. Это проявлялось уже тогда, когда испытуемые пытались повторить отдельные предложения задачи, они припоминали их как отдельные, не связанные между собой предложения, часто упрощая и изменяя их форму. Во многих случаях предложения фактически теряли весь свой характер силлогизма. Это можно показать на следующих примерах.

Драгоценные металлы не ржавеют.
Золото — драгоценный металл.
Ржавеет оно или нет?

Воспроизведение этого силлогизма тремя испытуемыми (1—3) было следующим:

1. Драгоценные металлы ржавеют или нет? Золото ржавеет или нет?

2. Драгоценные металлы ржавеют. Драгоценное золото ржавеет. Ржавеет ли драгоценное золото или нет? Ржавеют ли драгоценные металлы или нет?

3. Это все — драгоценное. Золото — тоже драгоценное. Ржавеет оно или нет?

Эти примеры показывают, что силлогизмы не воспринимались испытуемыми как объединенная логическая система. Отдельные части силлогизма запоминались как обособленные, логически не связанные между собой фразы. Некоторые испытуемые улавливали вопросительную форму последнего предложения и переносили

ее на обе посылки. В других случаях вопрос, сформулированный в силлогизме, повторялся, но без связи с предшествовавшей посылкой, как не имеющий к ним отношения.

Полученные результаты показали, что дальнейшее изучение логической операции требует проведения с нашими испытуемыми предварительной работы по силлогизмам для того, чтобы помочь им понять универсальную природу посылок и их логическую связь и основную задачу — сделать вывод. В этой работе мы предлагали испытуемым силлогизмы со знакомым содержанием. Содержание силлогизмов первого типа бралось из практического опыта испытуемого, например:

Хлопок растет там, где жарко и сухо.
В Англии холодно и сыро.
Может там расти хлопок или нет?

Силлогизмы второго типа включали материалы, незнакомые испытуемым, и выводы из них должны были быть чисто теоретическими, например:

На Дальнем севере, где снег, все медведи белые.
Новая Земля — на Дальнем севере.
Какого цвета там медведи?

Испытуемые, живущие в наиболее отсталых районах, отказывались делать какие-либо выводы даже из первого типа силлогизмов. Они заявляли, что никогда не бывали в этом незнакомом месте и не знают, растет там хлопок или нет. Только после длительных разъяснений их убеждали отвечать на основе самих слов, и они неохотно соглашались сделать вывод: “Из твоих слов понятно, что хлопок там не может расти, если там холодно и сыро. Когда холодно и сыро, хлопок растет плохо”.

Такие испытуемые наотрез отказывались делать выводы из силлогизмов второго типа. Как правило, они отказывались даже принять большую посылку, заявляя: “Я никогда не был на севере и никогда не видел медведей”. Один из наших испытуемых сказал: “Если Вы хотите, чтобы Вам ответили на этот вопрос, спросите людей, которые там побывали и видели их”. Зачастую они игнорировали посылку и за-

меняли ее собственными сведениями, говоря, например: “Разные бывают медведи. Если родился красным, таким он и останется”. Короче говоря, они пытались избежать решения задачи.

Можно проиллюстрировать эти трудности следующими протоколами беседы с 37-летним жителем кишлака. Мы предъявили силлогизм: “Хлопок может расти только там, где жарко и сухо. В Англии холодно и сыро. Может ли там расти хлопок?”

“Я не знаю”.

“Подумай об этом”.

“Я был только в Кашгаре. Ничего больше я не знаю”.

“Но на основании того, что я сказал, может ли хлопок там расти?”

“Если земля хорошая, хлопок будет там расти, но если там сыро и земля плохая, он расти не будет. Если там похоже на Кашгар, он там тоже будет расти. Конечно, если почва там рыхлая, он тоже будет там расти”.

Затем силлогизм был повторен.

“Что ты можешь заключить из моих слов?”

“Если там холодно, он не будет расти. Если почва хорошая и рыхлая — будет”.

“Но на какую мысль наводят мои слова?”

“Знаешь, мы — мусульмане, мы — кашгарцы. Мы никогда нигде не бывали и не знаем, жарко там или холодно”.

Был предъявлен другой силлогизм.

“На Дальнем Севере, где снег, все медведи белые. Новая Земля — на Дальнем севере. Какого цвета там медведи?”

“Медведи бывают разные”.

Силлогизм повторяется.

“Я не знаю. Я видел черного медведя. Других я никогда не видел. В каждой местности свои животные — если она белая, они будут белые, если желтая — они будут желтые”.

“Но какие медведи водятся на Новой Земле?” “Мы всегда говорим только о том, что мы видим. Мы не говорим о том, чего мы не видели”.

“Но на какую мысль наводят мои слова?”

Силлогизм снова повторяется.

“Ну, это вот на что похоже: наш царь не похож на вашего, а ваш не похож на нашего. На твои слова может ответить

только кто-то, кто там был, а если человек там не был, он ничего не может сказать на твои слова”.

“Но на основе моих слов: “На севере, где всегда снег, медведи — белые”, — можешь ты догадаться, какие медведи водятся на Новой Земле?”

“Если человеку шестьдесят или восемьдесят лет и он видел белого медведя и рассказал об этом — ему можно верить, но я никогда его не видел, и потому не могу сказать. Это мое последнее слово. Те, кто видел, могут сказать, а те, кто не видел, ничего сказать не могут”.

В этот момент в разговор вступил молодой узбек: “Из ваших слов понятно, что медведи там белые”.

“Ну, кто же из вас прав?”

Первый испытуемый отвечал; “Что петух умеет делать, он и делает. Что я знаю, я говорю, и ничего кроме этого”

Результаты этой и многих других бесед показывают, что в решении логических задач у испытуемых преобладают процессы аргументации и дедукции, связанные с непосредственным практическим опытом. Эти люди высказывали совершенно верные суждения о фактах, о которых они знали из своего непосредственного опыта; в этих случаях они могли делать выводы согласно законам логики и облекать свои мысли в слова. Однако при отсутствии опоры на свой опыт и обращении к системе теоретического мышления три фактора резко ограничивали их возможности. Первый — это недоверие к первоначальным посылкам, которые не основывались на их личном опыте, что делало для них невозможным использование этих посылок. Второй — это то, что такие послылки не были для них универсальными; они воспринимались испытуемыми как частное утверждение, отражающее лишь единственный частный случай. Третий фактор — это то, что в итоге силлогизмы распались у испытуемых на три изолированных высказывания, не объединенных единой логикой. В результате испытуемые решали задачу путем догадки или обращаясь к личному опыту. Неграмотные крестьяне могли объективно использовать логические связи, лишь опираясь на личный опыт, однако они не воспринимали силлогизм как прием, помогающий сделать логический вывод.

Как и в других наших исследованиях, у образованных испытуемых картина резко менялась. Они решали силлогизмы так, как это делает любой образованный человек. Из каждого силлогизма они выводили правильное заключение независимо от того, были посылки правильны фактически и близки ли они к непосредственному опыту испытуемого.

Я кратко описал только три вида экспериментов из числа тех, которые мы провели в течение двух наших экспедиций в Среднюю Азию. Помимо этих опытов проводились также тщательные исследования процесса решения задач, характера аргументации, используемой испытуемыми, воображения и оценки собеседниками собственной личности. Мы назвали эти последние наблюдения “антидекартовскими экспериментами”, так как мы установили, что критическое от-

ношение к себе является конечным продуктом социально детерминированного психологического развития, а не его отправной точкой, как это следует из идей Декарта. Я не буду приводить здесь все детали этих экспериментов, потому что их схема оставалась постоянной. Во всех случаях мы обнаруживали, что изменения практических форм деятельности, в особенности перестройка деятельности, основанная на формальном образовании и социальном опыте, вызывали качественные изменения в процессах мышления испытуемых. Более того, мы смогли установить, что перестройка организации мышления может произойти за относительно короткое время при наличии достаточно резких изменений социально-исторических условий, подобных тем, которые последовали за Октябрьской революцией 1917 г.

А. Н. Леонтьев

[КАТЕГОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ]¹

Два подхода в психологии — две схемы анализа

Последние годы в советской психологии происходило ускоренное развитие отдельных ее ветвей и прикладных исследований. В то же время теоретическим проблемам общей психологии уделялось гораздо меньше внимания. Вместе с тем советская психология, формируясь на марксистско-ленинской философской основе, выдвинула принципиально новый подход к психике и впервые внесла в психологию ряд важнейших категорий, которые нуждаются в дальнейшей разработке.

Среди этих категорий важнейшее значение имеет категория *деятельности*. Вспомним знаменитые тезисы К. Маркса о Фейербахе, в которых говорится, что главный недостаток прежнего метафизического материализма состоял в том, что он рассматривал чувственность только в форме созерцания, а не как человеческую деятельность, практику; что деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, который, однако, понимал ее абстрактно, а не как действительную чувственную деятельность человека².

Именно так обстояло дело и во всей домарксистской психологии. Впрочем, и в современной психологии, которая разви-

вается вне марксизма, ситуация остается прежней. Деятельность и в ней интерпретируется либо в рамках идеалистических концепций, либо в естественнонаучных, материалистических по своей общей тенденции направлениях — как ответ на внешние воздействия пассивного субъекта, обусловленный его врожденной организацией и научением. Но именно это и раскалывает психологию на естественнонаучную и психологию как науку о духе, на психологию бихевиористскую и “менталистскую”. Возникающие в связи с этим в психологии кризисные явления сохраняются и сейчас; они только “ушли в глубину”, стали выражаться в менее явных формах.

Характерное для наших дней интенсивное развитие междисциплинарных исследований, связывающих психологию с нейрофизиологией, с кибернетикой и логико-математическими дисциплинами, с социологией и историей культуры, само по себе еще не может привести к решению фундаментальных методологических проблем психологической науки. Оставляя их нерешенными, оно лишь усиливает тенденцию к опасному физиологическому, кибернетическому, логическому или социологическому редуционизму, угрожающему психологии утратой своего предмета, своей специфики. Не является свидетельством теоретического прогресса и то обстоятельство, что столкновение различных психологических направлений потеряло сейчас свою прежнюю остроту: воинствующий бихевиоризм уступил место компромиссному необихевиоризму (или, как говорят некоторые авторы, “субъективному бихевиоризму”), гештальтизм — неогештальтизму, фрейдизм — неофрейдизму и культурной антропологии. Хотя термин “эkleктический” приобрел у американских авторов значение чуть ли не высшей похвалы, эkleктические позиции никогда еще не приводили к успеху. Научный синтез разнородных комплексов, добытых психологических фактов и обобщений, разумеется, не может быть достигнут путем их простого соединения с помощью общего переплета. Он требует дальнейшей разработки кон-

¹ Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность // Избранные психологические произведения: В 2 т. М.: Педагогика, 1983. Т. 2. С. 136—159.

² См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 1.

цептуального строя психологии, поиска новых научных теорий, способных стянуть разошедшиеся швы здания психологической науки.

При всем многообразии направлений, о которых идет речь, общее между ними, с методологической точки зрения, состоит в том, что они исходят из двучленной схемы анализа: *воздействие на реципирующие системы субъекта → возникающие ответные — объективные и субъективные — явления, вызываемые данным воздействием.*

Схема эта с классической ясностью выступила уже в психофизике и физиологической психологии прошлого столетия. Главная задача, которая ставилась в то время, заключалась в том, чтобы изучить зависимость элементов сознания от параметров вызывающих их раздражителей. Позже, в бихевиоризме, т. е. применительно к изучению поведения, эта двучленная схема нашла свое прямое выражение в знаменитой формуле $S \rightarrow R$.

Неудовлетворительность этой схемы заключается в том, что она исключает из поля зрения исследования тот содержательный процесс, в котором осуществляются реальные связи субъекта с предметным миром, его предметную деятельность (нем. *Tätigkeit* — в отличие от *Aktivität*). Такая абстракция от деятельности субъекта оправдана лишь в узких границах лабораторного эксперимента, имеющего своей целью выявить элементарные психофизиологические механизмы. Достаточно, однако, выйти за эти узкие границы, как тотчас обнаруживается ее несостоятельность. Это и вынуждало прежних исследователей допускать при объяснении психологических фактов вмешательство особых сил, таких, как активная апперцепция, внутренняя интенция и т. п., т. е. все же апеллировать к деятельности субъекта, но только в ее мистифицированной идеализмом форме.

Принципиальные трудности, создаваемые в психологии двучленной схемой анализа и тем “постулатом непосредственности”¹, который скрывается за ней, породили настойчивые попытки преодолеть ее. Одна из линий, по которой шли

эти попытки, нашла свое выражение в подчеркивании того факта, что эффекты внешних воздействий зависят от их преломления субъектом, от тех психологических “промежуточных переменных” (Э. Толмен и другие), которые характеризуют его внутреннее состояние. В свое время С. Л. Рубинштейн выразил это в формуле, гласящей, что “внешние причины действуют через внутренние условия”². Конечно, формула эта является бесспорной. Если, однако, под внутренними условиями подразумеваются текущие состояния субъекта, подвергающегося воздействию, то она не вносит в схему $S \rightarrow R$ ничего принципиально нового. Ведь даже неживые объекты при изменении своих состояний по-разному обнаруживают себя во взаимодействии с другими объектами. На влажном, размягченном грунте следы будут отчетливо отпечатываться, а на сухой, слежавшейся почве — нет. Тем яснее проявляется это у животных и человека: голодное животное будет реагировать на пищевой раздражитель иначе, чем сытое, а у человека, интересующегося футболом, сообщение о результатах матча вызовет совсем другую реакцию, чем у человека, к футболу вполне равнодушного.

Введение понятия промежуточных переменных, несомненно, обогащает анализ поведения, но оно вовсе не снимает упомянутого постулата непосредственности. Дело в том, что хотя переменные, о которых идет речь, и являются промежуточными, но только в смысле внутренних состояний самого субъекта. Сказанное относится и к “мотивирующим факторам” — потребностям и влечениям. Разработка роли этих факторов шла, как известно, в очень разных направлениях — и в бихевиоризме, и в школе К. Левина, и особенно в глубинной психологии. При всех, однако, различиях между собой этих направлений и различиях в понимании самой мотивации и ее роли неизменным оставалось главное: противопоставленность мотивации объективным условиям деятельности, внешнему миру.

Особо следует выделить попытки решить проблему, идущие со стороны так называемой культурологии. Признанный

¹ См.: Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. М., 1966. С. 158.

² Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. М., 1957. С. 226.

основоположник этого направления Л. Уайт¹ развивал идею “культурной детерминации” явлений в обществе и в поведении индивидов. Возникновение человека и человеческого общества приводит к тому, что прежде прямые, натуральные связи организма со средой становятся опосредствованными культурой, развивающейся на базе материального производства². При этом культура выступает для индивидов в форме значений, передаваемых речевыми знаками-символами. Исходя из этого, Л. Уайт предлагает трехчленную формулу поведения человека: *организм человека x культурные стимулы → поведение*.

Формула эта создает иллюзию преодоления постулата непосредственности и вытекающей из него схемы $S \rightarrow R$. Однако введение в эту схему в качестве посредствующего звена культуры, коммуницируемой знаковыми системами, неизбежно замыкает психологическое исследование в круг явлений сознания — общественного и индивидуального. Происходит простая подстановка: место мира предметов теперь занимает мир выработанных обществом знаков, значений. Таким образом, мы снова стоим перед двучленной схемой $S \rightarrow R$, но только стимул интерпретируется в ней как “культурный стимул”. Это и выражает дальнейшая формула Л. Уайта, посредством которой он поясняет различие в детерминации психических реакций (minding) животных и человека. Он записывает эту формулу так:

$Vm = f(Vb)$ — у животных,

$Vm = f(Vc)$ — у человека,

где V — переменные, m — психика, b — телесное состояние (body), c — культура.

В отличие от идущих от Дюркгейма социологических концепций в психологии, которые так или иначе сохраняют идею первичности взаимодействия человека с

предметным миром, современная американская культурология знает лишь воздействие на человека “экстрасоматических объектов”, которые образуют континуум, развивающийся по своим собственным “супрапсихологическим” и “супрасоциологическим” законам (что и делает необходимой особую науку — культурологию). С этой, культурологической, точки зрения человеческие индивиды являются лишь “каталитическими агентами” и “средой выражения” культурного процесса³. Не более того.

Совсем другая линия, по которой шло усложнение анализа, вытекающего из постулата непосредственности, была порождена открытием регулирования поведения посредством обратных связей, отчетливо сформулированным еще Н. Н. Ланге⁴.

Уже первые исследования построения сложно-двигательных процессов у человека, среди которых нужно особенно назвать работы Н. А. Бернштейна⁵, показавшие роль рефлекторного кольца с обратными связями, дали возможность по-новому понять механизм широкого круга явлений.

За время, которое отделяет нас от первых работ, выполненных еще в 30-е гг., теория управления и информации приобрела общенаучное значение, охватывая процессы как в живых, так и неживых системах.

Любопытно, что разработанные за эти годы понятия кибернетики позже были восприняты большинством психологов как совершенно новые. Произошло как бы их второе рождение в психологии — обстоятельство, создавшее у некоторых энтузиастов кибернетического подхода впечатление, что найдены наконец новые методологические основы всеобъемлющей психологической теории. Очень скоро, однако, обнаружилось, что кибернетический подход в психологии также имеет свои границы,

¹ См. White L. The Science of Culture. N. Y., 1949.

² Упоминание им о том, что общество организовано на основе отношений собственности, служило иногда поводом относить Л. Уайта якобы к сторонникам исторического материализма; правда, один из его апологетов оговаривается при этом, что исторический материализм идет у него не от Маркса, а от “здорового смысла”, от идеи выживания (business of living) (Barnes H. Outstanding Contributions to Anthropology, Culture, Culturology and Cultural Evolution. N. Y., 1960).

³ White L. The Science of Culture. P. 181.

⁴ См. Ланге Н. Н. Психологические исследования. Одесса, 1893.

⁵ См.: Бернштейн Н. А. Физиология движения // Конради Г. П., Слоним А. Д., Фарфель В. С. Физиология труда. М., 1934; Бернштейн Н. А. О построении движений. М., 1947.

перейти которые можно только ценой подмены научной кибернетики некоей “кибернетической мифологией”; подлинно же психологические реальности, такие, как психический образ, сознание, мотивация и целеобразование, фактически оказались утраченными. В этом смысле произошло даже известное отступление от ранних работ, в которых развивался принцип активности и представление об уровнях регулирования, среди которых особо выделялся уровень предметных действий и высшие познавательные уровни.

Понятия современной теоретической кибернетики образуют очень важную плоскость абстракции, позволяющую описывать особенности структуры и движения широчайшего класса процессов, которые с помощью прежнего понятийного аппарата не могли быть описаны. Вместе с тем исследования, идущие в этой новой плоскости абстракции, несмотря на их бесспорную продуктивность, сами по себе не способны дать решение фундаментальных методологических проблем той или иной специальной области знаний. Поэтому нет ничего парадоксального в том, что и в психологии введение понятий об управлении, информационных процессах и о саморегулирующихся системах еще не отменяет упомянутого постулата непосредственности.

Вывод состоит в том, что, по-видимому, никакое усложнение исходной схемы, вытекающей из этого постулата, так сказать, “изнутри” не в состоянии устранить те методологические трудности, которые она создает в психологии. Чтобы снять их, нужно заменить двучленную схему анализа принципиально другой схемой, а этого нельзя сделать, не отказавшись от постулата непосредственности.

Главный тезис, обоснованию которого посвящается дальнейшее изложение, заключается в том, что реальный путь преодоления этого, по выражению Д. К. Узнадзе, “рокового” для психологии постулата открывается введением в психологию категории предметной деятельности.

Выдвигая это положение, нужно сразу же уточнить его: речь идет именно о *деятельности*, а не о поведении и не о тех нервных физиологических процессах, ко-

торые реализуют деятельность. Дело в том, что вычленяемые анализом “единицы” и язык, с помощью которых описываются поведенческие, церебральные или логические процессы, с одной стороны, и предметная деятельность, — с другой, не совпадают между собой.

Итак, в психологии сложилась следующая альтернатива: либо сохранить в качестве основной двучленную схему — *воздействие объекта → изменение текущих состояний субъекта* (или, что принципиально то же самое, схему $S \rightarrow R$), либо исходить из трехчленной схемы, включающей среднее звено (“средний термин”) — деятельность субъекта и соответственно ее условия, цели и средства, звено, которое опосредствует связи между ними.

С точки зрения проблемы детерминации психики эта альтернатива может быть сформулирована так: мы встаем либо на позицию, что сознание определяется окружающими вещами, явлениями, либо на позицию, утверждающую, что сознание определяется общественным бытием людей, которое, по определению Маркса и Энгельса, есть не что иное, как реальный процесс их жизни¹.

Но что такое человеческая жизнь? Это есть совокупность, точнее, система сменяющих друг друга деятельностей. В деятельности и происходит переход объекта в его субъективную форму, в образ; вместе с тем в деятельности совершается также переход деятельности в ее объективные результаты, в ее продукты. Взятая с этой стороны, деятельность выступает как процесс, в котором осуществляются взаимопереходы между полюсами “субъект — объект”. “В производстве объективируется личность; в потреблении субъективируется вещь”, — замечает Маркс².

О категории предметной деятельности

Деятельность есть молярная, не аддитивная единица жизни телесного, материального субъекта. В более узком смысле, т. е. на психологическом уровне, это единица жизни, опосредованной психическим отражением, реальная функция которого

¹ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 5.

² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1. С. 25.

состоит в том, что оно ориентирует субъекта в предметном мире. Иными словами, деятельность — это не реакция и не совокупность реакций, а система, имеющая строение, свои внутренние переходы и превращения, свое развитие.

Введение категории деятельности в психологию меняет весь понятийный строй психологического знания. Но для этого нужно взять эту категорию во всей ее полноте, в ее важнейших зависимостях и детерминациях: со стороны ее структуры и в ее специфической динамике, в ее различных видах и формах. Иначе говоря, речь идет о том, чтобы ответить на вопрос, как именно выступает категория деятельности в психологии. Вопрос этот ставит ряд далеко еще не решенных теоретических проблем. Само собой разумеется, что я могу затронуть лишь некоторые из них.

Психология человека имеет дело с деятельностью конкретных индивидов, протекающей или в условиях открытой коллективности — среди окружающих людей, совместно с ними и во взаимодействии с ними, или с глазу на глаз с окружающим предметным миром — перед гончарным кругом или за письменным столом. В каких бы, однако, условиях и формах ни протекала деятельность человека, какую бы структуру она ни приобретала, ее нельзя рассматривать как изъятую из общественных отношений, из жизни общества. При всем своем своеобразии деятельность человеческого индивида представляет собой систему, включенную в систему отношений общества. Вне этих отношений человеческая деятельность вообще не существует. Как именно она существует, определяется теми формами и средствами материального и духовного общения (*Verkehr*), которые порождаются развитием производства и которые не могут реализоваться иначе, как в деятельности конкретных людей¹.

Само собой разумеется, что деятельность каждого отдельного человека зависит при этом от его места в обществе, от условий, выпадающих на его долю, от того, как она складывается в неповторимых индивидуальных обстоятельствах.

Особенно следует предостеречь против понимания деятельности человека как от-

ношения, существующего между человеком и противостоящим ему обществом. Это приходится подчеркивать, так как затопляющие сейчас психологию позитивистские концепции всячески навязывают идею противопоставленности человеческого индивида обществу. Для человека общество якобы составляет лишь ту внешнюю среду, к которой он вынужден приспособливаться, чтобы не оказаться “неадаптированным” и выжить, совершенно так же, как животное вынуждено приспособливаться к внешней природной среде. С этой точки зрения деятельность человека формируется в результате ее подкрепления, хотя бы и не прямого (например, через оценку, выражаемую “референтной” группой). При этом упускается главное — то, что в обществе человек находит не просто внешние условия, к которым он должен приравнивать свою деятельность, но что сами эти общественные условия несут в себе мотивы и цели его деятельности, ее средства и способы; словом, что общество производит деятельность образующих его индивидов. <...>

Основной, или, как иногда говорят, конституирующей, характеристикой деятельности является ее предметность. Собственно, в самом понятии деятельности уже имплицитно содержится понятие ее предмета (*Gegenstand*). Выражение “беспредметная деятельность” лишено всякого смысла. Деятельность может *казаться* беспредметной, но научное исследование деятельности необходимо требует открытия ее предмета. При этом предмет деятельности выступает двояко: первично — в своем независимом существовании, как подчиняющий себе и преобразующий деятельность субъекта, вторично — как образ предмета, как продукт психического отражения его свойств, которое осуществляется в результате деятельности субъекта и иначе осуществиться не может.

Уже в самом зарождении деятельности и психического отражения обнаруживается их предметная природа. Так, было показано, что жизнь организмов в гомогенной, хотя и изменчивой среде может развиваться лишь в форме усложнения той системы элементарных отправления, которая поддерживает их существование. Толь-

¹ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 19.

ко при переходе к жизни в дискретной среде, т. е. к жизни в мире предметов, над процессами, отвечающими воздействиям, имеющим прямое биотическое значение, надстраиваются процессы, вызываемые воздействиями, которые сами по себе могут быть нейтральными, абиотическими, но ориентирующими организм по отношению к воздействиям первого рода. Формирование этих процессов, опосредствующих фундаментальные жизненные отправления, происходит в силу того, что биотические свойства предмета (например, его пищевые свойства) выступают как скрытые за другими, “поверхностными” его свойствами, поверхностными в том смысле, что, прежде чем испытать на себе эффекты, вызываемые биотическим воздействием, нужно, образно говоря, пройти через эти свойства (таковы, например, механические свойства твердого тела по отношению к химическим его свойствам). <...>

Итак, предыстория человеческой деятельности начинается с приобретения жизненными процессами предметности. Последнее означает также появление элементарных форм психического отражения — превращение раздражимости (*irribilitas*) в чувствительность (*sensibilitas*), в “способность ощущения”.

Дальнейшая эволюция поведения и психики животных может быть адекватно понята именно как история развития предметного содержания деятельности. На каждом новом этапе возникает все более полная подчиненность эффекторных процессов деятельности объективным связям и отношениям свойств предметов, во взаимодействие с которыми вступает животное. Предметный мир как бы все более “втягивается” в деятельность. Так, движение животного вдоль преграды подчиняется ее “геометрии” — уподобляется ей и несет ее в себе, движение прыжка подчиняется объективной метрике среды, а выбор обходного пути — межпредметным отношениям.

Развитие предметного содержания деятельности находит свое выражение в идущем вслед развитии психического отражения, которое регулирует деятельность в предметной среде.

Всякая деятельность имеет кольцевую структуру: *исходная афферентация* → *эффektorные процессы, реализующие контак-*

ты с предметной средой → *коррекция и обогащение с помощью обратных связей исходного афферентирующего образа*. Сейчас кольцевой характер процессов, осуществляющих взаимодействие организма со средой, является общепризнанным и достаточно хорошо описан. Однако главное заключается не в самой по себе кольцевой структуре, а в том, что психическое отражение предметного мира порождается не непосредственно внешними воздействиями (в том числе и воздействиями “обратными”), а теми процессами, с помощью которых субъект вступает в практические контакты с предметным миром и которые поэтому необходимо подчиняются его независимым свойствам, связям, отношениям. Последнее означает, что “афферентатором”, управляющим процессами деятельности, первично является сам предмет и лишь вторично — его образ как субъективный продукт деятельности, который фиксирует, стабилизирует и несет в себе ее предметное содержание. Иначе говоря, осуществляется двойной переход: переход *предмет* → *процесс деятельности* и переход *деятельность* → *ее субъективный продукт*. Но переход процесса в форму продукта происходит не только на полюсе субъекта. Еще более явно он происходит на полюсе объекта, трансформируемого человеческой деятельностью; в этом случае регулируемая психическим образом деятельность субъекта переходит в “покоящееся свойство” (*ruhende Eigenschaft*) ее объективно-го продукта.

На первый взгляд кажется, что представление о предметной природе психики относится только к сфере собственно познавательных процессов; что же касается сферы потребностей и эмоций, то на нее это представление не распространяется. Это, однако, не так.

Взгляды на эмоционально-потребностную сферу как на сферу состояний и процессов, природа которых лежит в самом субъекте и которые лишь изменяют свои проявления под давлением внешних условий, основываются на смешении, по существу, разных категорий, на смешении, которое особенно дает о себе знать в проблеме потребностей.

В психологии потребностей нужно с самого начала исходить из следующего капитального различия: различия

потребности как внутреннего условия, как одной из обязательных предпосылок деятельности и потребности как того, что направляет и регулирует конкретную деятельность субъекта в предметной среде. “Голод способен поднять животное на ноги, способен придать поискам более или менее страстный характер, но в нем нет никаких элементов, чтобы направить движение в ту или другую сторону и видоизменить его сообразно требованиям местности и случайностям встреч”¹, — писал И. М. Сеченов. Именно в направляющей своей функции потребность и является предметом психологического познания. В первом же случае потребность выступает лишь как состояние нужды организма, которое само по себе не способно вызвать никакой определенно направленной деятельности; ее функция ограничивается активацией соответствующих биологических отправлений и общим возбуждением двигательной сферы, проявляющимся в ненаправленных поисковых движениях. Лишь в результате ее “встречи” с отвечающим ей предметом она впервые становится способной направлять и регулировать деятельность.

Встреча потребности с предметом есть акт чрезвычайный. Он отмечался уже Ч. Дарвином, о нем свидетельствуют некоторые данные И. П. Павлова; о нем говорит Д. Н. Узнадзе как об условии возникновения установки, и его блистательное описание дают современные этологи. Этот чрезвычайный акт есть акт опредмечивания потребности — “наполнения” ее содержанием, которое черпается из окружающего мира. Это и переводит потребность на собственно психологический уровень.

Развитие потребностей на этом уровне происходит в форме развития их предметного содержания. Кстати сказать, это обстоятельство только и позволяет понять появление у человека новых потребностей, в том числе таких, которые не имеют своих аналогов у животных, “отвязаны” от биологических потребностей организма и в этом смысле являются “автономными”².

Их формирование объясняется тем, что в человеческом обществе предметы потребностей производятся, а благодаря этому производятся и сами потребности³.

Итак, потребности управляют деятельностью со стороны субъекта, но они способны выполнять эту функцию лишь при условии, что они являются предметными. Отсюда и происходит возможность оборота терминов, который позволил К. Левину говорить о побудительной силе (*Aufforderungscharakter*) самих предметов⁴.

Не иначе обстоит дело с эмоциями и чувствами. И здесь необходимо различать, с одной стороны, беспредметные стенические, астенические состояния, а с другой — собственно эмоции и чувства, порождаемые соотношением предметной деятельности субъекта с его потребностями и мотивами. Но об этом нужно говорить особо. В связи же с анализом деятельности достаточно указать на то, что предметность деятельности порождает не только предметный характер образов, но также предметность потребностей, эмоций и чувств.

Процесс развития предметного содержания потребностей не является, конечно, односторонним. Другая его сторона состоит в том, что и сам предмет деятельности открывается субъекту как отвечающий той или иной его потребности. Таким образом, потребности побуждают деятельность и управляют ею со стороны субъекта, но они способны выполнять эти функции при условии, что они являются предметными.

Предметная деятельность и психология

То обстоятельство, что генетически исходной и основной формой человеческой деятельности является деятельность внешняя, чувственно-практическая, имеет для психологии особый смысл. Ведь психология всегда, конечно, изучала деятельность, например, деятельность мыслительную, деятельность воображения, запоминания и т. д. Только такая внутренняя деятельность, подпадающая под декартовскую категорию

¹ Сеченов И. М. Избранные произведения. М., 1952. Т. 1. С. 581.

² Allport G. Pattern and Growth in Personality. N. Y., 1961.

³ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 48. Ч. 1. С. 26—31.

⁴ См. Levin K. A. Dynamic Theory of Personality. N. Y., 1928.

cogito, собственно, и считалась психологической, единственно входящей в поле зрения психолога. Психология, таким образом, отлучалась от изучения практической, чувственной деятельности.

Если внешняя деятельность и фигурировала в старой психологии, то лишь как *выражающая* внутреннюю деятельность, деятельность сознания. Прошедший на рубеже нашего столетия бунт бихевиористов против подобной менталистской психологии скорее углубил, чем устранил разрыв между сознанием и внешней деятельностью, только теперь, наоборот, внешняя деятельность оказалась отлученной от сознания.

Подготовленный объективным ходом развития психологических знаний вопрос, который встал сейчас во весь рост, состоит в том, входит ли изучение внешней практической деятельности в задачу психологии. Ведь “на лбу” деятельности “не написано”, предметом какой науки она является. Вместе с тем научный опыт показывает, что выделение деятельности в качестве предмета некоей особой области знания — “праксиологии” — не является оправданием. Как и всякая эмпирически данная реальность, деятельность изучается разными науками; можно изучать физиологию деятельности, но столь же правомерным является ее изучение, например, в политической экономии или социологии. Внешняя практическая деятельность не может быть изъята и из собственно психологического исследования. Последнее положение может, однако, пониматься существенно по-разному.

Еще в 30-х гг. С. Л. Рубинштейн¹ указывал на важное теоретическое значение для психологии мысли Маркса о том, что в обыкновенной материальной промышленности мы имеем перед собой раскрытую книгу человеческих сущностных сил и что психология, для которой эта книга остается закрытой, не может стать содержательной и реальной наукой, что психология не должна игнорировать богатство человеческой деятельности.

Вместе с тем в своих последующих публикациях С. Л. Рубинштейн подчер-

кивал, что, хотя в сферу психологии входит и та практическая деятельность, посредством которой люди изменяют природу и общество, предметом психологического изучения “является только их специфически психологическое содержание, их мотивация и регуляция, посредством которой действия приводятся в соответствие с отраженными в ощущении, восприятии, сознании объективными условиями, в которых они совершаются”².

Итак, практическая деятельность, по мысли автора, входит в предмет изучения психологии, но лишь тем особым своим содержанием, которое выступает в форме ощущения, восприятия, мышления и вообще в форме внутренних психических процессов и состояний субъекта. Но это утверждение является по меньшей мере односторонним, так как оно абстрагируется от того капитального факта, что деятельность — в той или иной ее форме — входит в самый процесс психического отражения, в само содержание этого процесса, его порождение.

Рассмотрим самый простой случай: процесс восприятия упругости предмета. Это процесс внешневидимый, с помощью которого субъект вступает в практический контакт, в практическую связь с внешним предметом и который может быть направлен на осуществление даже не познавательной, а непосредственно практической задачи, например, на его деформацию. Возникающий при этом субъективный образ — это, конечно, психическое и, соответственно, бесспорный предмет психологического изучения. Однако, для того чтобы понять природу данного образа, я должен изучить процесс, его порождающий, а он в рассматриваемом случае является процессом внешним, практическим. Хочу я этого или не хочу, соответствует или не соответствует это моим теоретическим взглядам, я все же вынужден включить в предмет моего *психологического* исследования внешнее предметное действие субъекта. <...>

Иными словами, именно во внешней деятельности происходит размыкание круга внутренних психических процессов

¹ См.: Рубинштейн С. Л. Проблемы психологии в трудах К. Маркса // Советская психотехника. 1934. № 7.

² Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии. М., 1959. С. 40.

как бы навстречу объективному предметному миру, властно врывающемуся в этот круг.

Итак, деятельность входит в предмет психологии, но не особой своей “частью” или “элементом”, а своей особой функцией. Это функция полагания субъекта в предметной действительности и ее преобразования в форму субъективности.

Вернемся, однако, к описанному случаю порождения психического отражения элементарного свойства вещественного предмета в условиях практического контакта с ним. Случай этот был приведен в качестве только поясняющего, грубо упрощенного примера. Он имеет, однако, и реальный генетический смысл. Едва ли нужно сейчас доказывать, что на первоначальных этапах своего развития деятельность необходимо имеет форму внешних процессов и что, соответственно, психический образ является продуктом этих процессов, практически связывающих субъект с предметной действительностью.

Очевидно, что на ранних генетических этапах научное объяснение природы и особенностей психического отражения невозможно иначе, как на основе изучения этих внешних процессов. При этом последнее означает не подмену исследования психики исследованием поведения, а лишь демистификацию природы психики. Ведь иначе нам не остается ничего другого, как признать существование таинственной “психической способности”, которая состоит в том, что под влиянием внешних толчков, падающих на рецепторы субъекта, в его мозге — в порядке параллельного физиологическим процессам явления — вспыхивает некий внутренний свет, озаряющий человеку мир, что происходит как бы излучение образов, которые затем локализируются, “объективируются” субъектом в окружающем пространстве. <...>

Соотношение внешней и внутренней деятельности

Старая психология имела дело только с внутренними процессами — с движением представлений, их ассоциацией в сознании, с их генерализацией и движением

их субститутов — слов. Эти процессы, как и непознавательные внутренние переживания, считались единственно составляющими предмет изучения психологии.

Начало переориентации прежней психологии было положено постановкой проблемы о происхождении внутренних психических процессов. Решающий шаг в этом отношении был сделан И. М. Сеченовым, который еще сто лет тому назад указывал, что психология незаконно вырывает из целостного процесса, звенья которого связаны самой природой, его середину — “психическое”, противопоставляя его “материальному”. Так как психология родилась из этой, по выражению И. М. Сеченова, *противоестественной* операции, то потом уже “никакие уловки не могли склеить эти разорванные его звенья”. Такой подход к делу, писал далее И. М. Сеченов, должен измениться. *“Научная психология по всему своему содержанию не может быть ничем иным, как рядом учений о происхождении психических деятельностей”*¹.

Дело историка — проследить этапы развития этой мысли. Замечу только, что начавшееся тщательное изучение филогенеза и онтогенеза мышления фактически раздвинуло границы психологического исследования. В психологию вошли такие парадоксальные с субъективно-эмпирической точки зрения понятия, как понятие о практическом интеллекте или ручном мышлении. Положение о том, что внутренним умственным действиям генетически предшествуют внешние, стало едва ли не общепризнанным. С другой стороны, т. е. двигаясь от изучения поведения, была выдвинута гипотеза о прямом, механически понимаемом переходе внешних процессов в скрытые, внутренние; вспомним, например, схему Д. Б. Уотсона: *речевое поведение → шепот → полностью беззвучная речь*².

Однако главную роль в развитии конкретно-психологических взглядов на происхождение внутренних мыслительных операций сыграло введение в психологию понятия об *интериоризации*.

Интериоризацией называют, как известно, переход, в результате которого внешние по своей форме процессы с внешни-

¹ Сеченов И. М. Избранные произведения. Т. I. С. 209.

² См. Watson J. B. The Ways of the Behaviorism. N. Y., 1928.

ми же, вещественными предметами преобразуются в процессы, протекающие в умственном плане, в плане сознания; при этом они подвергаются специфической трансформации — обобщаются, вербализуются, сокращаются и, главное, становятся способными к дальнейшему развитию, которое переходит границы возможностей внешней деятельности. Это, если воспользоваться краткой формулировкой Ж. Пиаже, переход, “ведущий от сенсомоторного плана к мысли”¹.

Процесс интериоризации детально изучен сейчас в контексте многих проблем — онтогенетических, психолого-педагогических и общепсихологических. При этом обнаруживаются серьезные различия как в теоретических основаниях исследования этого процесса, так и в теоретической его интерпретации. Для Ж. Пиаже важнейшее основание исследований происхождения внутренних мыслительных операций из сенсомоторных актов состоит, по-видимому, в невозможности вывести операторные схемы мышления непосредственно из восприятия. Такие операции, как объединение, упорядочение, центрация, первоначально возникают в ходе выполнения внешних действий с внешними объектами, а затем продолжают развиваться в плане внутренней мыслительной деятельности по ее собственным логико-генетическим законам². Иные исходные позиции определили взгляды на переход от действия к мысли П. Жане, А. Валлона, Д. Брунера.

В советской психологии понятие об интериоризации (“вращивании”) обычно связывают с именем Л. С. Выготского и его учеников, которым принадлежат важные исследования этого процесса. Последовательные этапы и условия целенаправленного, “не стихийного” преобразования внешних (материализованных) действий в действия внутренние (умственные) особенно детально изучаются П. Я. Гальпериным³.

Исходные идеи, которые привели Выготского к проблеме происхождения внут-

ренней психической деятельности из внешней, принципиально отличаются от теоретических концепций других современных ему авторов. Идеи эти родились из анализа особенностей специфически человеческой деятельности — деятельности трудовой, продуктивной, осуществляющейся с помощью орудий, деятельности, которая, является изначально общественной, т. е. которая развивается только в условиях кооперации и общения людей. Соответственно Л. С. Выготский выделял два главных взаимосвязанных момента, которые должны быть положены в основание психологической науки. Это орудийная (“инструментальная”) структура деятельности человека и ее включенность в систему взаимоотношений с другими людьми. Они-то и определяют собой особенности психологических процессов у человека. Орудие опосредствует деятельность, связывающую человека не только с миром вещей, но и с другими людьми. Благодаря этому его деятельность *впитывает в себя опыт человечества*. Отсюда и проистекает, что психические процессы человека (его “высшие психологические функции”) приобретают структуру, имеющую в качестве своего обязательного звена общественно-исторически сформировавшиеся средства и способы, передаваемые ему окружающими людьми в процессе сотрудничества, в общении с ними. Но передать средство, способ выполнения того или иного процесса невозможно иначе, как во внешней форме — в форме действия или в форме внешней речи. Другими словами, высшие специфические человеческие психические процессы могут родиться только во взаимодействии человека с человеком, т. е. как *интерпсихологические*, и лишь затем начинают выполняться индивидом самостоятельно; при этом некоторые из них утрачивают далее свою исходную внешнюю форму, превращаясь в процессы *интрапсихологические*⁴.

К положению о том, что внутренние психические деятельности происходят из

¹ Пиаже Ж. Роль действия в формировании мышления // Вопросы психологии. 1965. № 6. С. 33.

² См.: Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М., 1969.

³ См.: Гальперин П. Я. Развитие исследований по формированию умственных действий // Психологическая наука в СССР. М., 1959. Т. 1. С. 441—469.

⁴ См.: Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М., 1960. С. 198—199.

практической деятельности, исторически сложившейся в результате образования основанного на труде человеческого общества, и что у отдельных индивидов каждого нового поколения они формируются в ходе онтогенетического развития, присоединялось еще одно очень важное положение. Оно состоит в том, что одновременно происходит изменение самой формы психического отражения реальности: возникает *сознание* — рефлексия субъектом действительности, своей деятельности, самого себя. Но что такое сознание? Сознание есть *со-знание*, но лишь в том смысле, что индивидуальное сознание может существовать только при наличии общественного сознания и языка, являющегося его реальным субстратом. В процессе материального производства люди производят также язык, который служит не только средством общения, но и носителем фиксированных в нем общественно выработанных значений.

Прежняя психология рассматривала сознание как некую метапсихологическую плоскость движения психических процессов. Но сознание не дано изначально и не порождается природой: сознание порождается обществом, оно *производится*. Поэтому сознание — не постулат и не условие психологии, а ее проблема — предмет конкретно-научного психологического исследования.

Таким образом, процесс интериоризации состоит не в том, что внешняя деятельность *перемещается* в предсуществующий внутренний “план сознания”; это — процесс, в котором этот внутренний план *формируется*.

Как известно, вслед за первым циклом работ, посвященных изучению роли внешних средств и их “вращивания”, Л.С.Выготский обратился к исследованию сознания, его “клеточек” — словесных значений, их формирования и строения. Хотя в этих исследованиях значение выступило со стороны своего, так сказать, обратного движения и поэтому как то, что лежит за жизнью и управляет деятельностью, для Л.С.Выготского оставался незыблемым противоположный тезис: не значение, не сознание лежит за жизнью, а за сознанием *лежит жизнь*.

Исследование формирования умственных процессов и значений (понятий) как бы вырезает из общего движения деятельности лишь один, хотя и очень важный его участок: усвоение индивидом способов мышления, выработанных человечеством. Но этим не покрывается даже только познавательная деятельность — ни ее формирование, ни ее функционирование. *Психологически* мышление (и индивидуальное сознание в целом) шире, чем те логические операции и те значения, в структурах которых они свернуты. Значения сами по себе не порождают мысль, а опосредствуют ее, так же как орудие не порождает действия, а опосредствует его.

На позднейшем этапе своего исследования Л.С.Выготский много раз и в разных формах высказывал это капитально важное положение. Последний оставшийся “утаенным” план речевого мышления он видел в его мотивации, в аффективно-волевой сфере. Детерминистическое рассмотрение психической жизни, писал он, исключает “приписывание мышлению магической силы определять поведение человека одной собственной системой”¹. Вытекающая отсюда положительная программа требовала, сохранив открывшуюся активную функцию значения, мысли, еще раз обернуть проблему. А для этого нужно было возвратиться к категории предметной деятельности, распространив ее и на внутренние процессы — процессы сознания.

Именно в итоге движения теоретической мысли по этому пути открывается принципиальная общность внешней и внутренней деятельности как опосредствующих взаимосвязи человека с миром, в которых осуществляется его реальная жизнь.

Соответственно этому главное различие, лежавшее в основе классической картезианско-локковской психологии, — различие, с одной стороны, внешнего мира, мира протяжения, к которому относится и внешняя, телесная деятельность, а с другой — мира внутренних явлений и процессов сознания — должно уступить свое место другому различию: с одной стороны — предметной реальности и ее идеализированных, превращенных форм (*verwandelte Formen*), с другой стороны —

¹ *Выготский Л. С. Избранные психологические произведения. М., 1956. С. 54.*

деятельности субъекта, включающей в себя как внешние, так и внутренние процессы. А это означает, что расщепление деятельности на две части, или стороны, якобы принадлежащие к двум совершенно разным сферам, устраняется. Вместе с тем это ставит новую проблему — проблему исследования конкретного соотношения и связи между различными формами деятельности человека. <...>

Несколько забегаая вперед, скажем сразу, что взаимопереходы, о которых идет речь, образуют важнейшее движение предметной человеческой деятельности в ее историческом и онтогенетическом развитии. Переходы эти возможны потому, что *внешняя и внутренняя деятельность имеют одинаковое общее строение*. Открытие общности их строения представляется мне одним из важнейших открытий современной психологической науки.

Итак, внутренняя по своей форме деятельность, происходя из внешней практической деятельности, не отделяется от нее и не становится над ней, а сохраняет принципиальную и притом двухстороннюю связь с ней.

Общее строение деятельности

Общность макроструктуры внешней, практической деятельности и деятельности внутренней, теоретической позволяет вести ее анализ, первоначально отвлекаясь от формы, в которой они протекают.

Идея анализа деятельности как метод научной психологии человека была заложена, как я уже говорил, еще в ранних работах Л.С. Выготского. Были введены понятия орудия, орудийных (“инструментальных”) операций, понятие цели, а позже и понятие мотива (“мотивационной сферы сознания”). Прошли, однако, годы, прежде чем удалось описать в первом приближении общую структуру человеческой деятельности и индивидуального сознания¹. Это первое описание сейчас, спустя четверть века, представляется во многом неудовлетворительным, чрезмер-

но абстрактным. Но именно благодаря его абстрактности оно может быть взято в качестве исходного, отправного для дальнейшего исследования.

До сих пор речь шла о деятельности в общем, собирательном значении этого понятия. Реально же мы всегда имеем дело с *особенными* деятельностями, каждая из которых отвечает определенной потребности субъекта, стремится к предмету этой потребности, угасает в результате ее удовлетворения и воспроизводится вновь, может быть, уже в совсем иных, изменившихся условиях.

Отдельные конкретные виды деятельности можно различать между собой по какому угодно признаку: по их форме, по способам их осуществления, по их эмоциональной напряженности, по их временной и пространственной характеристике, по их физиологическим механизмам и т. д. Однако главное, что отличает одну деятельность от другой, состоит в различии их предметов. Ведь именно предмет деятельности и придает ей определенную направленность. По предложенной мной терминологии предмет деятельности есть ее действительный мотив². Разумеется, он может быть как вещественным, так и идеальным, как данным в восприятии, так и существующим только в воображении, в мысли. Главное, что за ним всегда стоит потребность, что он всегда отвечает той или иной потребности.

Итак, *понятие деятельности необходимо связано с понятием мотива*. Деятельности без мотива не бывает; “немотивированная” деятельность — это деятельность, не лишенная мотива, а деятельность с субъективно и объективно скрытым мотивом.

Основными “составляющими” отдельных человеческих деятельностей являются осуществляющие их *действия*. Действием мы называем процесс, подчиненный представлению о том результате, который должен быть достигнут, т. е. процесс, подчиненный сознательной цели. Подобно тому как понятие мотива соотносится с понятием деятельности, поня-

¹ См.: *Леонтьев А. Н.* Очерки развития психики. М., 1947.

² Такое суженное понимание мотива как того предмета (вещественного или идеального), который побуждает и направляет на себя деятельность, отличается от общепринятого; но здесь не место вдаваться в полемику по этому вопросу.

тие цели соотносится с понятием действия.

Возникновение в деятельности целенаправленных процессов — действий — исторически явилось следствием перехода к жизни человека в обществе. Деятельность участников совместного труда побуждается его продуктом, который первоначально непосредственно отвечает потребности каждого из них. Однако развитие даже простейшего технического разделения труда необходимо приводит к выделению как бы промежуточных, частичных результатов, которые достигаются отдельными участниками коллективной трудовой деятельности, но которые *сами по себе* не способны удовлетворять их потребности. Их потребность удовлетворяется не этими “промежуточными” результатами, а долей продукта их совокупной деятельности, получаемой каждым из них в силу связывающих их друг с другом отношений, возникших в процессе труда, т. е. отношений *общественных*.

Легко понять, что тот “промежуточный” результат, которому подчиняются трудовые процессы человека, должен быть выделен для него также и субъективно — в форме представления. Это и есть выделение цели, которая, по выражению Маркса, “как закон определяет способ и характер его действий...”¹.

Выделение целей и формирование подчиненных им действий приводит к тому, что происходит как бы расщепление прежде слитых между собой в мотиве функций. Функция побуждения, конечно, полностью сохраняется за мотивом. Другое дело — функция направления: действия, осуществляющие деятельность, побуждаются ее мотивом, но являются направленными на цель. Допустим, что деятельность человека побуждается пищей; в этом и состоит ее мотив. Однако для удовлетворения потребности в пище он должен выполнять действия, которые *непосредственно* на овладение пищей не направлены. Например, цель данного человека — изготовление орудия лова; применит ли он в дальнейшем изготовленное им орудие сам или передаст его другим и получит часть общей добычи — в обоих случаях то, что побуждало его деятельность, и то, на что были направлены его действия, не совпа-

дают между собой; их совпадение представляет собой специальный, частный случай, результат особого процесса, о котором будет сказано ниже.

Выделение целенаправленных действий в качестве составляющих содержание конкретных деятельностей естественно ставит вопрос о связывающих их внутренних отношениях. Как уже говорилось, деятельность не является аддитивным процессом. Соответственно действия — это не особые “отдельности”, которые включаются в состав деятельности. Человеческая деятельность не существует иначе, как в форме действия или цепи действий. Например, трудовая деятельность существует в трудовых действиях, учебная деятельность — в учебных действиях, деятельность общения — в действиях (актах) общения и т. д. Если из деятельности мысленно вычтешь осуществляющие ее действия, то от деятельности вообще ничего не останется. Это же можно выразить иначе: когда перед нами развертывается конкретный процесс — внешний или внутренний, то со стороны его отношения к мотиву он выступает в качестве деятельности человека, а как подчиненный цели — в качестве действия или совокупности, цепи действий.

Вместе с тем деятельность и действие представляют собой подлинные и притом не совпадающие между собой реальности. Одно и то же действие может осуществлять разные деятельности, может переходить из одной деятельности в другую, обнаруживая таким образом свою относительную самостоятельность. Обратимся снова к грубой иллюстрации: допустим, что у меня возникает цель — прибыть в пункт N, и я это делаю. Понятно, что данное действие может иметь совершенно разные мотивы, т. е. реализовать совершенно разные деятельности. Очевидно и обратное, а именно, что один и тот же мотив может конкретизоваться в разных целях и соответственно породить разные действия.

В связи с выделением понятия действия как важнейшей “образующей” человеческой деятельности (ее момента) нужно принять во внимание, что сколько-нибудь развернутая деятельность предполагает достижение *ряда* конкретных целей, из числа которых некоторые связаны между

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 189.

собой жесткой последовательностью. Иначе говоря, деятельность обычно осуществляется некоторой совокупностью действий, подчиняющихся *частным целям*, которые могут выделяться из общей цели; при этом случай, характерный для более высоких ступеней развития, состоит в том, что роль общей цели выполняет осознанный мотив, превращающийся благодаря его осознанности в *мотив-цель*.

Одним из возникающих здесь вопросов является вопрос о целеобразовании. Это очень большая психологическая проблема. Дело в том, что от мотива деятельности зависит только зона объективно адекватных целей. Субъективное же выделение цели (т.е. осознание ближайшего результата, достижение которого осуществляет данную деятельность, способную удовлетворить потребность, опредмеченную в ее мотиве) представляет собой особый, почти не изученный процесс. В лабораторных условиях или в педагогическом эксперименте мы обычно ставим перед испытуемым, так сказать, “готовую” цель; поэтому самый процесс целеобразования обычно ускользает от исследователя. Пожалуй, только в опытах, сходных по своему методу с известными опытами Ф. Хоппе, этот процесс обнаруживается хотя и односторонне, но достаточно отчетливо, по крайней мере со своей количественно-динамической стороны. Другое дело — в реальной жизни, где целеобразование выступает в качестве важнейшего момента движения той или иной деятельности субъекта. Сравним в этом отношении развитие научной деятельности, например, Ч. Дарвина и Л. Пастера. Сравнение это поучительно не только с точки зрения существования огромных различий в том, как происходит субъективно выделение целей, но и с точки зрения психологической содержательности процесса их выделения.

Прежде всего в обоих случаях очень ясно видно, что цели не изобретаются, не ставятся субъектом произвольно. Они даны в объективных обстоятельствах. Вместе с тем выделение и осознание целей представляет собой отнюдь не автоматически происходящий и не одномоментный акт, а относительно длительный процесс *апробирования целей действием* и их, если можно так выразиться, предметного на-

полнения. Индивид, справедливо замечает Гегель, “не может определить *цель* своего действия, пока он не действовал...”¹.

Другая важная сторона процесса целеобразования состоит в конкретизации цели, в выделении условий ее достижения. Но на этом следует остановиться особо.

Всякая цель — даже такая, как “достичь пункта *N*”, — объективно существует в некоторой предметной ситуации. Конечно, для сознания субъекта цель может выступить в абстракции от этой ситуации, но его *действие* не может абстрагироваться от нее. Поэтому помимо своего интенционального аспекта (*что* должно быть достигнуто) действие имеет и свой операционный аспект (*как*, каким способом это может быть достигнуто), который определяется не самой по себе целью, а объективно-предметными условиями ее достижения. Иными словами, *осуществляющееся* действие отвечает задаче; задача — это и есть цель, данная в определенных условиях. Поэтому действие имеет особое качество, особую его “образующую”, а именно способы, какими оно осуществляется. Способы осуществления действия я называю *операциями*.

Термины “действие” и “операция” часто не различаются. Однако в контексте психологического анализа деятельности их четкое различение совершенно необходимо. Действия, как уже было сказано, соотносительны целям, операции — условиям. Допустим, что цель остается той же самой, условия же, в которых она дана, изменяются; тогда меняется именно и только операционный состав действия.

В особенно наглядной форме несовпадение действий и операций выступает в орудийных действиях. Ведь орудие есть материальный предмет, в котором кристаллизованы именно способы, операции, а не действия, не цели. Например, можно физически расчленить вещественный предмет при помощи разных орудий, каждое из которых определяет способ выполнения данного действия. В одних условиях более адекватным будет, скажем, операция резания, а в других — операция пиления; при этом предполагается, что человек умеет владеть соответствующими орудиями —

¹ Гегель Г.В. Ф. Соч. М., 1959. С. 212—213

ножом, пилой и т. п. Так же обстоит дело и в более сложных случаях. Допустим, что перед человеком возникла цель графически изобразить какие-то найденные им зависимости. Чтобы сделать это, он должен применить тот или иной способ построения графиков — осуществить определенные операции, а для этого он должен уметь их выполнять. При этом безразлично, как, в каких условиях и на каком материале он научился этим операциям; важно другое, а именно, что формирование операций происходит совершенно иначе, чем целеобразование, т. е. порождение действий.

Действия и операции имеют разное происхождение, разную динамику и разную судьбу. Генезис действия лежит в отношениях обмена деятельностью; всякая же операция есть результат преобразования действия, происходящего в результате его включения в другое действие и наступающей его “технизации”. Простейшей иллюстрацией этого процесса может служить формирование операций, выполнения которых требует, например, управление автомобилем. Первоначально каждая операция, например, переключение передач, формируется как действие, подчиненное именно этой цели и имеющее свою сознательную “ориентировочную основу” (П. Я. Гальперин). В дальнейшем это действие включается в другое действие, имеющее сложный операционный состав, например, в действие изменения режима движения автомобиля. Теперь переключение передач становится одним из способов его выполнения — операцией, его реализующей, и оно уже перестает осуществляться в качестве особого целенаправленного процесса: его цель не выделяется. Для сознания водителя переключение передач в нормальных случаях как бы вовсе не существует. Он делает другое: трогает автомобиль с места, берет крутые подъемы, ведет автомобиль накатом, останавливает его в заданном месте и т. п. В самом деле: эта операция может, как известно, вовсе выпасть из деятельности водителя и выполняться автоматом. Вообще судьба операций — рано или поздно становится функцией машины¹.

Тем не менее операция все же не составляет по отношению к действию никакой “отдельности”, как и действие по отношению к деятельности. Даже в том случае, когда операция выполняется машиной, она все же реализует действия *субъекта*. У человека, который решает задачу, пользуясь счетным устройством, действие не прерывается на этом экстрацеребральном звене; как и в других своих звеньях, оно находит в нем свою реализацию. Выполнять операции, которые не осуществляют никакого целенаправленного действия субъекта, может только “сумасшедшая”, вышедшая из подчинения человеку машина.

Итак, в общем потоке деятельности, который образует человеческую жизнь в ее высших, опосредствованных психическим отражением проявлениях, анализ выделяет, во-первых, отдельные (особенные) деятельности — по критерию побуждающих их мотивов. Далее выделяются действия — процессы, подчиняющиеся сознательным целям. Наконец, это операции, которые непосредственно зависят от условий достижения конкретной цели.

Эти “единицы” человеческой деятельности и образуют ее макроструктуру. Особенность анализа, который приводит к их выделению, состоит в том, что он пользуется не расчленением живой деятельности на элементы, а раскрывает характеризующие ее внутренние отношения. Это отношения, за которыми скрываются преобразования, возникающие в ходе развития деятельности, в ее движении. Сами предметы способны приобретать качества побуждений, целей, орудий только в системе человеческой деятельности; изъятые из связей этой системы, они утрачивают свое существование как побуждения, как цели, как орудия. Орудие, например, рассматриваемое вне связи с целью, становится такой же абстракцией, как операция, рассматриваемая вне связи с действием, которое она осуществляет. <...>

Деятельность может утратить мотив, вызвавший ее к жизни, и тогда она превратится в действие, реализующее, может быть, совсем другое отношение к миру, другую деятельность; наоборот, действие

¹ См.: Леонтьев А. Н. Автоматизация и человек // Психологические исследования. М., 1970. Вып. 2. С. 8—9.

может приобрести самостоятельную побудительную силу и стать особой деятельностью; наконец, действие может трансформироваться в способ достижения цели, в операцию, способную реализовать различные действия.

Подвижность отдельных “образующих” системы деятельности выражается, с другой стороны, в том, что каждая из них может становиться более дробной или, наоборот, включать в себя единицы, прежде относительно самостоятельные. Так, в ходе достижения выделявшейся общей цели может происходить выделение промежуточных целей, в результате чего целостное действие дробится на ряд отдельных последовательных действий; это особенно характерно для случаев, когда действие протекает в условиях, затрудняющих его выполнение с помощью уже сформировавшихся операций. Противоположный процесс состоит в укрупнении выделяемых единиц деятельности. Это случай, когда объективно достигаемые промежуточные результаты сливаются между собой и перестают сознаваться субъектом.

Соответственно происходит дробление или, наоборот, укрупнение также и “единиц” психических образов: переписываемый неопытной рукой ребенка текст членится в его восприятии на отдельные буквы и даже на их графические элементы; позже в этом процессе единицами восприятия становятся для него целые слова или даже предложения.

Перед невооруженным глазом процесс дробления или укрупнения единиц деятельности и психического отражения — как при внешнем наблюдении, так и интроспективно — сколько-нибудь отчетливо не выступает. Исследовать этот процесс можно, только пользуясь специальным анализом и объективными индикаторами. К числу таких индикаторов принадлежит, например, так называемый оптокинетический нистагм, изменения циклов которого, как показали исследования, позволяют при выполнении графических действий уста-

новить объем входящих в их состав двигательных “единиц”. Например, написание слов на иностранном языке расчленяется на гораздо более дробные единицы, чем написание привычных слов родного языка. Можно считать, что такое членение, отчетливо выступающее на окулограммах, соответствует расщеплению действия на входящие в его состав операции, по-видимому наиболее простые, первичные¹. <...>

Имеются отдельные деятельности, все звенья которых являются существенно внутренними; такой может быть, например, познавательная деятельность. Более частый случай состоит в том, что внутренняя деятельность, отвечающая познавательному мотиву, реализуется существенно внешними по своей форме процессами; это могут быть либо внешние действия, либо внешне-двигательные операции, но никогда не отдельные их элементы. То же относится и к внешней деятельности: некоторые из осуществляющих внешнюю деятельность действий и операций могут иметь форму внутренних, умственных процессов, но опять-таки именно и только либо как действия, либо как операции — в их целостности, неделимости. Основание такого, прежде всего фактического, положения вещей лежит в самой природе процессов интериоризации и экстериоризации: ведь никакое преобразование отдельных “осколков” деятельности вообще невозможно. Это означало бы не трансформацию деятельности, а ее деструкцию.

Выделение в деятельности действий и операций не исчерпывает ее анализа. За деятельностью и регулирующими ее психическими образами открывается грандиозная физиологическая работа мозга. Само по себе положение это не нуждается в доказательстве. Проблема состоит в другом — в том, чтобы найти те действительные отношения, связывающие деятельность субъекта, опосредствованную психическим отражением, и физиологические мозговые процессы.

¹ См.: Гиппенрейтер Ю. Б., Пик Г. Л. Фиксационный оптокинетический нистагм как показатель участия зрения в движениях // Исследование зрительной деятельности человека. М., 1973; Гиппенрейтер Ю. Б., Романов В. Я., Самсонов И. С. Метод выделения единиц деятельности // Восприятие и деятельность. М., 1975.

А.Н.Леонтьев

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПСИХИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ¹

1. Первое, что должно быть выделено среди многообразных форм человеческой активности, — это различные типы сложных деятельностей, осуществляющие соответственно различные формы отношения человека к действительности (практическая деятельность, познавательная деятельность, эстетическая деятельность и т. п.).

Внутри этих типов сложной деятельности мы выделяем *отдельные деятельности* (различая их по конкретному предмету). Предмет деятельности и является одновременно тем, что побуждает данную деятельность, т. е. ее *мотивом*. Мотив деятельности всегда, следовательно, совпадает с ее предметом.

Отвечая той или иной потребности, мотив деятельности переживается субъектом в форме *желания, хотения* и т. п. (или, наоборот, в форме переживания отворачивания и т. п., что составляет специальные случаи отрицательно мотивированной деятельности, объективно создаваемой данным содержанием ее, входящим в “двойную структуру”). Эти формы переживания суть формы отражения *отношения субъекта к мотиву*, формы переживания *смысла деятельности*.

По характеру мотивации деятельности, а следовательно, и по характеру соответствующей потребности субъекта мы различаем идеально-мотивированные де-

ятельности (отвечающие высшим потребностям) и деятельности витально-мотивированные (отвечающие так называемым естественным потребностям).

Осуществление деятельности связано с чувством (эмоцией, аффектом). Эта форма переживания есть форма отражения отношения результата деятельности (достигаемого, достигнутого, могущего быть достигнутым) *к ее мотиву*, которая возникает на несовпадении предмета деятельности, т. е. того, на что она направлена, и *ее результата*, т. е. того, к чему она реально приведет (или может привести).

В случае развитой деятельности аффект возникает и в связи с *действием*. Он определяется отношением результата действия к предмету действия.

2. Мы называем сложными те деятельности, которые включают в себя действия. Значит, содержание всякой сложной деятельности составляют действия.

Действие отличается от деятельности тем, что предмет, на который оно направлено, не совпадает с его мотивом. То и другое здесь разделено. Мотив, побуждающий действие, лежит в предмете (совпадает с ним) той деятельности, в которую включено данное действие.

Условием осознания действия (а действие всегда сознательно) является сознание отношения, связывающего предмет действия с предметом деятельности: предмет действия и выступает для субъекта всегда в определенном отношении к мотиву, т. е. как сознательная цель действия. (Именно несовпадение предмета и мотива является критерием для отличия действия от деятельности; если мотив данного процесса лежит в нем самом, это — деятельность, если же он лежит вне самого этого процесса, это — действие.)

Это сознаваемое отношение предмета действия к его мотиву и есть *смысл действия*; форма переживания (сознания) смысла действия есть сознание его *цели*.

(Поэтому, предмет, имеющий для меня смысл, есть предмет, выступающий как предмет возможного целенаправленного действия; действие, имеющее для меня смысл, есть соответственно действие, воз-

¹ Леонтьев А.Н. *Философия психологии: Из научного наследия*. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. С. 48—51.

можное по отношению к той или иной цели.)

Изменение смысла действия есть всегда изменение его мотивации.

(Это изменение смысла действия возможно лишь благодаря несовпадению цели действия с его результатом; это происходит потому, что цель есть сознательная цель и, следовательно, всегда связана с осознанием отношения предмета действия к предмету деятельности. Но это же несовпадение является предпосылкой того, что действие приобретает мотив себе, т. е. становится деятельностью.)

Выделение в связи с актуальным мотивом цели действия есть процесс образования намерения (я намерен пойти на концерт, но я хочу слушать музыку).

Действия могут замещаться в деятельности одно — другим. Психологическая проблема выбора действия есть психологическая проблема решительности.

Действие связано с аффектом, поскольку оно составляет содержание определенной деятельности, а не само по себе. Будучи включено в другую деятельность, действие может приобрести иную эмоциональную окраску.

Действие может быть по своей форме *практическим* (т. е. иметь материальный предмет) или *идеальным*, теоретическим (т. е. предмет может быть идеальным). Практическое действие есть всегда внешнее действие, теоретическое действие может быть внутренним.

3. Особый вид действий представляют собой действия волевые в узком смысле этого слова, т. е. переживаемые субъектом, как требующие внутреннего усилия и действия поступки. (Мы подчеркиваем, что речь идет о волевых действиях в *узком смысле*, так как в широком смысле волевым является решительно всякое действие, что вытекает из самого определения действия.)

Волевое действие характеризуется наличием момента подчинения одного мотива другому, причем оба эти мотива имеют противоположные аффективные знаки. Такого рода подчинение мотивов может происходить при двояком условии:

1) в случае когда действие входит или начинает входить одновременно в две различные деятельности, заключающие в себя аффективно противоположные мотивы, и

2) в случае когда действие является генетически простой деятельностью и, следовательно, его предмет сам служит мотивом; таким образом, в этом случае волевое действие возникает из подчинения одной, простой деятельности (которая тем самым превращается в действие) другой, сложной деятельности, имеющей противоположный по своему знаку мотив.

В случае когда действие входит в двоякую деятельность, но мотивация обеих этих деятельностей, будучи различной, не является, однако, противоположной по своему знаку, мы называем такое действие поступком. Поступок требует сознания отношений, существующих между обеими деятельностями, и учета обоих мотивов; поступок есть, следовательно, действие сложномотивированное, имеющее сложный смысл.

4. Действие может иметь цель, данную в таких условиях, которые определяют собой самый способ действия. Цель, данная в условиях, определяющих способ действия, и есть не что иное, как задача.

То содержание действия (способ его), которое определяется не самой целью, но именно условиями, в которых она дана, мы называем *операцией*. Действие, определяемое задачей, всегда, следовательно, включает в себя операцию.

О том, является ли данное содержание действия операцией или нет, мы можем судить по следующему признаку. Если данное содержание действия возникает в зависимости от предмета (цели) действия, то это — не операция; если, наоборот, данное содержание возникает в действии в зависимости от условий, в которых дана цель, то это — *операция*.

Операция, таким образом, отличается от действия тем, что она определяется не целью, а условиями, в которых дана цель.

Операция кристаллизуется для сознания в значении. Овладеть значением чего-нибудь и есть овладеть способом возможного действия с данным предметом, словом (значением слова) или даже действием же (применением действия).

Операция приобретает формы умения и навыка.

5. В осуществлении всякой деятельности, действия или операции обнаруживают себя многообразные психофизиологические функции организма: сенсорные, двига-

тельные функции, мнемическая функция, функция “тоническая” и т. п. Без этих функций (и соответствующих органов) невозможно осуществление никакой деятельности; они являются, следовательно, необходимым условием деятельности. Однако деятельность, действие, операция не сводятся к этим функциям и не могут быть выведены из них.

Переход к рассмотрению психофизиологических функций есть, таким образом, переход к собственно психофизиологическому анализу.

(Психофизиология мыслится нами как специальная наука, занимающая по отношению к психологии такое же, примерно, положение, как биохимия по отношению к физиологии.)

В.В.Давыдов

[ПРОБЛЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ]¹

Все гуманитарные науки, в том числе психология и педагогика, с разных сторон изучают человеческую деятельность. Изложим общее понимание деятельности, которое сложилось в диалектико-материалистической философии и диалектической логике. Лишь опираясь на такое понимание деятельности, можно правильно сформулировать новые проблемы в различных частных областях ее изучения.

Основы диалектико-материалистического понимания деятельности заложил К.Маркс. Так, при описании общих особенностей человеческого труда он характеризует его прежде всего как *деятельность* человека, *изменяющую* природу и использующую при этом свойства одних природных вещей в качестве орудий воздействия на другие вещи, превращая их тем самым в орган своей деятельности. Воздействуя на природу и изменяя ее, человек в то же время изменяет и свою собственную природу².

Согласно К. Марксу, “труд есть *положительная, творческая деятельность*”³, т.е. созидательная деятельность, осуществляемая в рамках общественных связей и отношений⁴. “...Свободная сознательная деятельность как раз и составляет родовой характер человека... Именно в переработке предметного мира человек впервые действительно утверждает себя как *родовое существо*. Это производство есть его деятельная родовая жизнь”⁵. В отличие от одностороннего производства животных человек как родовое (общественное) существо “производит универсально; ...воспроизводит всю природу; ...умеет производить по меркам любого вида и всюду он умеет применить к предмету присущую мерку...”⁶.

Конспектируя и цитируя труды Гегеля по диалектической логике, В.И. Ленин резюмировал ряд его положений о характере и особенностях деятельности человека (эти конспекты и соответствующие оценки различных суждений Гегеля содержатся в “Философских тетрадах” В.И. Ленина)⁷. Приведем одно такое резюме, выражающее вместе с тем собственное его понимание существенных особенностей деятельности: “Деятельность человека... *изменяет* внешнюю действительность, уничтожает ее определенность (= меняет те или иные ее стороны, качества)...”⁸. В.И. Ленин выделял две формы объективного процесса: “природа (механическая и химическая) и *целеполагающая* деятельность человека”⁹.

Понятие деятельности с античных времен разрабатывалось в идеалистической философии и особенно глубоко в немецкой классической философии (Кант, Фихте, Гегель, Шеллинг). В работах Гегеля по диалектической логике (или, как принято говорить в философской литературе, в “Логике” с большой буквы) были описаны всеобщие

¹ Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996. С. 10—33.

² См.: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 23. С. 188.

³ Там же. Т. 46. Ч. II. С. 113.

⁴ См. там же. Т. 6. С. 441.

⁵ Там же. Т. 42. С. 93 — 94.

⁶ Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 42. С. 93—94.

⁷ Взгляды В.И. Ленина, касающиеся человеческой деятельности, представлены именно в его “Философских тетрадах”, значительную часть которых занимают конспектирование и анализ трудов Гегеля по диалектической логике. Эти взгляды изложены нами в книге: Проблемы развивающего обучения. М., 1986. С. 14—21.

⁸ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 199.

⁹ Там же. С. 170.

схемы деятельности, ее историческое развитие в процессах преобразования человеком природы и самого себя. Анализируя подход Гегеля и Маркса к деятельности¹, философ и логик Э.В. Ильенков пришел к следующему выводу о содержании самой диалектической логики. “Диалектическая логика, — писал он, — есть поэтому не только всеобщая схема деятельности, творчески преобразующая природу, но одновременно и всеобщая схема изменения любого естественно-природного и социально-исторического материала, в котором эта деятельность выполняется и объективными требованиями которого она всегда связана”².

Этот вывод в принципе соответствует, на наш взгляд, следующему положению В.И. Ленина, сформулированному им при конспектировании работы Гегеля по логике: “Логика есть учение не о внешних формах мышления, а о законах развития “всех материальных, природных и духовных вещей”, т.е. развития всего конкретного содержания мира и познания его, т.е. итог, сумма, вывод *истории* познания мира”³ (В средней части этого положения, представленной в кавычках, В.И. Ленин цитирует Гегеля.)

Таким образом, философско-логическое понятие деятельности выделяет и определяет существенную специфику жизни людей, которая состоит в том, что они целенаправленно изменяют и преобразуют природную и социальную действительность. Первичной формой такого преобразования является производство материальных орудий, с помощью которых люди создают предметы, удовлетворяющие их жизненные потребности. Материальное производство (труд) имеет универсальный характер, поскольку в принципе может создавать любые орудия и предметы. Такое производство осуществляется людьми только в определенных взаимосвязях и отношениях, совокупность которых образует

производственные или общественные отношения людей. В процессе исторического развития материального производства и общественных отношений возникло и приобрело относительную самостоятельность духовное производство, — но и в этой форме труда сохраняются основные качества материального производства: его универсально-преобразовательный и общественный характер.

В диалектико-материалистической философии деятельность — *исходное понятие* (или категория), определяющее специфику, сущность общественно-исторического бытия людей. “В отличие от законов природы законы общества обнаруживают себя только в деятельности и через деятельность людей. Такова специфика исторической действительности, характерные черты ее бытия”⁴. Теория общественно-исторического бытия людей строится на основе понятия деятельности. Рассматривая это положение “о теории”, нужно учитывать своеобразие диалектической логики. Во-первых, истолкование в ней смысла “теории”, во-вторых, ее монистический принцип.

“Теорией” в этой логике принято считать только такое мыслительное образование, которое строится путем *восхождения мысли от абстрактного к конкретному*. “Абстрактное” понимается в качестве исходного основания или “клеточки” процесса развития некоторой целостной системы. “Конкретным” является сама эта развитая целостная система⁵.

“Под монизмом понимается... логическое воззрение, согласно которому любое цельное и последовательное теоретическое построение возможно лишь на базе одного-единственного исходного основоположения... проведенного через всю цепь научного рассуждения, и соответственно убеждение в том, что в основе каждой логически строй-

¹ К. Маркс на материалистической основе использовал и развил диалектическую логику Гегеля. В “Философских тетрадах” есть такое суждение В.И. Ленина: “Если *Marx* не оставил “*Логики*” (с большой буквы), то он оставил *логику* “Капитала”... В “Капитале” применена к одной науке логика, диалектика и теория познания [не надо 3-х слов: это одно и то же] материализма, взявшего все ценное у Гегеля и двинувшего сие ценное вперед”. — Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 301.

² Ильенков Э. В. Диалектическая логика. М., 1984. С. 8–9.

³ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 84.

⁴ Плетников Ю. К. Место категории деятельности в теоретической системе исторического материализма // Деятельность: теории, методология, проблемы. М., 1990. С. 96.

⁵ См.: Материалистическая диалектика. М., 1985. С. 253–256.

ной и систематически развернутой научной концепции лежит один и только один фундаментальный принцип, из которого выведены все остальные теоретические положения этой концепции”¹. И далее: “С точки зрения монистического требования диалектической логики, исходное понятие всякой научной теории должно фиксировать специфическую природу... рассматриваемой группы явлений, с тем чтобы последующее развертывание системы теоретических определений адекватно воссоздавало основную закономерность развертывания этой специфической природы в данное многообразие явлений”².

Итак, теория некоторой целостной развитой системы в качестве абстрактной основы должна иметь одно-единственное исходное понятие (или категорию), фиксирующее специфику (сущность) этой системы. Анализ фактических материалов в свете исходного понятия позволяет строить цепь теоретических рассуждений. Благодаря этому выявляются и конкретизируются специфические закономерности *развития* некоторой системы как объекта теории. Принцип восхождения мысли от абстрактного к конкретному применим к построению теории развивающейся целостной системы.

Мы полагаем, что именно понятие деятельности может быть той исходной абстракцией, конкретизация которой позволит создать общую теорию развития общественного бытия людей и различные частные теории его отдельных сфер. На этом пути стоят большие препятствия, одно из которых как раз и связано с трудностями дальнейшей разработки философско-логического понимания деятельности.

В последние десятилетия проведены серьезные исследования, связанные с различ-

ными философско-логическими аспектами понятия деятельности³. Можно выделить ряд принципиальных уточнений этого понятия. Наиболее интересны среди них, на наш взгляд, следующие. Это прежде всего специальное подчеркивание того обстоятельства, что деятельность существует лишь в системе объективных и необходимых общественно-производственных материальных отношений, которые возникают независимо от воли и сознания людей. Очень важным является также раскрытие смысла целостности деятельности, реализуемой человеком-субъектом в процессе постановки и достижения цели, т.е. в процессе целеполагания. Суть деятельности — в созидании человеческого мира человеком, в творении собственных общественных отношений и самого себя (это составляет и сущность культуры). Поэтому цель возникает у человека в качестве образа предвидимого результата созидания. Преобразующий и целеполагающий характер деятельности позволяет ее субъекту выйти за рамки любой ситуации и встать над задаваемой ею детерминацией, вписывая ее в более широкий контекст культурно-исторического бытия, и тем самым найти средство, выходящее за пределы возможностей данной детерминации. Деятельность постоянно и неограниченно преодолевает лежащие в ее основе “программы” (поэтому ее нельзя ограничивать преобразованием наличного бытия по уже установившимся культурным нормам). В этом обнаруживается принципиальная открытость и универсальность деятельности. Ее нужно понимать как форму исторического культурного творчества. Вместе с тем созидание или творение человеком своей неповторимой индивидуальной жизнедеятельности есть начало его личности⁴.

¹ Философская энциклопедия. Т. 3. М., 1964. С. 489.

² Там же. С. 491.

³ См.: Маркарян Э. С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. Ереван, 1973; Кветной М. С. Человеческая деятельность: сущность, структура, типы. Саратов, 1974; Казан М. С. Человеческая деятельность (опыт системного анализа). М., 1974; Воронович Б. А., Плетников Ю. К. Категория деятельности в историческом материализме. М., 1975; Иванов В. П. Человеческая деятельность — познание — искусство. Киев, 1977; Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. М., 1978; Буева Л. П. Человек: деятельность и общение. М., 1978; Демин М. В. Природа деятельности. М., 1984; Деятельность: теории, методология, проблемы.

⁴ Перечисленные здесь характеристики деятельности представлены в материалах дискуссионного сборника статей “Деятельность: теории, методология, проблемы” (С. 3—16, 65, 95, 104, 177—122 и др.) В этом сборнике, по нашему мнению, сконцентрированы общие результаты основных разработок в области теории деятельности.

Некоторые специалисты гуманитарного профиля, считая недостаточными позиции той или иной **конкретной** теории деятельности, признают вместе с тем эвристическое значение этого понятия или отдельных его составляющих (например, действия) и используют их в своих работах. В исследовательской практике возникло представление о “деятельностном подходе” к изучению отдельных сторон поведения, сознания и личности человека. Это представление выражает некоторую общую направленность в подходе к человеку на основе использования различных моментов понятия деятельности.

Следует отметить, что наряду с диалектико-материалистическим пониманием целостной деятельности в конце XIX – начале XX вв. разрабатывались представления, касающиеся в основном такой существенной ее составляющей, как действие. Так, Дж. Дьюи в русле философии прагматизма создал теорию действий, которые истолковывались в качестве инструменталистского содержания человеческих понятий¹. М. Вебер, проанализировав разные виды индивидуальных социальных действий, выделил в них особое значение ценностных установок и ориентаций². Ж. Пиаже на логико-математической и психологической основе предложил развернутую концепцию действия и операционального интеллекта человека³.

В последнее десятилетие в мировом научном сообществе вновь оживился интерес к проблемам теории деятельности, о чем свидетельствует проведение трех соответствующих международных конгрессов (1986 г., Западный Берлин; 1990 г., Финляндия; 1995 г., Москва), создание международной организации по изучению этих проблем.

Представляет, на наш взгляд, интерес книга финского ученого Ю. Энгештрема⁴. Хотя она в основном посвящена вопросам развивающего обучения, ее автор вполне правомерно сначала изложил свой концептуальный аппарат анализа целостной че-

ловеческой деятельности и проанализировал основные направления ее изучения, сложившиеся в мировой гуманитарной науке. При этом он выделил следующие направления: 1) исследование знаковых систем (Ч. Пирс, К. Поппер); 2) исследование межсубъектности (М. Мид); 3) исследование культурно-исторической школы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев).

Первое направление редуцирует человеческую деятельность к индивидуальному познанию и не объясняет того, как в совместной деятельности людей создается материальная культура. Второе воспроизводит социально-интегративную реальность человеческой деятельности, которая все еще понимается как существующая для сознания, а не как практическая или материальная. В рамках третьего направления вводится понятие совместной деятельности людей, основанной на материальном производстве, опосредствованной техническими и психологическими орудиями (традиции последнего направления продолжают автором книги).

Ю. Энгештрем рассматривает филогенез деятельности, анализируя формы активности у животных и их трансформацию в формы собственно человеческой деятельности. Он подчеркивает роль использования людьми орудий в процессе такой трансформации. Специальное место в книге отводится внутренним противоречиям человеческой деятельности, ведущим из которых автор считает противоречие между индивидуальной и родовой деятельностью. Это противоречие рождается в процессе разделения труда и имеет различные исторические формы. В последующем Ю. Энгештрем, опираясь на свои общие представления о деятельности и ее структуре, разворачивает концепцию развивающего обучения.

Исследование деятельности в отечественной психологии происходило с позиций ее диалектико-материалистического философского понимания, — оно было конкретизировано применительно к психологическому материалу. Общепси-

¹ См.: Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. Берлин, 1922.

² См.: Вебер М. Избр. произв. М., 1990.

³ См.: Пиаже Ж. Избр. психол. труды. М., 1969.

⁴ См: Engestrom Y. Learning by expanding. An activitytheoretical approach to developmental research. Helsinki, 1987.

хологическую теорию деятельности, начиная с 1920-х гг., создавали многие ученые, но особенно большой вклад в нее внесли С.Л. Рубинштейн¹ и А.Н. Леонтьев². Различные варианты психологической теории деятельности появляются в западных странах (например, теория немецкого психолога К.Хольцкампа³).

У психологической теории, где понятие деятельности стало исходным и главным, много последователей. Если конкретизировать это исходное понятие, то можно создавать развернутую психологическую теорию развития деятельности, сознания и личности человека. Это будет соответствовать монистическому принципу построения научной теории, согласно которому она должна разворачиваться на единой основе — на основе одного понятия. Именно таковым в психологии является, на наш взгляд, понятие деятельности.

Однако в последние годы некоторые психологи стремятся показать, будто бы в нашей науке наблюдается абсолютизация одного понятия (категории), что психология не может плодотворно развиваться на базе одного понятия (при этом подразумевается понятие деятельности) и должна строиться на основе системы несводимых друг к другу понятий. Также отмечается особенное значение для современной психологии таких философских и междисциплинарных (и вместе с тем для психологии базовых) понятий, как отражение, сознание, общественные отношения, деятельность, общение, личность⁴.

Перечисленные категории, конечно, могут быть базовыми для психологии (что, впрочем, установлено уже давно). Но даже их простое, взаимосвязанное перечисление теоретической системы из себя не представляет. Теория любой системы — при монистическом ее истолковании — строится на *едином* основании, исходя из одного понятия (какое понятие признать отправным и первым из их набора — зависит от общей позиции автора теории). Только в этом случае она строится диалектичес-

ким способом восхождения мысли от абстрактного к конкретному, способом выведения всех понятий из одного исходного и основополагающего, т.е. из абстрактно всеобщей “клеточки”. В противном случае научной теории не получится — внешнюю форму теоретизирования получит эмпирическое описание, в котором будут эклектически соединяться несводимые друг к другу представления. Указанное выше перечисление базовых понятий психологии как раз и толкает ее к эклектике. В эклектической же психологии понятие деятельности можно поставить не первым в ряду других, рядоположенно с понятиями сознания, общественных отношений; в такой психологии понятие общественных отношений можно поставить перед понятием деятельности (как это сделано в приведенном перечислении).

Выше мы стремились показать, что в диалектико-материалистической философии понятие деятельности определяет существенную исходную основу человеческого бытия. И деятельность человека, первичной формой которой является производство орудий, всегда осуществляется им внутри совокупности общественных отношений. “Чтобы производить, люди вступают в определенные связи и отношения, и только в рамках этих общественных связей и отношений существует их отношение к природе, имеет место производство”⁵. Хотя производство (шире — воздействие на природу, ее преобразование или деятельность) всегда находится в рамках общественных отношений, оно все же есть внутреннее основание общества, необходимые общественные (или производственные) отношения *оформляют* его, придают ему необходимые рамки. Поэтому прежде всего в науке следует рассматривать материально-производственную деятельность людей, оформляющуюся соответствующими общественными отношениями; поэтому нельзя начинать изучение жизни людей сразу с их производственных отношений, не раскрыв предварительно того, какое содержа-

¹ См.: Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. Изд. 3-е. М., 1989.

² См.: Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977.

³ См.: Holzkamp K. Grundlagen der Psychologie. Frankfurt; New York, 1983.

⁴ См.: Ломов Б. Ф. Задачи психологической науки... // Психологический журнал. 1983. №6. С. 15.

⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 441.

ние охватывается и оформляется их рамками. "...Исследование человеческой деятельности имеет принципиальное значение для... генезиса материальных общественных отношений..."¹.

Иными словами, лишь изучение деятельности создает необходимые условия для раскрытия генезиса общественных отношений. Это имеет большой смысл для теоретической психологии, построение которой целесообразно начинать именно с понятия деятельности (и тем самым именно это понятие нужно ставить *впереди* всех других как основание для их теоретического выведения).

В последнее время в нашей психологии обсуждается вопрос о соотношении категорий деятельности и общения. Б.Ф. Ломов сформулировал следующие положения: "Общение — это одна из сторон образа жизни человека, не менее существенная, чем деятельность"². И далее: "...Ни одна из них (этих категорий. — В.Д.) не является для психологии исключительной, определяющей сущность ее предмета"³.

С обоими этими положениями согласиться нельзя. Во-первых, деятельность при ее диалектико-материалистическом понимании выступает основой всей общественной жизни людей, — общение же как процессуальное выражение их общественных отношений лишь оформляет в определенных рамках содержание деятельности. Общение людей может существовать лишь в процессе реализации деятельности. С точки зрения принципа восхождения от абстрактного к конкретному деятельность тем самым есть *более* существенная категория, чем общение. Во-вторых, категория деятельности, с этой же точки зрения, является для психологии *исключительной*, поскольку именно она определяет как некоторая "клеточка" ее предмет (конечно, при учете собственно психологического подхода к деятельности).

Некоторые психологи пытаются строить психологию на основе понятия *отно-*

шения (В.Н. Мясищев и др.). Если при этом имеется в виду "общественное отношение", то с данной попыткой можно связать приведенное несколько выше наше рассуждение, согласно которому такое отношение генетически зависит от человеческой деятельности. Если же при этом подразумевается отношение человека к природе, то хорошо известно, что смысл этого понятия весьма близок к понятию воздействия на природу, т.е. к понятию производственной деятельности⁴.

В этом плане несостоятельна, на наш взгляд, и попытка "расширить" исходную теоретическую базу современной психологии за счет присоединения к понятию деятельности понятий *установки, отношения, общения* (вместо выведения этих понятий из исходного понятия деятельности)⁵.

Превращение понятия деятельности в основополагающее для всей психологии человека (в ее "клеточку") не означает его абсолютизации. Во-первых, оно может быть теоретическим инструментом только в процессе его конкретизации при выведении других психологических понятий (прежде всего понятий идеального, общения, сознания, личности). Во-вторых, его само необходимо раскрыть на основе определенных предпосылок, имеющих в живом мире (поведение и психика животных). Но необходимо еще раз повторить, что понятие деятельности нельзя ставить в один ряд с другими психологическими понятиями, поскольку среди них оно должно быть исходным, первым и главным. На его основе в процессе теоретической переработки фактических материалов нужно выводить другие понятия.

Поэтому вопрос о месте понятия деятельности в современной психологии исключительно важен. От его решения зависит, быть ли ей подлинной монистической теорией, либо стать эмпирическим и эклектическим систематизированием фактического материала.

¹ Плетников Ю. К. Место категории деятельности в теоретической системе исторического материализма. С. 93.

² Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1984. С. 256.

³ Там же. С. 258.

⁴ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 441 (сноска).

⁵ См.: Васильюк Ф. Е. К проблеме единства общепсихологической теории // Вопросы философии. 1986. №10.

В настоящее время в психологии уже многое известно о содержании и строении деятельности человека, что позволило, например, А.Н. Леонтьеву создать развернутую теорию. Так, он обосновал положение о том, что ядро психологической теории деятельности — *принцип предметности*. Предмет при этом понимался им не как некий объект, существующий сам по себе и лишь воздействующий на субъект, а как то, на что направлено действие субъекта, к чему он определенным образом относится и что выделяется им из объекта в процессе его преобразования при выполнении внешнего или внутреннего действия¹.

Предметная детерминация деятельности возможна благодаря ее особому качеству — *уподобляемости* свойствам и отношениям преобразуемого ею объективного мира. Функцию уподобления выполняют поисково-опробующие действия субъекта, строящие образы соответствующих объектов. Первоначально деятельность детерминируется предметом, а затем она опосредствуется и регулируется его образом как своим продуктом.

В работах А.Н. Леонтьева представлено психологическое строение деятельности, имеющее следующие составляющие: *потребность — мотив — цель — условия достижения цели* (единство цели и условий составляет *задачу*). Достижение цели в определенных условиях (или решение задачи) осуществляется человеком посредством выполнения *действий* (самое действие состоит из *операций*, соответствующих условиям задачи). Целостная деятельность в процессе реализации постоянно изменяется и трансформируется, — тогда, например, действие при изменении его цели может стать операцией и т.п.

Человек в многогранной жизни осуществляет много конкретных видов деятельности, которые различаются между собою

прежде всего своим *предметным содержанием*. Иными словами, каждый вид деятельности имеет вполне определенное содержание своих потребностей, мотивов, задач и действий. Одна из главных проблем психологического исследования состоит в том, чтобы определить предметное содержание каждого вида деятельности. Лишь после достаточно четкого решения этой проблемы то или иное психологическое образование, наблюдаемое у человека, можно определить в качестве конкретного вида его деятельности².

Первичной формой деятельности является ее коллективное или совместное выполнение. «В сущности, — писал А.Н. Леонтьев, — деятельность... предполагает не только действия только отдельно взятого человека, но и действия его в условиях деятельности других людей, т.е. предполагает некоторую совместную деятельность»³. На основе совместной деятельности, имеющей коллективного субъекта, возникает индивидуальная деятельность многих субъектов. Особенности и закономерности выполнения совместной и индивидуальной деятельности различны, хотя их строение имеет общие черты. Становление индивидуальной деятельности внутри и на основе совместной представляет собой тот процесс, который следует называть *интериоризацией*.

А.Н. Леонтьев подчеркивал социально-исторический смысл деятельности отдельно взятого человека, ее связь с процессами материального и речевого общения людей⁴. Однако следует отметить, что А.Н. Леонтьев так и не организовал экспериментальных исследований, специально направленных на изучение психологических закономерностей процесса интериоризации как перехода от совместной (коллективной) деятельности к ее индивидуальному выполнению⁵. Эти исследования начали интен-

¹ См.: Леонтьев А.Н. Избр. психол. произв.: В 2 т. М., 1983. Т. 1. С. 169.

² В нашей психологической литературе специально обсуждаются вопросы предметного характера деятельности, ее строения и трансформации. См.: Деятельностный подход в психологии: проблемы и перспективы. М., 1990.

³ Леонтьев А. Н. Анализ деятельности // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 14. Психология. 1983. №2. С. 9.

⁴ См.: Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1981 С. 422.

⁵ Исследования интериоризации, выполненные под руководством П.Я. Гальперина, связаны с изучением лишь одной стороны этого процесса — поэтапного формирования умственных действий на основе их предметных аналогов. При этом не исследовались те действия, которые связаны с их коллективным, совместным выполнением.

сивно проводиться нашими сотрудниками в 1970-80-е гг.¹. В последнее время подобные работы налажены в некоторых западных странах². Результаты этих исследований могут стать экспериментальной основой для разработки современной теории процесса интериоризации, предпосылки которой были созданы в свое время еще Л.С. Выготским <...>.

Мы кратко сформулировали главные положения междисциплинарной теории деятельности, которые служат основой особого направления в современной философии, логике, социологии и психологии. Сейчас в распоряжении специалистов имеется обширный фактический материал, позволяющий конкретизировать эти положения, развернуть, раскрыть их содержание. И вместе с тем анализ такого материала показывает, что многие важные проблемы теории деятельности еще далеки от своего адекватного решения. Каковы же эти проблемы? Остановимся на некоторых из них.

Первая проблема связана с необходимостью развернутого определения такого ключевого понятия теории деятельности, как “преобразование”. Преобразование чаще всего истолковывают как изменение объекта. Но анализ свидетельствует, что не всякое изменение есть преобразование. Очень многие изменения, вносимые людьми в природную и социальную действительность, затрагивают лишь ее внешний облик, сохраняя при этом ее внутренний образ, и, следовательно, не могут быть названы подлинным ее преобразованием. Есть основание полагать, что преобразование — это изменение внутреннего образа объекта, выявление и изменение его *сущности*.

К сожалению, в современной логике нет однозначного понимания сущности. Более того, много десятилетий противостоят друг

другу два подхода к сущности. Первый подход был сформулирован в формальной логике, второй — в диалектической. Согласно формально-логическому подходу, сущность объекта — это то, что объединяет его с другими сходными объектами в некоторый общий класс. Иными словами, сущностью может быть любая черта объекта, общая и одинаковая у него с другими объектами.

Поэтому выделение человеком в объектах более или менее одинаковых черт или выделение отношений рода и вида является движением в сфере сущностей, переходом от одной сущности объекта к другой. В этом случае преобразование объекта состоит в том, что человек вид объекта превращает в его род (простой пример: человек в паре ботинок в определенной ситуации выделяет его родовую характеристику — быть обувью). Построение и жизненное использование человеком различных схем классификации с формально-логической точки зрения можно считать преобразованием объектов или познавательной деятельностью.

В диалектической логике сущность — это генетически исходное или всеобщее отношение системы объектов, порождающее особенные и индивидуальные ее черты. Сущность — это закономерность развития самой системы. Наиболее яркий пример диалектического преобразования — целенаправленное выращивание какого-либо объекта как сложной системы. Так, обнаружение и отбор полноценных зерен пшеницы, их посев, создание условий для, их нормального произрастания и, наконец, получение хорошего урожая — все это демонстрирует реальное преобразование человеком некоторой области природы или его целенаправленную деятельность.

¹ См.: Кравцов Г. Г. Некоторые психологические особенности учебной деятельности младших подростков // Экспериментальные исследования по проблемам педагогической психологии. М., 1976. Вып. 2; Матис Т. А. Психологические особенности организации совместной учебной деятельности школьников // Психологические проблемы учебной деятельности школьника. М., 1977; Коростелев А. Ю. Психологические особенности совместного учебного действия // Вопросы психологии. 1980. №4; Рубцов В. В., Гузман Р. Я. Психологические особенности способов организации совместной деятельности в процессе решения учебной задачи // Вопросы психологии. 1982. №5; Агеев В. В., Давыдов В. В., Рубцов В. В. Опробование как механизм построения совместных действий // Психологический журнал. 1985. №4; Цукерман Г. А. Зачем детям учиться вместе. М., 1985; Рубцов В. В. Организация и развитие совместных действий у детей в процессе обучения. М., 1987; Цукерман Г. А. Виды общения в обучении. Томск, 1993.

² См.: Перре-Клермон А. Роль социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей. М., 1991.

На наш взгляд, каждый из указанных подходов к сущности объектов находит свое выражение в особом типе их преобразования как изменения внутреннего облика. Первый тип преобразования связан с расчленением многообразия объектов на основе их родо-видовых отношений, с построением соответствующих классификаций, с их использованием в целях практической ориентации в действительности. Второй тип преобразования связан с поиском в некотором многообразии объектов такого их отношения, развитие которого порождает само это многообразие и которое связано также с созданием условий, с необходимостью обеспечивающих полноценное осуществление этого развития.

Этим двум основным типам преобразования соответствуют и два типа деятельности, один из которых нацелен на изменение существующего внешнего порядка объектов, другой — на реализацию их внутренних потенциалов, на раскрытие условий происхождения целостных систем.

Теория деятельности издавна подвергалась серьезной критике или отрицанию в некоторых философских и психологических направлениях (например, в феноменологии, экзистенциализме и т.д.). В последние десятилетия эта критика значительно обострилась по глубинным социальным причинам, связанным с провалом ряда социальных экспериментов, с уже имеющимися и предстоящими экологическими катастрофами, — все они соотносились с таким изменением и преобразованием социальной и природной действительности, которые фактически были *насилием* над нею.

Основания для такой критики имеются, поскольку внутри деятельностного подхода существует технократский активизм, лишенный гуманистических начал. Он служит теоретической базой таких преобразований, которые не проявляют и не развивают сущность действительности по ее собственным законам, а уродуют, коверкают и извращают ее наперекор историческим интересам человека и подлинным возможностям самой действительности. Такой активизм не совпадает с

гегелевско-марксовской теорией деятельности, согласно которой люди могут применять к предмету присущую именно ему мерку. "...В силу этого человек, — писал Маркс, — строит также и по законам красоты"¹, т.е. по законам совершенства самой действительности.

Конечно, люди могут не коверкать природу и социум, но эта возможность часто не имеет условий для полноценной реализации. Необходимы специальный анализ исторических причин указанного активизма, рассмотрение исторических условий реализации деятельности, преобразующей действительность по законам ее совершенства. Это очень важно для того, чтобы показать ограниченность этой антидеятельностной идеи, согласно которой человек призван лишь просто понять, объяснить и обжить мир, а не изменять его (этот вопрос специально и интересно разобран в статье П.П. Гайденко)².

Мы изложили свое понимание проблемы преобразования. Она требует углубленного изучения — прежде всего со стороны логиков и социологов, которые могут достаточно развернуто представить специалистам других дисциплин определение сущности, наличие ее различных типов и внутреннюю связь преобразования сущности определенного типа с гуманистической теорией деятельности.

Вторая во многом еще не решенная **проблема** теории деятельности затрагивает соотношение непосредственно коллективной и индивидуальной деятельности, соотношение коллективного и индивидуального субъектов. Многие сторонники рассматриваемой теории признают наличие процесса интериоризации, т.е. процесса становления индивидуальной деятельности на основе коллективной. Они выделяют при этом факт определенного сходства структур обеих форм деятельности, однако очень мало внимания обращают на их различие. Но как раз характеристики именно этого различия и не-сходства являются особой проблемой теории деятельности.

Связи коллективной и индивидуальной деятельности широко исследуются во многих странах (работы А. Перре-Клермон,

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 42. С. 94.

² См.: Гайденко П. П. Проблема рациональности на исходе XX века // Вопросы философии. 1991. №6.

В.В.Рубцова, Ю. Энгештрема и др.). И очень важно, чтобы анализ результатов этих исследований был направлен на выявление специфики структуры и функций каждой формы деятельности. Отметим, что некоторые ученые до сих пор отрицают сам факт интериоризации целостной коллективной деятельности; поэтому необходимо более определенно, разносторонне и точно описывать различные стадии этого процесса, выделяя особое значение условий его осуществления.

Очень долго в общественных науках не обсуждался вопрос о наличии коллективного субъекта деятельности, о его своеобразии. В нашей стране лишь совсем недавно стали употреблять этот термин и анализировать особенности коллективного субъекта (например, в философских работах В.А.Лекторского)¹. При этом подчеркивается, что коллективный субъект в известном смысле существует вне каждого отдельного индивидуального субъекта и выявляет себя не столько через сознание индивидов, сколько через внешнюю предметно-практическую коллективную деятельность.

С этим можно согласиться. Но возникает вопрос: если коллективный субъект в известном смысле существует вне отдельных индивидов, то можно ли его представить в виде совокупности или группы людей и в каком точно смысле он существует вне отдельных индивидов, входящих в эту группу? Далее, какими существенными чертами должна обладать группа людей, осуществляющая совместную деятельность, чтобы ее можно было определить в качестве коллективного субъекта? И еще, по каким качествам можно различать коллективного и индивидуального субъектов, каковы характерные особенности индивидуального субъекта и чем он отличается от личности? Что можно отнести к личностному уровню выполнения индивидуальной деятельности?

На эти вопросы, на наш взгляд, четких ответов пока нет. Поэтому необходимо проводить соответствующие исследования. При их организации важно учитывать те теоретические представления, которые были разработаны в свое время в работах французских ученых Э. Дюркгейма,

Ш.Блонделя, Л. Леви-Брюля и их последователей.

Третья проблема связана с трудностями определения общей структуры деятельности. Согласно представлениям А.Н. Леонтьева, в структуру деятельности входят такие компоненты, как потребность, мотивы, задачи, действия и операции. Анализ этой структуры сразу показывает, что в нее не входят средства решения задачи, — по-видимому, такой компонент также следует включить в эту структуру.

Но главный вопрос состоит в том, как соотносить эту общую структуру деятельности с такими психологическими процессами, традиционно выделяемыми в психологии, как восприятие и воображение, память и мышление, чувства и воля? Можно ли их считать своеобразными компонентами общей структуры деятельности наряду с мотивами, задачами, действиями? Или они сами могут быть представлены в качестве особых и самостоятельных видов деятельности? Если ответить на последний вопрос положительно, то нужно признать наличие сенсорной, мнемической, мыслительной деятельности и даже деятельности чувств и деятельности воли.

Следует отметить, что сейчас в различных научных дисциплинах и особенно в психологии часто указанные психические процессы принимаются в качестве отдельных видов деятельности (например, мышление человека характеризуется как мыслительная деятельность).

На наш взгляд, такой перевод традиционных познавательных процессов в ранг различных видов деятельности неправомерен. Эти процессы являются лишь особыми компонентами общей структуры деятельности, обслуживающими осуществление других ее компонентов. Например, восприятие и мышление позволяют субъекту выявить и уточнить условия решения сенсорной или мыслительной задачи, наметить средства и пути ее решения. Но сама задача — только лишь компонент какой-либо целостной деятельности, например, игровой или художественной.

Рассматривая эти вопросы, мы одновременно затрагиваем и **четвертую проблему**, касающуюся классификации различных видов деятельности. Здесь наблюдается большая путаница, которая обостряется

¹ См.: Лекторский В. А. Субъект, объект, познание. М., 1981.

следующим обстоятельством. В английском языке русское слово “деятельность” переводится термином “activity”, поэтому любой вид практической или познавательной “энергии” человека называется словом “activity”.

По нашему мнению, не все проявления жизненной энергии человека могут быть отнесены к его “деятельности” — подлинная деятельность всегда связана с *преобразованием* действительности (это мы отметили раньше). Понятию “преобразование” в большей степени соответствуют немецкие слова “Tätigkeit” и “Handlung”, которые переводятся как “деятельность” и “действие” или “поступок”.

Из-за широкого значения английского слова “activity”, которое слабо характеризует процесс преобразования, возникают также трудности классификации различных видов деятельности.

Оснований для такой классификации достаточно много. Так, в социологии принято выделять трудовую, политическую, художественную, научную и другие виды деятельности. В педагогике в качестве основных фигурируют игровая, учебная и трудовая деятельности. В психологии деятельность неправомерно соотносят с каждым психическим процессом (сенсорная, мыслительная и другие виды деятельности). Ясно, что, например, в трудовую или политическую деятельность входят те виды деятельности, которые выделяются психологами. Естественно возникают вопросы, какое основание классификации может быть главным и какова целостная система различных видов деятельности. Эти важные вопросы ждут своего решения.

Мы полагаем, что главным основанием классификации должен стать историко-социологический подход к деятельности. Этот подход позволит положить в фундамент классификации трудовую деятельность во всех исторических формах ее развития и построить на этом фундаменте все многообразие других общественно значимых видов деятельности, исторически возникающих в качестве форм реализации общественно-исторической жизни людей.

По сути дела историческая социология — та научная дисциплина, которая призвана открывать, изучать и даже проектировать становление всех взаимосвязанных видов и форм человеческой деятельности.

Она призвана изучать и объяснять место и роль каждой деятельности в обеспечении целостной общественной жизни человека. Мы уже выше отмечали, что специфика общественно-исторической действительности состоит в том, что единственно возможным способом ее существования и развития выступает именно деятельность.

С данной точки зрения, все научные дисциплины, изучающие деятельность, могут опираться на результаты историко-социологических исследований. В свою очередь, материалы этих дисциплин можно использовать при конкретизации историко-социологических представлений о деятельности. Именно с этим связана необходимость междисциплинарного ее исследования.

В последние годы наши специалисты оживленно обсуждают проблему соотношения понятий деятельности и общения (это **пятая** проблема теории деятельности). Некоторые полагают, что нельзя преувеличивать и абсолютизировать роль деятельности в общественной жизни людей, что важное значение в ней имеет их общение. Предлагается создавать теорию бытия человека на основе этих двух равноправных по значимости понятий. (Этот вопрос мы обсуждали выше.) На наш взгляд, не следует противопоставлять друг другу понятия деятельности и общения и вместе с тем нельзя изучать общение и оценивать его роль в жизни людей без рассмотрения их деятельности, которую общение лишь оформляет.

Шестая проблема теории деятельности определяется связью этой теории с другими подходами к изучению человека. Так, генетическая эпистимология, которую создавали Ж. Пиаже и его последователи, опирается на понятия действия и операции. Теория формирования умственных действий, разработанная П.Я. Гальпериным, своим фундаментом также имеет понятие действия. Нужно провести особую работу по соотношению теории целостной деятельности с основными положениями Ж. Пиаже и П.Я. Гальперина и постараться найти в них нечто общее, что, конечно, обогатит теорию деятельности.

Седьмая проблема этой теории касается способов организации междисциплинарных исследований человеческой деятельности. Сейчас отдельные дисциплины изучают деятельность по преимуществу

независимо друг от друга. Лишь в теоретических ее характеристиках психолог, например, может использовать выводы философа или социолога или эти специалисты иногда подкрепляют свои положения фактическими материалами, полученными психологом. Конечно, само по себе это необходимо и важно. Отметим, что генетическая эпистимология как раз разрабатывается на междисциплинарной основе.

Но до сих пор проводится мало таких экспериментальных исследований деятельности, в которых *сразу* участвуют представители нескольких дисциплин (например, логики, социологи, педагоги, психологи, физиологи). Организация этих исследований, как показывает наш собственный опыт, требует больших средств и предполагает создание специальных условий <...>.

Восьмая проблема теории деятельности связана с пониманием общей природы человека, соотношения в нем “биологического” и “социального”. В последние годы по этому вопросу ведутся острые дискуссии. Все шире используются понятия “биосоциальная природа человека”, “биосоциальная сущность человека”. Проблема очень сложна, и, конечно, необходим ее специальный анализ. Мы же здесь выскажем свою позицию, связанную с нашим пониманием роли деятельности и общественных отношений людей в их жизни.

Если придерживаться принципов диалектико-материалистической философии, то сущность или “природа” человека имеет *социальный характер*. Сущность человека в своей действительности есть, по определению К.Маркса, “совокупность всех общественных отношений”¹. Правда, К.Маркс писал еще о “природных узах”, связывающих множество человеческих индивидов, о том, что человек является непосредственно природным существом, которое наделено природными, жизненными, телесными силами². Но ни для К.Маркса, ни для других сторонников его философии понятие “природные, телесные силы” человека само по себе не равноценно понятию “биологические силы”.

Когда речь идет о “природных силах человека”, то подразумеваются основные

сущностные характеристики чувственно-предметной его деятельности, направленной на преобразование природы, частью которой выступает и сам человек. Но сама эта деятельность имеет общественно-историческую или социальную сущность.

С этой точки зрения сущностное “биологическое” в чувственно-предметной телесной деятельности человека отсутствует, а эта деятельность, согласно современной психологии, является основой всего психического развития человека.

“Биологическое” присуще поведению животных, которое реализуется в единстве потребностей и врожденных способов их удовлетворения. “Врожденность” выступает здесь как предопределенность этих способов особенностями морфофизиологической организации животного данного вида.

Биологическая основа поведения животных и социальная основа деятельности человека — это два принципиально различных типа существования.

Благодаря социальной сущности деятельности способы удовлетворения потребностей человека (даже органических) не предопределены организацией его тела. В процессе антропогенеза у людей сформировался такой организм, который позволяет им создавать и выполнять в принципе любые формы деятельности, — в этом состоит универсальный характер человека как природного телесного существа. Способы удовлетворения его потребностей, способы осуществления его жизнедеятельности связаны с использованием средств и орудий, которые Маркс назвал “неорганическим телом” человека³.

Но, следовательно, у человека есть и “органическое тело”, органические потребности и телесные движения (действия), выполнение которых необходимо для их удовлетворения. Причем “органическое тело” человека само сформировалось в процессе антропогенеза и имеет общественную, социальную сущность. Так, К.Маркс говорил об общественном характере голода человека, удовлетворяемого им с помощью ножа и вилки, который принципиально отличен от голода животных⁴. Тем более общественную природу

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 3. С. 3.

² См. там же. Т. 42. С. 162.

³ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 42. С. 92.

⁴ См. там же. Т. 12. С. 718.

имеют движения по употреблению ножа и вилки.

Человек обладает “органическим телом” как природной, естественной предпосылкой его сознательной деятельности, и это тело, эта деятельность человека сами сформировались в процессе его общественной истории и имеют общественную сущность. Конечно, некоторые жизненные характеристики “органического тела” человека (например, на клеточном или на нервно-гуморальном уровнях) общие с животными. И в этой общности проступают закономерности собственно органических образований, но они не определяют сущности предметно-чувственной деятельности человека, хотя и влияют так или иначе на процесс ее онтогенетического развития.

Иногда происходит неправомерное отождествление терминов “природное” и “телесное” с термином “биологическое”. Однако “природное” и “телесное” нельзя однозначно характеризовать как “биологическое” в человеке. “Природное” и “телесное” в человеке лучше обозначить термином “органическое”.

Биологический способ существования, присущий только животным, имеет важнейшую характеристику: единство органических нужд с врожденными механизмами их удовлетворения. Это “единство” как раз и служит основой инстинктов, присущих поведению животных. В процессе же антропогенеза произошел разрыв между органическими нуждами животного существа и механизмами их удовлетворения, т.е. инстинкты у человека исчезли. Органические нужды, приобретшие форму потребностей, у человека, конечно, сохранились, но у него не осталось никаких врожденных механизмов их удовлетворения¹.

Органические же потребности человека стали удовлетворяться *прижизненно* возникающими способами деятельности. Органика, телесность и в этом смысле “природность” человека остались, но “биологическое” как способ существования животных в мире у человека исчезло.

Необходимо различать “нужду” и “потребность”. Лишь потребность человека соотносится с его деятельностью и способами ее выполнения, имеющими общественное происхождение. Например, у человека, как и у животного, есть нужда в кислороде. Она удовлетворяется при непосредственном наличии кислорода врожденными нервно-мышечными механизмами дыхания. Потребность же в кислороде появляется у человека как своеобразное отражение нужды в его сознании лишь тогда, когда в окружающей среде кислорода мало или он исчезает совсем. И эта потребность удовлетворяется уже посредством деятельности, способы выполнения которой человек получает прижизненно (простейший из способов состоит в том, чтобы подойти в душевной комнате к окну и раскрыть его).

На наш взгляд, проблема “биосоциальной природы человека” может быть конкретно решена лишь при междисциплинарном исследовании особенностей инстинктов животных, их исчезновения в процессе антропогенеза, своеобразия связи “органического” и “неорганического” тел человека.

На пути создания междисциплинарной теории деятельности возникает много нерешенных проблем. Мы сформулировали лишь некоторые из них. Без их настойчивого решения невозможно разработать теоретические подходы к практическому совершенствованию способов человеческой жизни.

¹ См.: Гальперин П. Я. К вопросу об инстинктах у человека // Вопросы психологии. 1976. №1.